ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

ВОЙНА И МИР

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р 1
Т 53

Примечания
Л. Д. Опульской

Оформление художника
И. Жихарева

Т $\frac{0731-244}{028(01)-74}$ подп. изд.

ВОЙНА И МИР

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В начале 1806-го года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и, подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней, подле Ростова, который по мере приближения к Москве приходил все более и более в нетерпение.

«Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!» — думал Ростов, когда уже они записали свои отпуски на заставе и въехали в Москву.

— Денисов, приехали! — спит, — говорил он, всем телом подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликался.

— Вот он, угол-перекресток, где Захар-извозчик стоит; вот он и Захар, все та же лошадь! Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!

— К какому дому-то? — спросил ямщик.

— Да вон на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом, — говорил Ростов, — ведь это наш дом!

— Денисов! Денисов! Сейчас приедем.

Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил.

— Дмитрий, — обратился Ростов к лакею на облучке. — Ведь это у нас огонь?

— Так точно-с, и у папеньки в кабинете светится.

— Еще не ложились? А? как ты думаешь?

— Смотри же не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, — прибавил Ростов, ощупывая новые усы. — Ну же, пошел, — кричал он ямщику. — Да проснись же,

Вася, — обращался он к Денисову, который опять опустил голову. — Да ну же, пошел, три целковых на водку, пошел! — закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к подъезду; над головой своей Ростов увидал знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом так же стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча.

Старик Михайло спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покромок лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженно-испуганное.

— Батюшки-светы! Граф молодой! — вскрикнул он, узнав молодого барина. — Что ж это? Голубчик мой! — И Прокофий, трясясь от волненья, бросился к двери в гостиную, вероятно, для того, чтобы объявить, но, видно, опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина.

— Здоровы? — спросил Ростов, выдергивая у него свою руку.

— Слава богу! Все слава богу! сейчас только покушали! Дай на себя посмотреть, ваше сиятельство!

— Все совсем благополучно?

— Слава богу, слава богу!

Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную большую залу. Все то же — те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы ра-

дости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их — это он помнил.

— А я-то, не знал... Николушка... Друг мой, Коля!

— Вот он... наш-то... Переменился! Нет! Свечи! Чаю!

— Да меня-то поцелуй!

— Душенька... а меня-то.

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф обнимали его; люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали.

Петя повис на его ногах.

— А меня-то! — кричал он.

Наташа, после того как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя.

Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже шестнадцать лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее; но все еще ждал и искал кого-то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери.

Но это была она в новом, незнакомом еще ему, сшитом, верно, без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза.

— Василий Денисов, дг'уг вашего сына, — сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него.

— Милости прошу. Знаю, знаю, — сказал граф, целуя и обнимая Денисова. — Николушка писал... Наташа, Вера, вот он, Денисов.

Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую черноусую фигурку Денисова и окружили его.

— Голубчик, Денисов! — взвизгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и, взяв руку Наташи, поцеловал ее.

Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки.

Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движенье, слово, взгляд и не спускали с него восторженно-влюбленных глаз. Брат и сестры спорили, и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку.

Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он все ждал чего-то еще, и еще, и еще.

На другое утро приезжие с дороги спали до десятого часа.

В предшествующей комнате валялись сабли, сумки, ташки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары со шпорами были только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду для бритья и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.

— Гей, Г'ишка, тг'убку! — крикнул хриплый голос Васьки Денисова. — Г'остов, вставай!

Ростов, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.

— А что, поздно?

— Поздно, десятый час, — отвечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршанье крахмаленных платьев, шепот и смех девичьих голосов, и в чуть растворенную дверь мелькнуло что-то голубое, ленты, черные волоса и веселые лица. Это были Наташа с Соней и Петей, которые пришли наведаться, не встал ли.

— Николенька, вставай! — опять послышался голос Наташи у двери.

— Сейчас.

В это время Петя в первой комнате, увидав и схватив сабли и испытывая тот восторг, который испытывают мальчики при виде воинственного старшего брата, забыв,

что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь.

— Это твоя сабля? — закричал он. Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, оглядываясь за помощью на товарища. Дверь пропустила Петю и опять затворилась. За дверью послышался смех.

— Николенька, выходи в халате, — проговорил голос Наташи.

— Это твоя сабля? — спросил Петя. — Или это ваша? — с подобострастным уважением обратился он к усатому черному Денисову.

Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог со шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, когда он вышел. Обе были в одинаковых, новеньких, голубых платьях — свежие, румяные, веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело и она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом.

— Ах, как хорошо, отлично! — приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием этих жарких лучей любви Наташи, в первый раз через полтора года, на душе его и на лице распускалась та детская и чистая улыбка, которою он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома.

— Нет, послушай, — сказала она, — ты теперь совсем мужчина? Я ужасно рада, что ты мой брат. — Она тронула его усы. — Мне хочется знать, какие вы, мужчины? Такие ли, как мы?

— Нет. Отчего Соня убежала? — спрашивал Ростов.

— Да. Это еще целая история! Как ты будешь говорить с Соней, — ты или вы?

— Как случится, — сказал Ростов.

— Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу.

— Да что же?

— Ну, я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг, такой друг, что я руку сожгу за нее. Вот посмотри. — Она

засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями), красную метину.

— Это я сожгла, чтобы показать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала.

Сидя в своей прежней классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно-оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот свой семейный, детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений в жизни; и сожжение руки линейкой, для показания любви, показалось ему не бессмыслицей: он понимал и не удивлялся этому.

— Так что же? — только спросил он.

— Ну, так дружны, так дружны! Это что, глупости — линейкой; но мы навсегда друзья. Она кого полюбит, так навсегда. Я этого не понимаю. Я забуду сейчас.

— Ну так что же?

— Да, так она любит меня и тебя. — Наташа вдруг покраснела. — Ну, ты помнишь, перед отъездом... Так она говорит, что ты это все забудь... Она сказала: я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен. Ведь правда, что это отлично, отлично и благородно! Да, да? очень благородно? да? — спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами. Ростов задумался.

— Я ни в чем не беру назад своего слова, — сказал он. — И потом, Соня такая прелесть, что какой же дурак станет отказываться от своего счастия?

— Нет, нет, — закричала Наташа. — Мы про это уже с нею говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты так говоришь — считаешь себя связанным словом, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.

Ростов видел, что все это было хорошо придумано ими. Соня и вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидав ее мельком, она ему показалась еще лучше. Она была прелестная шестнадцатилетняя девочка, очевидно, страстно его любящая (в этом он не сомневался ни на минуту). Отчего же ему было не любить ее и не жени-

ться даже, думал Ростов, но не теперь. Теперь столько еще других радостей и занятий! «Да, они это прекрасно придумали, — подумал он, — надо оставаться свободным».

— Ну и прекрасно, — сказал он, — после поговорим. Ах, как я тебе рад! — прибавил он. — Ну, а что же ты, Борису не изменила? — спросил брат.

— Вот глупости! — смеясь, крикнула Наташа. — Ни о нем и ни о ком я не думаю и знать не хочу.

— Вот как! Так ты что же?

— Я? — переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. — Ты видел Duport'a?

— Нет.

— Знаменитого Дюпора, танцовщика, не видал? Ну так ты не поймешь. Я вот что такое. — Наташа взяла, округлив руки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов. — Ведь стою? ведь вот! — говорила она; но не удержалась на цыпочках. — Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори.

Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе. — Нет, ведь хорошо? — все говорила она.

— Хорошо. За Бориса уже не хочешь выходить замуж?

Наташа вспыхнула.

— Я не хочу ни за кого замуж идти. Я ему то же самое скажу, когда увижу.

— Вот как! — сказал Ростов.

— Ну да, это все пустяки, — продолжала болтать Наташа. — А что, Денисов хороший? — спросила она.

— Хороший.

— Ну и прощай, одевайся. Он страшный, Денисов?

— Отчего страшный? — спросил Nicolas. — Нет, Васька славный.

— Ты его Васькой зовешь?.. Странно. А что, он очень хорош?

— Очень хорош.

— Ну, приходи поскорее чай пить. Все вместе.

И Наташа встала на цыпочках и прошлась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые пятнадцатилетние девочки,

Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел, он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче он чувствовал, что нельзя было этого сделать; он чувствовал, что все, и мать и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее *вы — Соня.* Но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощенья за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании, и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что, так ли, иначе ли, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.

— Как, однако, странно, — сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, — что Соня с Николенькой теперь встретились на «вы» и как чужие. — Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но, как и от большей части ее замечаний, всем сделалось неловко, и не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его блестящей партии, тоже покраснела, как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженный и надушенный, явился в гостиную таким же щеголем, каким он бывал в сражениях, и таким любезным с дамами кавалером, каким Ростов никак не ожидал его видеть.

II

Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка; родными — как милый, приятный и почтительный молодой человек; знакомыми — как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы.

Знакомство у Ростовых была вся Москва; денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень

весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из закона божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней — он про все это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он — гусарский поручик в серебряном ментике, с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег, вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в Английском клубе и был на *ты* с одним сорокалетним полковником, с которым познакомил его Денисов.

Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его. Но он все-таки часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не все рассказывает, что что-то еще есть в его чувстве к государю, что не может быть всем понятно; и от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование «ангела во плоти».

В это короткое пребывание Ростова в Москве, до отъезда в армию, он не сблизился, а, напротив, разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила и, очевидно, страстно влюблена в него; но он был в той поре молодости, когда кажется так много дела, что *некогда* этим заниматься, и молодой человек боится связываться — дорожит своей свободой, которая ему нужна на многое другое. Когда он думал о Соне в это свое пребывание в Москве, он говорил себе: «Э! еще много, много таких будет и есть там, где-то, мне еще неизвестных. Еще успею, когда захочу, заняться и любовью, а теперь некогда». Кроме того, ему казалось что-то унизительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, Английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка *туда* — это было другое дело: это было прилично молодцу-гусару.

В начале марта старый граф Илья Андреевич Ростов был озабочен устройством обеда в Английском клубе для приема князя Багратиона.

Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому Феоктисту, старшему повару Английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, теленке и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф со дня основания клуба был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку, хлебосольно устроить пир, особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч.

— Так смотри же, гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь!

— Холодных, стало быть, три?.. — спрашивал повар.

Граф задумался.

— Нельзя меньше, три... майонез раз, — сказал он, загибая палец...

— Так прикажете стерлядей больших взять? — спросил эконом.

— Что ж делать, возьми, коли не уступают. Да, батюшка ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! — Он схватился за голову. — Да кто же мне цветы привезет? Митенька! А Митенька! Скачи ты, Митенька, в подмосковную, — обратился он к вошедшему на его зов управляющему, — скачи ты в подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке-садовнику. Скажи, чтобы все оранжереи сюдаволо́к, укутывал бы войлоками. Но чтобы мне двести горшков тут к пятнице были.

Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал приказывать. В дверях послышалась легкая мужская походка, бряцанье шпор, и красивый, румяный с чернеющими усиками, видимо отдохнувший и выхолившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф.

— Ах, братец мой! Голова кругом идет, — сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. — Хоть вот ты бы помог! Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган, что ли, позвать? Ваша братия военные это любят.

— Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь, — сказал сын, улыбаясь.

Старый граф притворился рассерженным.

— Да, ты толкуй, ты попробуй!

И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына.

— Какова молодежь-то, а, Феоктист? — сказал он. — Смеются над нашим братом — стариками.

— Что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо, а как все собрать да севировать, это не их дело.

— Так, так! — закричал граф и, весело схватив сына за обе руки, закричал: — Так вот же что, попался ты мне! Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих. Больше ни у кого не достанешь. Самого-то нет, так ты зайди княжнам скажи, а оттуда, вот что, поезжай ты на Разгуляй — Ипатка-кучер знает, — найди ты там Ильюшку-цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине, и притащи ты его сюда, ко мне.

— И с цыганками его сюда привести? — спросил Николай, смеясь.

— Ну, ну!..

В это время неслышными шагами, с деловым, озабоченным и вместе христиански-кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Несмотря на то, что каждый день Анна Михайловна заставала графа в халате, всякий раз он конфузился при ней и просил извинения за свой костюм. Так сделал он и теперь.

— Ничего, граф, голубчик, — сказала она, кротко закрывая глаза. — А к Безухову я съезжу, — сказала она. — Молодой Безухов приехал, и теперь мы все достанем, граф, из его оранжерей. Мне и нужно было видеть его. Он мне прислал письмо от Бориса. Слава богу, Боря теперь при штабе.

Граф обрадовался, что Анна Михайловна брала одну часть его поручений, и велел ей заложить маленькую карету.

— Вы Безухову скажите, чтоб он приезжал. Я его запишу. Что́, он с женою? — спросил он.

Анна Михайловна завела глаза, и на лице ее выразилась глубокая скорбь...

— Ах, мой друг, он очень несчастлив, — сказала она. — Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастию! И такая высокая, небесная душа, этот молодой Безухов! Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему утешение, которое от меня будет зависеть.

— Да что ж такое? — спросили оба Ростова, старший и младший.

Анна Михайловна глубоко вздохнула.

— Долохов, Марьи Ивановны сын, — сказала она таинственным шепотом, — говорят, совсем компрометировал ее. Он его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот... Она сюда приехала, и этот сорвиголова за ней, — сказала Анна Михайловна, желая выразить свое сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и полуулыбкою выказывая сочувствие сорвиголове, как она назвала Долохова. — Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем.

— Ну, все-таки скажите ему, чтоб он приезжал в клуб, — все рассеется. Пир горой будет.

На другой день, 3-го марта, во втором часу пополудни, двести пятьдесят человек членов Английского клуба и пятьдесят человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя австрийского похода, князя Багратиона. В первое время по получении известия об Аустерлицком сражении Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие искали объяснений такому странному событию в каких-нибудь необыкновенных причинах. В Английском клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда стали приходить известия, ничего не говорили про войну и про последнее сражение, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как-то: граф Растопчин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, граф Марко́в, князь Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов (к которым принадлежал и граф Илья Андреич Ростов), оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны и без руководителей. Москвичи чувствовали, что что-то нехорошо и что обсуждать эти дурные вести трудно, и потому лучше молчать.

Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились опять тузы, дававшие мнение в клубе, и все заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти были: измена австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пржибышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова и (потихоньку говорили) молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры и генералы были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один провел свою колонну нерасстроенною и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля. Тому, что Багратион был выбран героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве и был чужой. В лице его отдавалась честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суворова. Кроме того, в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузова.

— Ежели бы не было Багратиона, il faudrait l'inventer[1], — сказал шутник Шиншин, пародируя слова Вольтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шепотом бранили его, называя придворною вертушкой и старым сатиром.

По всей Москве повторялись слова князя Долгорукого: «лепя, лепя, и облепишься», утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и повторялись слова Растопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражению высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем идти вперед; но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише! Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек. Говорили и

[1] надо бы выдумать его.

про Берга, те, которые не знали его, что он, раненный в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену у чудака-отца.

III

3-го марта во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривавших голосов, и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились, в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудреные, в чулках и башмаках, ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей — преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое как будто говорит старому поколению: «Уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность».

Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, отпустивший по приказанию жены волоса, снявший очки, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними.

По годам он бы должен был быть с молодыми, но по богатству и связям он был членом кружков старых, почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому. Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать известных людей. Бóльшие кружки составились около графа Растопчина, Валуева и Нарышкина. Растопчин рассказывал про то,

как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыком прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.

Валуев конфиденциально рассказывал, что Уваров был прислан из Петербурга, для того чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице.

В третьем кружке Нарышкин говорил о заседании австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупость австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству — кричать по-петушиному — не мог выучиться у Суворова; но старички строго поглядели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь и в нынешний день так неприлично было говорить про Кутузова.

Граф Илья Андреич Ростов иноходью, озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и, изредка отыскивая глазами своего стройного молодца-сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову.

— Ко мне милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком... вместе там, вместе геройствовали... А! Василий Игнатьич... здорово, старый, — обратился он к проходившему старичку, но не успел еще договорить приветствия, как все зашевелилось, и прибежавший лакей, с испуганным лицом, доложил: «Пожаловали!»

Раздались звонки; старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной у дверей залы.

В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он, по клубному обычаю, оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне Аустерлицкого сражения, а в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с Георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас, перед обедом, подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что-то наивно-празд-

ничное, дававшее, в соединении с его твердыми, мужественными чертами, даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью; произошла остановка в дверях, и, наконец, Багратион все-таки прошел вперед. Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене. Старшины встретили его у первой двери, сказав ему несколько слов о радости видеть столь дорогого гостя, и, не дождавшись его ответа, как бы завладев им, окружили его и повели в гостиную. В дверях гостиной не было возможности пройти от столпившихся членов и гостей, давивших друг друга и через плечи друг друга старавшихся, как редкого зверя, рассмотреть Багратиона. Граф Илья Андреич, энергичнее всех, смеясь и приговаривая: «Пусти, mon cher, пусти, пусти!», протолкал толпу, провел гостей в гостиную и посадил на средний диван. Тузы, почетнейшие члены клуба, обступили вновь прибывших. Граф Илья Андреич, проталкиваясь опять через толпу, вышел из гостиной и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно, обеими руками, взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», — как будто сказал Багратион и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал.

Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле.

Да счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле...

Но еще он не докончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой польский: «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс», — и граф Илья Андреич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров — Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: триста человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее — поближе к чествуемому гостю: так же естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже.

Перед самым обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном.

Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Напротив них сел Пьер рядом с князем Несвицким. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя Багратиона, олицетворяя в себе московское радушие.

Труды его не пропали даром. Обеды, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он все-таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шепотом приказывал лакеям и не без волнения ожидал каждого, знакомого ему блюда. Все было прекрасно. На втором блюде, вместе с исполинской стерлядью (увидав которую, Илья Андреич покраснел от радости и застенчивости), уже лакеи стали хлопать пробками и наливать шампанское. После рыбы, которая произвела некоторое впечатление, граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. «Много тостов будет, пора начинать!» — шепнул он и, взяв бокал в руки, встал. Все замолкли и ожидали, что он скажет.

— Здоровье государя императора! — крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажились слезами

радости и восторга. В ту же минуту заиграли «Гром победы раздавайся». Все встали с своих мест и закричали ура! И Багратион закричал ура! тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из-за всех трехсот голосов. Он чуть не плакал.

— Здоровье государя императора, — кричал он, — ура! — Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться и, улыбаясь своему крику, переговариваться. Граф Илья Андреич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки, и провозгласил тост за здоровье нашего последней кампании героя князя Петра Ивановича Багратиона, и опять голубые глаза графа увлажились слезами. Ура! — опять закричали голоса трехсот гостей, и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова:

Тщетны россам все препоны,
Храбрость есть побед залог,
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног...
и т. д.

Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых все больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и, наконец, отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреевича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.

IV

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда и, щурясь и морщась, глядел кругом

себя или, остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего вокруг него, и думал о чем-то одном тяжелом и неразрешенном.

Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда, могло, по крайней мере, казаться правдой, ежели бы это касалось не *его жены*. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспоминал, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними.

«Да, он очень красив, — думал Пьер, — я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтоб осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить». Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или

убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бретёр, — думал Пьер, — ему ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его», — думал Пьер, и опять при этих мыслях он чувствовал, как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался с своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бретёр и повеса, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенной, рассеянной, массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во-первых, потому, что Пьер, в его гусарских глазах, был штатский богач, муж красавицы, вообще баба; во-вторых, потому, что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала.

— Что ж вы? — закричал ему Ростов, восторженно-озлобленными глазами глядя на него. — Разве вы не слышите: здоровье государя императора! — Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.

— А я вас и не узнал, — сказал он. Но Ростову было не до этого, он кричал ура!

— Что же ты не возобновишь знакомства, — сказал Долохов Ростову.

— Бог с ним, дурак, — сказал Ростов.

— Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, — сказал Денисов.

Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.

— Ну, теперь за здоровье красивых женщин, — сказал Долохов и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру. — За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников, — сказал он.

Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, вы-

хватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что-то страшное и безобразное, мутившее его во все время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол.

— Не смейте брать! — крикнул он.

Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны испуганно и поспешно обратились к Безухову.

— Полноте, полноте, что вы? — шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А, вот это я люблю».

— Не дам, — проговорил он отчетливо.

Бледный, с трясущеюся губой, Пьер рванул лист.

— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю, — проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников.

— Так до завтра, в Сокольниках, — сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба.

— И ты спокоен? — спросил Ростов.

Долохов остановился.

— Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь завещания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты — дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда все исправно, как мне говаривал наш костромской медвежатник. Медведя-то, говорит, как не бояться? да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел! Ну, так-то и я. A demain, mon cher! [1]

---

[1] До завтра, милый!

На другой день, в восемь часов утра, Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, — думал Пьер. — Даже наверное я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь», — приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли, он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли и готово ли?»

Когда все было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру.

— Я бы не исполнил своей обязанности, граф, — сказал он робким голосом, — и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную, очень важную минуту не сказал вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь... Вы были неправы, вы погорячились...

— Ах, да, ужасно глупо... — сказал Пьер.

— Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, — сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). — Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить...

— Нет, об чем же говорить! — сказал Пьер, — все равно... Так готово? — прибавил он. — Вы мне скажите только, как куда ходить и стрелять куда? — сказал он, неестественно кротко улыбаясь. Он взял в руки пистолет,

стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаться. — Ах, да, вот как, я знаю, я забыл только, — говорил он.

— Никаких извинений, ничего решительно, — отвечал Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения и тоже подошел к назначенному месту.

Место для поединка было выбрано шагах в восьмидесяти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в сорока друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили отпечатавшиеся по мокрому глубокому снегу следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в десяти шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за сорок шагов неясно было видно друг друга. Минуты три все было уже готово, и все-таки медлили начинать. Все молчали.

V

— Ну, начинайте! — сказал Долохов.

— Что ж, — сказал Пьер, все так же улыбаясь.

Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил:

— Так как пг'отивники отказались от пг'имиг'ения, то не угодно ли начинать: взять пистолеты и по слову тг'и начинать сходиться.

— Г'...аз! Два! Тг'и!.. — сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам все ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как всегда, имел на себе подобие улыбки.

При слове *три* Пьер быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному

снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из-за дыма показалась его фигура. Одною рукою он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что-то сказал ему.

— Не... нет, — проговорил сквозь зубы Долохов, — нет, не кончено, — и, сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмурено и дрожало.

— Пожалу... — начал Долохов, но не мог сразу выговорить... — пожалуйте, — договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдания, побежал к Долохову и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: — К барьеру! — и Пьер, поняв, в чем дело, остановился у своей сабли. Только десять шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его; губы его дрожали, но все улыбались; глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.

— Боком, закройтесь пистолетом, — проговорил Несвицкий.

— Закг'ойтесь! — не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику.

Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно

и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.

— Мимо! — крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова.

— Глупо... глупо! Смерть... ложь... — твердил он, морщась. Несвицкий остановил его и повез домой.

Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.

Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно-нежное выражение лица Долохова.

— Ну, что? как ты чувствуешь себя? — спросил Ростов.

— Скверно! но не в том дело. Друг мой, — сказал Долохов прерывающимся голосом, — где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил... Она не перенесет этого. Она не перенесет...

— Кто? — спросил Ростов.

— Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать, — и Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что, ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее.

Ростов поехал вперед исполнять поручение и, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бретёр-Долохов, жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой и был самый нежный сын и брат.

VI

Пьер последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, том самом, в котором умер старый граф Безухов. Как ни мучительна была вся

внутренняя работа прошедшей бессонной ночи, теперь началась еще мучительнейшая.

Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть все, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо-насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.

«Что ж было? — спрашивал он сам себя. — Я убил *любовника*, да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? — Оттого, что ты женился на ней», — отвечал внутренний голос.

«Но в чем же я виноват? — спрашивал он. — В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, — и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти не выходившие из него слова: «Je vous aime»[1]. Всё от этого! Я и тогда чувствовал, — думал он, — я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в двенадцатом часу дня, в шелковом халате, пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.

«А сколько раз я гордился ею, думал он, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего

[1] Я вас люблю.

спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и все стало ясно!

Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что хочет, говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от *меня* детей у нее не будет».

Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура... поди сам попробуй... allez vous promener» [1], — говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. «Да я никогда не любил ее, — говорил себе Пьер. — Я знал, что она развратная женщина, — повторял он сам себе, — но не смел признаться в этом.

И теперь Долохов, — вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает, может быть, притворным каким-то молодечеством отвечая на мое раскаяние!»

Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе свое горе.

«Она во всем, во всем она одна виновата, — говорил он сам себе. — Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это: «Je vous aime», которое было ложь, и еще хуже, чем ложь, — говорил он сам себе. — Я виноват и должен нести... Но что? Позор имени, несчастие жизни? Э, все вздор, — подумал он, — и позор имени и честь — все условно, все независимо от меня.

Людовика XVI казнили за то, что *они* говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смер-

---

[1] убирайся.

тью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив — и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И сто́ит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась *она* и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей: «Je vous aime?» — все повторял он сам себе. И, повторив десятый раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово mais que diable allait il faire dans cette galère? [1], и он засмеялся сам над собою.

Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею.

Утром, когда камердинер, внося кофей, вошел в кабинет, Пьер лежал на оттоманке и с раскрытой книгой в руке спал.

Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится.

— Графиня приказали спросить, дома ли ваше сиятельство, — спросил камердинер.

Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня, в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diadème [2] огибали два раза ее прелестную голову), вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она с своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее, и как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попро-

---

[1] и зачем черт дернул меня ввязаться в это дело?
[2] диадемою.

бовал продолжать читать; но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер.

— Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? — сказала она строго.

— Я?.. что?.. я... — сказал Пьер.

— Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что? Я вас спрашиваю. — Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.

— Коли вы не отвечаете, то я вам скажу... — продолжала Элен. — Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали... — Элен засмеялась, — что Долохов мой любовник, — сказала она по-французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово, — и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, que vous êtes un sot: так это все знали. К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, — Элен все более и более возвышала голос и одушевлялась, — который лучше вас во всех отношениях...

— Гм... гм, — мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.

— И почему вы могли поверить, что он мой любовник?.. Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.

— Не говорите со мной... умоляю, — хрипло прошептал Пьер.

— Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников (des amants), а я этого не сделала, — сказала она. Пьер хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.

— Нам лучше расстаться, — проговорил он прерывисто.

— Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Элен... — Расстаться, вот чем испугали!

Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней.

— Я тебя убью! — закричал он и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее.

Лицо Элен сделалось страшно; она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!» — таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты.

Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло бóльшую половину его состояния, и один уехал в Петербург.

VII

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея. И, несмотря на все письма через посольство и несмотря на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась все-таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения и, может быть, лежал выздоравливающий или умирающий где-нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына.

«Ваш сын, в моих глазах, — писал Кутузов, — с знаменем в руках, впереди полка пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно, — жив ли он или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был».

Получив это известие поздно вечером, когда он был один в своем кабинете, старый князь никому ничего не сказал. Как и обыкновенно, на другой день он пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал.

Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.

— А! Княжна Марья! — вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало.)

Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что-то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь.

— Mon père, — André? [1] — сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда и, всхлипнув, отвернулся.

— Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, — крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком, — убит!

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось и что-то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, неза-

---

[1] Батюшка, — Андрей?

висимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую, жилистую шею.

— Mon père, — сказала она. — Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе.

— Мерзавцы! Подлецы! — закричал старик, отстраняя от нее лицо. — Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе.

Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом, она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства», — думала она.

— Mon père, скажите мне, как это было? — спросила она сквозь слезы.

— Иди, иди; убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду.

Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо-спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжны Марьи, а смотрели вглубь, в себя — во что-то счастливое и таинственное, совершающееся в ней.

— Marie, — сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, — дай сюда твою руку. — Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот.

Глаза ее улыбались, ожидая, губка с усиками поднялась и детски-счастливо осталась поднятой.

Княжна Марья стала на колени перед ней и спрятала лицо в складках платья невестки.

— Вот, вот — слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, — сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала.

— Что с тобой, Маша?

— Ничего... так мне грустно стало... грустно об Андрее, — сказала она, отирая слезы о колени невестки. Не-

сколько раз в продолжение утра княжна Марья начинала приготавливать невестку и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причины не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего-то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно-неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала.

— Получили от Андрея что-нибудь? — сказала она.

— Нет, ты знаешь, что еще не могло прийти известие, но mon père беспокоится, и мне страшно.

— Так ничего?

— Ничего, — сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по-своему носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит и, несмотря на то, что он послал чиновника в Австрию разыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался, не изменяя, вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого, и каждую минуту ждала известия о его возвращении.

VIII

— Ma bonne amie [1], — сказала маленькая княгиня утром 19-го марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшей-

---

[1] Милый друг.

ся общему настроению, — хотя и не знавшей его причины, — была такая, что она еще более напоминала об общей печали.

— Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока — повар) de ce matin ne m'aie pas fait du mal [1].

— А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, — испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми мягкими шагами подбегая к невестке.

— Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? — сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.)

— И в самом деле, — подхватила княжна Марья, — может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [2] — Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты.

— Ах, нет, нет! — и, кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.

— Non, c'est l'estomac... dites que c'est l'estomac, dites, Marie, dites... [3] — И княгиня заплакала, детски-страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной.

— Oh! Mon dieu! Mon dieu! [4] — слышала она сзади себя.

Потирая полные небольшие белые руки, ей навстречу, с значительно-спокойным лицом, уже шла акушерка.

— Марья Богдановна! Кажется, началось, — сказала княжна Марья, испуганно-раскрытыми глазами глядя на бабушку.

— Ну, и слава богу, княжна, — не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. — Вам, девицам, про это знать не следует.

— Но как же из Москвы доктор еще не приехал? — сказала княжна. (По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.)

---

[1] Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне бы не было дурно.

[2] Не бойся, мой ангел!

[3] Нет, это желудок... скажи, Маша, что желудок...

[4] Боже мой! Боже мой! Ах!

— Ничего, княжна, не беспокойтесь, — сказала Марья Богдановна, — и без доктора все хорошо будет.

Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она высунулась — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое.

Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе, и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колена пред киотом. К несчастию и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась, и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня Прасковья Савишна, почти никогда, вследствие запрещения князя, не входившая к ней в комнату.

— С тобой, Машенька, пришла посидеть, — сказала няня, — да вот княжовы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, — сказала она, вздохнув.

— Ах, как я рада, няня.

— Бог милостив, голубка. — Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и с чулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверию, что чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притворяться незнающими; никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту.

В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали, наготове чего-то. На

дворне жгли лучины и свечи и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне, спросить: что?

— Только скажи: князь приказал спросить что? и приди скажи, что она скажет.

— Доложи князю, что роды начались, — сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного. Тихон пошел и доложил.

— Хорошо, — сказал князь, затворяя за собой дверь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете. Немного погодя Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидав, что князь лежит на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечи и не сказав, зачем он приходил. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал.

Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. Навстречу немца-доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту и за которым была выслана подстава на большую дорогу, к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам.

Княжна Марья уже давно оставила книгу: она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенное, до малейших подробностей знакомое, лицо няни: на прядку седых волос, выбившуюся из-под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком.

Няня Савишна, с чулком в руках, тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов, сотни раз рассказанное о том, как покойница княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью, с крестьянской бабой-молдаванкой вместо бабушки.

— Бог помилует, никакие дохтура не нужны, — говорила она. Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты (по воле князя всегда с жаворонками выставлялось по одной раме в каждой комнате) и, отбив

плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гардиной и, пахнув холодом, снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула; няня, положив чулок, подошла к окну и, высунувшись, стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми, выбивавшимися прядями волос.

— Княжна, матушка, едут по прешпекту кто-то! — сказала она, держа раму и не затворяя ее. — С фонарями; должно, дохтур...

— Ах, боже мой! Слава богу! — сказала княжна Марья. — Надо пойти встретить его: он не знает по-русски.

Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой-то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп, с испуганным лицом и с другой свечой в руке, стоял ниже, на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом, по лестнице, слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой-то знакомый, как показалось княжне Марье, голос говорил что-то.

— Слава богу! — сказал голос. — А батюшка?

— Почивать легли, — отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу.

Потом еще что-то сказал голос, что-то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстрее приближаться по невидному повороту лестницы. «Это Андрей! — подумала княжна Марья. — Нет, это не может быть, это было бы слишком необыкновенно», — подумала она, и в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица. Он вошел на лестницу и обнял сестру.

— Вы не получали моего письма? — спросил он, и, не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся и с акушером, который вошел вслед за ним (он съехался с ним на последней станции), быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру.

— Какая судьба! — проговорил он. — Маша, милая! — И, скинув шубу и сапоги, пошел на половину княгини.

IX

Маленькая княгиня лежала на подушках, в белом чепчике (страданье только что отпустило ее), черные волосы прядями вились у ее воспаленных, вспотевших щек, румяный, прелестный ротик с губкой, покрытой черными волосиками, был раскрыт, и она радостно улыбалась. Князь Андрей вошел в комнату и остановился перед ней, у изножья дивана, на котором она лежала. Блестящие глаза, смотревшие детски-испуганно и взволнованно, остановились на нем, не изменяя выражения. «Я вас всех люблю, я никому зла не делала, за что я страдаю? Помогите мне», — говорило ее выражение. Она видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею. Князь Андрей обошел диван и в лоб поцеловал ее.

— Душенька моя! — сказал он слово, которое никогда не говорил ей. — Бог милостив... — Она вопросительно, детски-укоризненно посмотрела на него.

«Я от тебя ждала помощи, и ничего, ничего, и ты тоже!» — сказали ее глаза. Она не удивилась, что он приехал; она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Муки вновь начались, и Марья Богдановна посоветовала князю Андрею выйти из комнаты.

Акушер вошел в комнату. Князь Андрей вышел и, встретив княжну Марью, опять подошел к ней. Они шепотом заговорили, но всякую минуту разговор замолкал. Они ждали и прислушивались.

— Allez, mon ami [1], — сказала княжна Марья. Князь Андрей опять пошел к жене и в соседней комнате сел, дожидаясь. Какая-то женщина вышла из ее комнаты с испуганным лицом и смутилась, увидав князя Андрея. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Жалкие, беспомощно-животные стоны слышались из-за двери. Князь Андрей встал, подошел к двери и хотел отворить ее. Дверь держал кто-то.

— Нельзя, нельзя! — проговорил оттуда испуганный голос. Он стал ходить по комнате. Крики замолкли, еще прошло несколько секунд. Вдруг страшный крик — не ее крик, она не могла так кричать — раздался в соседней

---

[1] Иди, мой друг. — *Ред.*

комнате. Князь Андрей подбежал к ее двери; крик замолк, но послышался другой крик, крик ребенка.

«Зачем принесли туда ребенка? — подумал в первую секунду князь Андрей. — Ребенок? Какой?.. Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?»

Когда он вдруг понял все радостное значение этого крика, слезы задушили его, и он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети. Дверь отворилась. Доктор, с засученными рукавами рубашки, без сюртука, бледный и с трясущейся челюстью, вышел из комнаты. Князь Андрей обратился к нему, но доктор растерянно взглянул на него и, ни слова не сказав, прошел мимо. Женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском робком личике, с губкой, покрытой черными волосиками.

«Я вас всех любила и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что-то маленькое, красное в белых трясущихся руках Марьи Богдановны.

Через два часа после этого князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик все уже знал. Он стоял у самой двери, и, как только она отворилась, старик молча старческими, жесткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал, как ребенок.

Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» — все говорило оно, и князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее восковую ручку, спокойно и высоко лежавшую на другой, и ему ее лицо сказало: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» И старик сердито отвернулся, увидав это лицо.

Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича. Мамушка подбородком придерживала пеленки, в то время как гусиным перышком священник мазал сморщенные красные ладонки и ступеньки мальчика.

Крестный отец — дед, боясь уронить, вздрагивая, носил младенца вокруг жестяной помятой купели и передавал его крестной матери, княжне Марье. Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка, и одобрительно кивнул головой, когда нянюшка сообщила ему, что брошенный в купель вощечок с волосками не потонул, а поплыл по купели.

X

Участие Ростова в дуэли Долохова с Безуховым было замято стараниями старого графа, и Ростов, вместо того чтобы быть разжалованным, как он ожидал, был определен адъютантом к московскому генерал-губернатору. Вследствие этого он не мог ехать в деревню со всем семейством, а оставался при своей новой должности все лето в Москве. Долохов выздоровел, и Ростов особенно сдружился с ним в это время его выздоровления. Долохов больной лежал у матери, страстно и нежно любившей его. Старушка Марья Ивановна, полюбившая Ростова за его дружбу к Феде, часто говорила ему про своего сына.

— Да, граф, он слишком благороден и чист душою, — говаривала она, — для нашего нынешнего, развращенного света. Добродетели никто не любит, она всем глаза колет. Ну, скажите, граф, справедливо это, честно это со стороны Безухова? А Федя по своему благородству любил его, и теперь никогда ничего дурного про него не говорит. В Петербурге эти шалости с квартальным, там что-то шутили, ведь они вместе делали? Что ж, Безухову ничего, а Федя все на своих плечах перенес! Ведь что он перенес! Положим, возвратили, да ведь как же и не возвратить? Я думаю, таких, как он, храбрецов и сынов отечества немного там было. Что ж, теперь — эта дуэль. Есть ли чувства, честь у этих людей! Зная, что он единственный сын, вызвать на дуэль и стрелять так прямо! Хоро-

шо, что бог помиловал нас. И за что же? Ну, кто же в наше время не имеет интриги? Что ж, коли он так ревнив — я понимаю, — ведь он прежде мог дать почувствовать, а то ведь год продолжалось. И что же, вызвал на дуэль, полагая, что Федя не будет драться, потому что он ему должен. Какая низость! Какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф, оттого-то я вас душой люблю, верьте мне. Его редкие понимают. Это такая высокая, небесная душа...

Сам Долохов часто во время своего выздоровления говорил Ростову такие слова, которых никак нельзя было ожидать от него.

— Меня считают злым человеком, я знаю, — говаривал он, — и пускай. Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге. У меня есть обожаемая, неоцененная мать, два-три друга, ты в том числе, а на остальных я обращаю внимание только настолько, насколько они полезны или вредны. И все почти вредны, в особенности женщины. Да, душа моя, — продолжал он, — мужчин я встречал любящих, благородных, возвышенных; но женщин, кроме продажных тварей — графинь или кухарок, все равно, — я не встречал еще. Я не встречал еще той небесной чистоты, преданности, которых я ищу в женщине. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее. А эти!.. — Он сделал презрительный жест. — И веришь ли мне, ежели я еще дорожу жизнью, то дорожу только потому, что надеюсь еще встретить такое небесное существо, которое бы возродило, очистило и возвысило меня. Но ты не понимаешь этого.

— Нет, я очень понимаю, — отвечал Ростов, находившийся под влиянием своего нового друга.

Осенью семейство Ростовых вернулось в Москву. В начале зимы вернулся и Денисов и остановился у Ростовых. Это первое время зимы 1806 года, проведенное Николаем Ростовым в Москве, было одно из самых счастливых и веселых для него и для всего его семейства. Николай привлек с собой в дом родителей много молодых людей. Вера была двадцатилетняя красивая девица: Соня шестнадцатилетняя девушка во всей прелести только распустившегося цветка; Наташа полубарышня, полу-

девочка, то детски смешная, то девически обворожительная.

В доме Ростовых завелась в это время какая-то особенная атмосфера любовности, как это бывает в доме, где очень милые и очень молодые девушки. Всякий молодой человек, приезжавший в дом Ростовых, глядя на эти молодые, восприимчивые, чему-то (вероятно, своему счастию) улыбающиеся девические лица, на эту оживленную беготню, слушая этот непоследовательный, но ласковый ко всем, на все готовый, исполненный надежды лепет женской молодежи, слушая эти непоследовательные звуки, то пенья, то музыки, испытывал одно и то же чувство готовности к любви и ожидания счастья, которое испытывала и сама молодежь дома Ростовых.

В числе молодых людей, введенных Ростовым, был одним из первых — Долохов, который понравился всем в доме, исключая Наташи. За Долохова она чуть не поссорилась с братом. Она настаивала на том, что он злой человек, что в дуэли с Безуховым Пьер был прав, а Долохов виноват, что он неприятен и неестествен.

— Нечего мне понимать! — с упорным своевольством кричала Наташа, — он злой и без чувств. Вот ведь я же люблю твоего Денисова, он и кутила, и всё, а я все-таки его люблю, стало быть, я понимаю. Не умею, как тебе сказать; у него все назначено, а я этого не люблю. Денисова...

— Ну, Денисов другое дело, — отвечал Николай, давая чувствовать, что в сравнении с Долоховым даже и Денисов был ничто, — надо понимать, какая душа у этого Долохова, надо видеть его с матерью, это такое сердце!

— Уж этого я не знаю, но с ним мне неловко. И ты знаешь ли, что он влюбился в Соню?

— Какие глупости...

— Я уверена, вот увидишь.

Предсказание Наташи сбывалось. Долохов, не любивший дамского общества, стал часто бывать в доме, и вопрос о том, для кого он ездит, скоро (хотя никто и не говорил про это) был решен так, что он ездит для Сони. И Соня, хотя никогда не посмела бы сказать этого, знала это и всякий раз, как кумач, краснела при появлении Долохова.

Долохов часто обедал у Ростовых, никогда не пропускал

спектакля, где они были, и бывал на балах adolescentes[1] у Иогеля, где всегда бывали Ростовы. Он оказывал преимущественное внимание Соне и смотрел на нее такими глазами, что не только она без краски не могла выдержать этого взгляда, но и старая графиня и Наташа краснели, заметив этот взгляд.

Видно было, что этот сильный, странный мужчина находился под неотразимым влиянием, производимым на него этой черненькой, грациозной, любящей другого девочкой.

Ростов замечал что-то новое между Долоховым и Соней; но он не определял себе, какие это были новые отношения. «Они там все влюблены в кого-то», — думал он про Соню и Наташу. Но ему было не так, как прежде, ловко с Соней и Долоховым, и он реже стал бывать дома.

С осени 1806 года опять все заговорило о войне с Наполеоном, еще с бо́льшим жаром, чем в прошлом году. Назначен был не только набор десяти рекрут, но и еще девяти ратников с тысячи. Повсюду проклинали анафемой Бонапартия, и в Москве только и толков было, что о предстоящей войне. Для семейства Ростовых весь интерес этих приготовлений к войне заключался только в том, что Николушка ни за что не соглашался оставаться в Москве и выжидал только конца отпуска Денисова, с тем чтобы с ним вместе ехать в полк после праздников. Предстоящий отъезд не только не мешал ему веселиться, но еще поощрял его к этому. Большую часть времени он проводил вне дома, на обедах, вечерах и балах.

XI

На третий день рождества Николай обедал дома, что в последнее время редко случалось с ним. Это был официально прощальный обед, так как он с Денисовым уезжал в полк после крещенья. Обедало человек двадцать, в том числе Долохов и Денисов.

Никогда в доме Ростовых любовный воздух, атмосфера влюбленности не давали себя чувствовать с такой силой, как в эти дни праздников. «Лови минуты счастия, заставляй себя любить, влюбляйся сам! Только это одно

[1] «подрастающих».

есть настоящее на свете — остальное все вздор. И этим одним мы здесь только и заняты», — говорила эта атмосфера.

Николай, как и всегда, замучив две пары лошадей и то не успев побывать во всех местах, где ему надо было быть и куда его звали, приехал домой перед самым обедом. Как только он вошел, он заметил и почувствовал напряженность любовной атмосферы в доме, но, кроме того, он заметил странное замешательство, царствующее между некоторыми из членов общества. Особенно взволнованы были Соня, Долохов, старая графиня и немного Наташа. Николай понял, что что-то должно было случиться до обеда между Соней и Долоховым, и, с свойственною ему чуткостью сердца, был очень нежен и осторожен во время обеда в обращении с ними обоими. В этот же вечер третьего дня праздников должен был быть один из тех балов у Иогеля (танцевального учителя), которые он давал по праздникам для всех своих учеников и учениц.

— Николенька, ты поедешь к Иогелю? Пожалуйста, поезжай, — сказала ему Наташа, — он тебя особенно просил, и Василий Дмитрич (это был Денисов) едет.

— Куда я не поеду по пг'иказанию г'афини! — сказал Денисов, шутливо поставивший себя в доме Ростовых на ногу рыцаря Наташи, — pas de châle готов танцевать.

— Коли успею! Я обещал Архаровым, у них вечер, — сказал Николай.

— А ты?.. — обратился он к Долохову. И только что спросил это, заметил, что этого не надо было спрашивать.

— Да, может быть... — холодно и сердито отвечал Долохов, взглянув на Соню и нахмурившись, точно таким взглядом, каким он на клубном обеде смотрел на Пьера, опять взглянул на Николая.

«Что-нибудь есть», — подумал Николай, и, еще более утвердившись в этом предположении тем, что Долохов тотчас же после обеда уехал, он вызвал Наташу и спросил, что такое?

— А я тебя искала, — сказала Наташа, выбежав к нему. — Я говорила, ты все не хотел верить, — торжествующе сказала она, — он сделал предложение Соне.

Как ни мало занимался Николай Соней за это время, но что-то как бы оторвалось в нем, когда он услыхал это. Долохов был приличная и в некоторых отношениях блестящая партия для бесприданной сироты Сони. С точки зрения старой графини и света, нельзя было отказать ему. И потому первое чувство Николая, когда он услыхал это, было озлобление против Сони. Он приготавливался к тому, чтобы сказать: «И прекрасно, разумеется, надо забыть детские обещания и принять предложение»; но не успел он еще сказать этого...

— Можешь себе представить! она отказала, совсем отказала! — заговорила Наташа. — Она сказала, что любит другого, — прибавила она, помолчав немного.

«Да иначе и не могла поступить моя Соня!» — подумал Николай.

— Сколько ее ни просила мама, она отказала, и я знаю, она не переменит, если что сказала...

— А мама просила ее! — с упреком сказал Николай.

— Да, — сказала Наташа. — Знаешь, Николенька, не сердись; но я знаю, что ты на ней не женишься. Я знаю, бог знает отчего, я знаю верно, ты не женишься.

— Ну, этого ты никак не знаешь, — сказал Николай, — но мне надо поговорить с ней. Что за прелесть эта Соня! — прибавил он, улыбаясь.

— Это такая прелесть! Я тебе пришлю ее. — И Наташа, поцеловав брата, убежала.

Через минуту вошла Соня, испуганная, растерянная и виноватая. Николай подошел к ней и поцеловал ее руку. Это был первый раз, что они в этот приезд говорили с глазу на глаз и о своей любви.

— Sophie, — сказал он сначала робко и потом смелее и смелее, — ежели вы хотите отказаться не только от блестящей, от выгодной партии; но он прекрасный, благородный человек... он мой друг...

Соня перебила его.

— Я уж отказалась, — сказала она поспешно.

— Ежели вы отказываетесь для меня, то я боюсь, что на мне...

Соня опять перебила его. Она умоляющим, испуганным взглядом посмотрела на него.

— Nicolas, не говорите мне этого, — сказала она.

— Нет, я должен. Может быть, это suffisance[1] с моей

---

[1] самонадеянность.

стороны, но все лучше сказать. Ежели вы откажетесь для меня, то я должен вам сказать всю правду. Я вас люблю, я думаю, больше всех.

— Мне и довольно, — вспыхнув, сказала Соня.

— Нет, но я тысячу раз влюблялся и буду влюбляться, хотя такого чувства дружбы, доверия, любви я ни к кому не имею, как к вам. Потом, я молод. Maman не хочет этого. Ну, просто, я ничего не обещаю. И я прошу вас подумать о предложении Долохова, — сказал он, с трудом выговаривая фамилию своего друга.

— Не говорите мне этого. Я ничего не хочу. Я люблю вас как брата и всегда буду любить, и больше мне ничего не надо.

— Вы ангел, я вас не сто́ю, но я только боюсь обмануть вас. — Николай еще раз поцеловал ее руку.

XII

У Иогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих adolescentes[1], выделывающих свои только что выученные па; это говорили и сами adolescentes и adolescents[2], танцевавшие до упаду; это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы с мыслью снизойти до них и находя в них самое лучшее веселье. В этот же год на этих балах сделалось два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж, и тем еще более пустили в славу эти балы. Особенного на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по правилам искусства расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за уроки от всех своих гостей; было то, что на эти балы еще езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться, как хотят этого тринадцати- и четырнадцатилетние девочки, в первый раз надевающие длинные платья. Все, за редкими исключениями, были или казались хорошенькими: так восторженно они все улыбались и так разгорались их глазки. Иногда танцовывали даже pas de châle лучшие ученицы, из которых лучшая была Наташа, отличавшаяся своею грациозностью; но на этом, последнем бале тан-

---

[1] подросточков.
[2] подростки.

цевали только экосезы, англезы и только что входящую в моду мазурку. Зала была взята Иогелем в доме Безухова, и бал очень удался, как говорили все. Много было хорошеньких девочек, и Ростовы барышни были из лучших. Они обе были особенно счастливы и веселы в этот вечер. Соня, гордая предложением Долохова, своим отказом и объяснением с Николаем, кружилась еще дома, не давая девушке дочесать свои косы, и теперь насквозь светилась порывистой радостью.

Наташа, не менее гордая тем, что она в первый раз была в длинном платье, на настоящем бале, была еще счастливее. Они были в белых кисейных платьях с розовыми лентами.

Наташа сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена.

— Ах, как хорошо! — все говорила она, подбегая к Соне.

Николай с Денисовым ходили по залам, ласково и покровительственно оглядывая танцующих.

— Как она мила, кг'асавица будет, — сказал Денисов.

— Кто?

— Г'афиня Наташа, — отвечал Денисов.

— И как она танцует, какая г'ация! — помолчав немного, опять сказал он.

— Да про кого ты говоришь?

— Пг'о сестг'у пг'о твою, — сердито крикнул Денисов. Ростов усмехнулся.

— Mon cher comte; vous êtes l'un de mes meilleurs écoliers, il faut que vous dansiez, — сказал маленький Иогель, подходя к Николаю. — Voyez combien de jolies demoiselles [1]. — Он с тою же просьбой обратился и к Денисову, тоже своему бывшему ученику.

— Non, mon cher, je ferai tapisserie [2], — сказал Денисов. — Разве вы не помните, как дурно я пользовался вашими уроками?..

— О нет! — поспешно утешая его, сказал Иогель. —

[1] Любезный граф, вы один из лучших моих учеников. Вы должны танцевать. Посмотрите, сколько хорошеньких девушек!
[2] Нет, мой милый, я лучше посижу для вида.

Вы только невнимательны были, а вы имели способности, да, вы имели способности.

Заиграли вновь вводившуюся мазурку. Николай не мог отказать Иогелю и пригласил Соню. Денисов подсел к старушкам и, облокотившись на саблю, притопывая такт, что-то весело рассказывал и смешил старых дам, поглядывая на танцующую молодежь. Иогель в первой паре танцевал с Наташей, своею гордостью и лучшей ученицей. Мягко, нежно перебирая своими ножками в башмачках, Иогель первым полетел по зале с робевшей, но старательно выделывающей па́ Наташей. Денисов не спускал с нее глаз и пристукивал саблей такт с таким видом, который ясно говорил, что он сам не танцует только оттого, что не хочет, а не оттого, что не может. В середине фигуры он подозвал к себе проходившего мимо Ростова.

— Это совсем не то, — сказал он. — Разве это польская мазуг'ка? А отлично танцует.

Зная, что Денисов и в Польше даже славился своим мастерством плясать польскую мазурку, Николай подбежал к Наташе.

— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чудо! — сказал он.

Когда пришел опять черед Наташи, она встала и, быстро перебирая своими с бантиками башмачками, робея, одна пробежала через залу к углу, где сидел Денисов. Она видела, что все смотрят на нее и ждут. Николай видел, что Денисов и Наташа, улыбаясь, спорили и что Денисов отказывался, но радостно улыбался. Он подбежал.

— Пожалуйста, Василий Дмитрич, — говорила Наташа, — пойдемте, пожалуйста.

— Да что. Увольте, г'афиня, — говорил Денисов.

— Ну полно, Вася, — сказал Николай.

— Точно кота Ваську уговаг'ивает ,— шутя сказал Денисов.

— Целый вечер вам буду петь, — сказала Наташа.

— Волшебница, все со мной сделает! — сказал Денисов и отстегнул саблю. Он вышел из-за стульев, крепко взял за руку свою даму, приподнял голову и отставил ногу, ожидая такта. Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал. Выждав такт, он сбоку, победоносно и шутливо, взглянул на свою

даму, неожиданно пристукнул одною ногой и, как мячик, упруго отскочил от пола и полетел вдоль по кругу, увлекая за собой свою даму. Он неслышно летел половину залы на одной ноге и, казалось, не видел стоявших перед ним стульев и прямо несся на них; но вдруг, прищелкнув шпорами и расставив ноги, останавливался на каблуках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами, быстро вертелся и, левою ногой подщелкивая правую, опять летел по кругу. Наташа чутьем угадывала то, что он намерен был сделать, и, сама не зная как, следила за ним — отдаваясь ему. То он кружил ее на правой, то на левой руке, то, падая на колена, обводил ее вокруг себя и опять вскакивал и пускался вперед с такой стремительностью, как будто он намерен был, не переводя духа, перебежать через все комнаты; то вдруг опять останавливался и делал опять новое и неожиданное колено. Когда он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкнул шпорой, кланяясь перед ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоумением уставила на него глаза, улыбаясь, как будто не узнавая его.

— Что ж это такое? — проговорила она.

Несмотря на то, что Иогель не признавал эту мазурку настоящей, все были восхищены мастерством Денисова, беспрестанно стали выбирать его, и старики, улыбаясь, стали разговаривать про Польшу и про доброе старое время. Денисов, раскрасневшись от мазурки и отираясь платком, подсел к Наташе и весь бал не отходил от нее.

XIII

Два дня после этого Ростов не видал Долохова у своих и не заставал его дома; на третий день он получил от него записку.

«Так как я в доме у вас бывать более не намерен по известным тебе причинам и еду в армию, то нынче вечером я даю моим приятелям прощальную пирушку — приезжай в Английскую гостиницу». Ростов в десятом часу, из театра, где он был вместе с своими и Денисовым, приехал в назначенный день в Английскую гостиницу. Его тотчас же провели в лучшее помещение гостиницы, занятое на эту ночь Долоховым.

Человек двадцать толпилось около стола, перед которым между двумя свечами сидел Долохов. На столе ле-

жало золото и ассигнации, и Долохов метал банк. После предложения и отказа Сони Николай еще не видался с ним и испытывал замешательство при мысли о том, как они свидятся.

Светлый холодный взгляд Долохова встретил Ростова еще у двери, как будто он давно ждал его.

— Давно не видались, — сказал он, — спасибо, что приехал. Вот только домечу, и явится Илюшка с хором.

— Я к тебе заезжал, — сказал Ростов, краснея.

Долохов не отвечал ему.

— Можешь поставить, — сказал он.

Ростов вспомнил в эту минуту странный разговор, который он имел раз с Долоховым. «Играть на счастие могут только дураки», — сказал тогда Долохов.

— Или ты боишься со мной играть? — сказал теперь Долохов, как будто угадав мысль Ростова, и улыбнулся. Из-за улыбки его Ростов увидал в нем то настроение духа, которое было у него во время обеда в клубе и вообще в те времена, когда, как бы соскучившись ежедневною жизнью, Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большею частью жестоким, поступком выходить из нее.

Ростову стало неловко; он искал и не находил в уме своем шутки, которая ответила бы на слова Долохова. Но, прежде чем он успел это сделать, Долохов, глядя прямо в лицо Ростову, медленно и с расстановкой, так, что все могли слышать, сказал ему:

— А помнишь, мы говорили с тобой про игру... дурак, кто на счастье хочет играть; играть надо наверное, а я хочу попробовать.

«Попробовать на счастье играть или наверное?» — подумал Ростов.

— Да и лучше не играй, — прибавил он и, треснув разорванной колодой, сказал: — Банк, господа!

Подвинув вперед деньги, Долохов приготовился метать. Ростов сел подле него и сначала не играл. Долохов взглядывал на него.

— Что ж не играешь? — сказал Долохов. И странно, Николай почувствовал необходимость взять карту, поставить на нее незначительный куш и начать игру.

— Со мною денег нет, — сказал Ростов.

— Поверю!

Ростов поставил пять рублей на карту и проиграл,

поставил еще и опять проиграл. Долохов убил, то есть выиграл десять карт сряду у Ростова.

— Господа, — сказал он, прометав несколько времени, — прошу класть деньги на карты, а то я могу спутаться в счетах.

Один из игроков сказал, что, он надеется, ему можно поверить.

— Поверить можно, но боюсь спутаться; прошу класть деньги на карты, — отвечал Долохов. — Ты не стесняйся, мы с тобой сочтемся, — прибавил он Ростову.

Игра продолжалась; лакей не переставая разносил шампанское.

Все карты Ростова бились, и на него было написано до восьмисот рублей. Он надписал было над одной картой восемьсот рублей, но в то время, как ему подавали шампанское, он раздумал и написал опять обыкновенный куш, двадцать рублей.

— Оставь, — сказал Долохов, хотя он, казалось, и не смотрел на Ростова, — скорее отыграешься. Другим даю, а тебе бью. Иль ты меня боишься? — повторил он.

Ростов повиновался, оставил написанные восемьсот и поставил семерку червей с оторванным уголком, которую он поднял с земли. Он хорошо ее после помнил. Он поставил семерку червей, надписав над ней отломанным мелком восемьсот, круглыми, прямыми цифрами; выпил поданный стакан согревшегося шампанского, улыбнулся на слова Долохова и, с замиранием сердца ожидая семерки, стал смотреть на руки Долохова, державшие колоду. Выигрыш или проигрыш этой семерки червей означал многое для Ростова. В воскресенье на прошлой неделе граф Илья Андреич дал своему сыну две тысячи рублей, и он, никогда не любивший говорить о денежных затруднениях, сказал ему, что деньги эти были последние до мая и что потому он просил сына быть на этот раз поэкономнее. Николай сказал, что ему и это слишком много и что он дает честное слово не брать больше денег до весны. Теперь из этих денег оставалось тысяча двести рублей. Стало быть, семерка червей означала не только проигрыш тысячи шестисот рублей, но и необходимость изменения данному слову. Он с замиранием сердца смотрел на руки Долохова и думал: «Ну, скорей, дай мне эту карту, и я беру фуражку, уезжаю домой ужинать с Денисовым, Наташей и Соней, и уж верно никогда в руках моих не будет карты». В эту

минуту домашняя жизнь его — шуточки с Петей, разговоры с Соней, дуэты с Наташей, пикет с отцом и даже спокойная постель в Поварском доме — с такою силою, ясностью и прелестью представилась ему, как будто все это было давно прошедшее, потерянное и неоцененное счастье. Он не мог допустить, чтобы глупая случайность, заставив семерку лечь прежде направо, чем налево, могла бы лишить его всего этого вновь понятого, вновь освещенного счастья и повергнуть его в пучину еще не испытанного и неопределенного несчастия. Это не могло быть, но он все-таки ожидал с замиранием движения рук Долохова. Ширококостые, красноватые руки эти с волосами, видневшимися из-под рубашки, положили колоду карт и взялись за подаваемый стакан и трубку.

— Так ты не боишься со мной играть? — повторил Долохов, и, как будто для того, чтобы рассказать веселую историю, он положил карты, опрокинулся на спинку стула и медлительно с улыбкой стал рассказывать:

— Да, господа, мне говорили, что в Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мной осторожнее.

— Ну, мечи же! — сказал Ростов.

— Ох, московские тетушки! — сказал Долохов и с улыбкой взялся за карты.

— Ааах! — чуть не крикнул Ростов, поднимая обе руки к волосам. Семерка, которая была нужна ему, уже лежала вверху, первою картой в колоде. Он проиграл больше того, что мог заплатить.

— Однако ты не зарывайся, — сказал Долохов, мельком взглянув на Ростова и продолжая метать.

XIV

Через полтора часа времени большинство игроков уже шутя смотрели на свою собственную игру.

Вся игра сосредоточилась на одном Ростове. Вместо тысячи шестисот рублей за ним была записана длинная колонна цифр, которую он считал до десятой тысячи, но которая теперь, как он смутно предполагал, возвысилась уже до пятнадцати тысяч. В сущности, запись уже превышала двадцать тысяч рублей. Долохов уже не слушал и не рассказывал историй; он следил за каждым движением рук Ростова и бегло оглядывал изредка свою запись

за ним. Он решил продолжать игру до тех пор, пока запись эта не возрастет до сорока трех тысяч. Число это было им выбрано потому, что сорок три составляло сумму сложенных его годов с годами Сони. Ростов, опершись головою на обе руки, сидел перед исписанным, залитым вином, заваленным картами столом. Одно мучительное впечатление не оставляло его: эти ширококостые, красноватые руки с волосами, видневшимися из-под рубашки, эти руки, которые он любил и ненавидел, держали его в своей власти.

«Шестьсот рублей, туз, угол, девятка... отыграться невозможно!.. И как бы весело было дома... Валет, но нет... это не может быть!.. И зачем же это он делает со мной?..» — думал и вспоминал Ростов. Иногда он ставил большую карту; но Долохов отказывался бить ее и сам назначал куш. Николай покорялся ему, и то молился богу, как он молился на поле сражения на Амштетенском мосту; то загадывал, что та карта, которая первая попадется ему в руку из кучи изогнутых карт под столом, та спасет его; то рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке, и с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш; то за помощью оглядывался на других играющих; то вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось.

«Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит для меня этот проигрыш. Не может же он желать моей погибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его любил... Но и он не виноват; что ж ему делать, когда ему везет счастие? И я не виноват, — говорил он сам себе. — Я ничего не сделал дурного. Разве я убил кого-нибудь, оскорбил, пожелал зла? За что же такое ужасное несчастие? И когда оно началось? Еще так недавно, когда я подходил к этому столу с мыслью выиграть сто рублей, купить мамá к именинам эту шкатулку и ехать домой, я так был счастлив, так свободен, весел! И я не понимал тогда, как я был счастлив! Когда же это кончилось и когда началось это новое, ужасное состояние? Чем ознаменовалась эта перемена? Я все так же сидел на этом месте, у этого стола, и так же выбирал и выдвигал карты и смотрел на эти ширококостые, ловкие руки. Когда же это совершилось и что такое совершилось? Я здоров, силен и все тот же, и все на том же месте. Нет, это не может быть! Верно, все это ничем не кончится».

Он был красен, весь в поту, несмотря на то, что в комнате не было жарко. И лицо его было страшно и жалко, особенно по бессильному желанию казаться спокойным.

Запись дошла до рокового числа сорока трех тысяч. Ростов приготовил карту, которая должна была идти углом от трех тысяч рублей, только что данных ему, когда Долохов стукнул колодой, отложил ее и, взяв мел, начал быстро своим четким, крепким почерком, ломая мелок, подводить итог записи Ростова.

— Ужинать, ужинать пора! Вон и цыгане! — Действительно, с своим цыганским акцентом уже входили с холода и говорили что-то какие-то черные мужчины и женщины. Николай понимал, что все было кончено; но он равнодушным голосом сказал:

— Что же, не будешь еще? А у меня славная карточка приготовлена. — Как будто более всего его интересовало веселье самой игры.

«Все кончено, я пропал! — думал он. — Теперь пуля в лоб — одно остается», — и вместе с тем он сказал веселым голосом:

— Ну, еще одну карточку.

— Хорошо, — отвечал Долохов, окончив итог, — хорошо! двадцать один рубль идет, — сказал он, указывая на цифру двадцать один, рознившую ровный счет сорока трех тысяч, и, взяв колоду, приготовился метать. Ростов покорно отогнул угол и вместо приготовленных шести тысяч старательно написал двадцать один.

— Это мне все равно, — сказал он, — мне только интересно знать, убьешь ты или дашь мне эту десятку.

Долохов серьезно стал метать. О, как ненавидел Ростов в эту минуту эти руки, красноватые, с короткими пальцами и с волосами, видневшимися из-под рубашки, имевшие его в своей власти... Десятка была дана.

— За вами сорок три тысячи, граф, — сказал Долохов и, потягиваясь, встал из-за стола. — А устаешь, однако, так долго сидеть, — сказал он.

— Да, и я тоже устал, — сказал Ростов.

Долохов, как будто напоминая ему, что ему неприлично было шутить, перебил его:

— Когда прикажете получить деньги, граф?

Ростов, вспыхнув, вызвал Долохова в другую комнату.

— Я не могу вдруг заплатить все, ты возьмешь вексель, — сказал он.

— Послушай, Ростов, — сказал Долохов, ясно улыбаясь и глядя в глаза Николаю, — ты знаешь поговорку: «Счастлив в любви, несчастлив в картах». Кузина твоя влюблена в тебя. Я знаю.

«О! это ужасно чувствовать себя так во власти этого человека», — думал Ростов. Ростов понимал, какой удар он нанесет отцу, матери объявлением этого проигрыша; он понимал, какое бы было счастье избавиться от всего этого, и понимал, что Долохов знает, что может избавить его от этого стыда и горя, и теперь хочет еще играть с ним, как кошка с мышью.

— Твоя кузина... — хотел сказать Долохов; но Николай перебил его.

— Моя кузина тут ни при чем, и о ней говорить нечего! — крикнул он с бешенством.

— Так когда получить? — спросил Долохов.

— Завтра, — сказал Ростов и вышел из комнаты.

XV

Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было нетрудно, но приехать одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно.

Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, поужинав, сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в залу, его охватила та любовная поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме и которая теперь, после предложения Долохова и бала Иогеля, казалось, еще более сгустилась, как воздух перед грозой, над Соней и Наташей. Соня и Наташа, в голубых платьях, в которых они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые, улыбаясь, стояли у клавикорд. Вера с Шиншиным играла в шахматы в гостиной. Старая графиня, ожидая сына и мужа, раскладывала пасьянс с старушкой дворянкой, жившей у них в доме. Денисов с блестящими глазами и взъерошенными волосами сидел, откинув ножку назад, у клавикорд и, хлопая по ним своими коротенькими пальчиками, брал аккорды

и, закатывая глаза, своим маленьким, хриплым, но верным голосом пел сочиненное им стихотворение «Волшебница», к которому он пытался найти музыку.

Волшебница, скажи, какая сила
Влечет меня к покинутым струнам;
Какой огонь ты в сердце заронила,
Какой восторг разлился по перстам! —

пел он страстным голосом, блестя на испуганную и счастливую Наташу своими агатовыми черными глазами.

— Прекрасно! отлично! — кричала Наташа. — Еще другой куплет, — говорила она, не замечая Николая.

«У них все то же», — подумал Николай, заглядывая в гостиную, где он увидал Веру и мать со старушкой.

— А! вот и Николенька! — Наташа подбежала к нему.

— Папенька дома? — спросил он.

— Как я рада, что ты приехал! — не отвечая, сказала Наташа. — Нам так весело! Василий Дмитрич остался для меня еще день, ты знаешь?

— Нет, еще не приезжал папа, — сказала Соня.

— Коко, ты приехал, поди ко мне, дружок, — сказал голос графини из гостиной. Николай подошел к матери, поцеловал ее руку и, молча подсев к ее столу, стал смотреть на ее руки, раскладывавшие карты. Из залы все слышались смех и веселые голоса, уговаривавшие Наташу.

— Ну, хорошо, хорошо, — закричал Денисов, — теперь нечего отговариваться, за вами barcarolla, умоляю вас.

Графиня оглянулась на молчаливого сына.

— Что с тобой? — спросила мать у Николая.

— Ах, ничего, — сказал он, как будто ему уже надоел этот все один и тот же вопрос. — Папенька скоро приедет?

— Я думаю.

«У них все то же. Они ничего не знают! Куда мне деваться?» — подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды.

Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркароллы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее.

Николай стал ходить взад и вперед по комнате.

«И вот охота заставлять ее петь! Что она может петь? И ничего тут нет веселого», — думал Николай.

Соня взяла первый аккорд прелюдии.

«Боже мой, я бесчестный, я погибший человек. Пулю в лоб — одно, что остается, а не петь, — подумал он. — Уйти? но куда же? Все равно, пускай поют!»

Николай мрачно, продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов.

«Николенька, что с вами?» — спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что-нибудь случилось с ним.

Николай отвернулся от нее. Наташа с своею чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она (как это часто бывает с молодыми людьми) нарочно обманула себя. «Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю», — почувствовала она и сказала себе: «Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть весел так же, как и я».

— Ну, Соня, — сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Приподняв голову, опустив безжизненно-повисшие руки, как это делают танцовщицы, Наташа, энергическим движением переступая с каблучка на цыпочку, прошлась посередине комнаты и остановилась.

«Вот она я!» — как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней.

«И чему она радуется! — подумал Николай, глядя на сестру. — И как ей не скучно и не совестно!» Наташа взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать.

Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь и в особенности оттого, что Денисов восторгался ее пением. Она пела теперь не по-детски, уж не было в ее пении этой комической, ребяческой старательности, которая была в ней прежде; но она пела еще не хорошо, как

говорили все знатоки-судьи, которые ее слушали. «Не обработан, но прекрасный голос, надо обработать», — говорили все. Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями, и с усилиями переходов, даже знатоки-судьи ничего не говорили, и только наслаждались этим необработанным голосом, и только желали еще раз услыхать его. В голосе ее была та девственность, нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его.

«Что же это такое? — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза. — Что с ней сделалось? Как она поет нынче?» — подумал он. И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа: «Oh mio crudele affetto...[1] Раз, два, три... раз, два... три... раз... Oh mio crudele affetto... Раз, два, три... раз. Эх, жизнь наша дурацкая! — думал Николай. — Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь, — все это вздор... а вот оно — настоящее... Ну, Наташа, ну, голубчик! ну, матушка!.. Как она этот si возьмет... Взяла? Слава богу! — И он, сам не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот si, взял втору в терцию высокой ноты. — Боже мой! как хорошо! Неужели это я взял? как счастливо!» — подумал он.

О, как задрожала эта терция и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!.. Все вздор! Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым...

XVI

Давно уже Ростов не испытывал такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но как только Наташа кончила свою баркароллу, действительность опять вспомнилась ему. Он, ничего не сказав, вышел и пошел вниз в свою комнату. Через четверть часа старый граф, веселый и до-

[1] О моя жестокая любовь... *(итал.) — Ред.*

вольный, приехал из клуба. Николай, услыхав его приезд, пошел к нему.

— Ну что, повеселился? — сказал Илья Андреич, радостно и гордо улыбаясь на своего сына. Николай хотел сказать, что «да», но не мог: он чуть было не зарыдал. Граф раскуривал трубку и не заметил состояния сына.

«Эх, неизбежно!» — подумал Николай в первый и последний раз. И вдруг самым небрежным тоном, таким, что он сам себе гадок казался, как будто он просил экипажа съездить в город, он сказал отцу:

— Папа, я к вам за делом пришел. Я было и забыл. Мне денег нужно.

— Вот как, — сказал отец, находившийся в особенно веселом духе. — Я тебе говорил, что недостанет. Много ли?

— Очень много, — краснея и с глупой, небрежной улыбкой, которую он долго потом не мог себе простить, сказал Николай. —Я немного проиграл, то есть много, даже очень много, сорок три тысячи.

— Что? Кому?.. Шутишь! — крикнул граф, вдруг апоплексически краснея шеей и затылком, как краснеют старые люди.

— Я обещал заплатить завтра, — сказал Николай.

— Ну!.. — сказал старый граф, разводя руками, и бессильно опустился на диван.

— Что же делать! С кем это не случалось, — сказал сын развязным, смелым тоном, тогда как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целою жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается.

Граф Илья Андреич опустил глаза, услыхав эти слова сына, и заторопился, отыскивая что-то.

— Да, да, — проговорил он, — трудно, я боюсь, трудно достать... с кем не бывало! да, с кем не бывало... — И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты... Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого.

— Папенька! па...пенька! — закричал он ему вслед, рыдая, — простите меня! — И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал.

В то время как отец объяснялся с сыном, у матери с дочерью происходило не менее важное объяснение. Наташа, взволнованная, прибежала к матери.

— Мама!.. Мама!.. он мне сделал...

— Что сделал?

— Сделал, сделал предложение. Мама! Мама! — кричала она.

Графиня не верила своим ушам. Денисов сделал предложение. Кому? Этой крошечной девочке Наташе, которая еще недавно играла в куклы и теперь еще брала уроки.

— Наташа, полно, глупости! — сказала она, еще надеясь, что это была шутка.

— Ну вот, глупости! Я вам дело говорю, — сердито сказала Наташа. — Я пришла спросить, что делать, а вы говорите: «глупости»...

Графиня пожала плечами.

— Ежели правда, что *мосье* Денисов сделал тебе предложение, хотя это смешно, то скажи ему, что он дурак, вот и все.

— Нет, он не дурак, — обиженно и серьезно сказала Наташа.

— Ну, так что ж ты хочешь? Вы нынче ведь все влюблены. Ну, влюблена, так выходи замуж, — сердито смеясь, проговорила графиня, — с богом!

— Нет, мама, я не влюблена в него, должно быть, не влюблена в него.

— Ну так та́к и скажи ему.

— Мама, вы сердитесь? Вы не сердитесь, голубушка, ну в чем же я виновата?

— Нет, да что же, мой друг? Хочешь, я пойду скажу ему, — сказала графиня, улыбаясь.

— Нет, я сама, только вы научите. Вам все легко, — прибавила она, отвечая на ее улыбку. — А коли бы вы видели, как он мне это сказал! Ведь я знаю, что он не хотел сказать, да уж нечаянно сказал.

— Ну, все-таки надо отказать.

— Нет, не надо. Мне так его жалко! Он такой милый.

— Ну, так прими предложение. И то, пора замуж идти, — сердито и насмешливо сказала мать.

— Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу.

— Да тебе и нечего говорить, я сама скажу, — сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на ее маленькую Наташу.

— Нет, ни за что, я сама, а вы идите слушайте у двери, — и Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле, у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов.

— Натали, — сказал он, быстрыми шагами подходя к ней, — решайте мою судьбу. Она в ваших руках!

— Василий Дмитрич, мне вас так жалко!.. Нет, но вы такой славный... но не надо... это... а так я вас всегда буду любить.

Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные, непонятные звуки. Она поцеловала его в черную спутанную курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним.

— Василий Дмитрич, я благодарю вас за честь, — сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову, — но моя дочь так молода, и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа.

— Г'афиня... — сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом, хотел сказать что-то еще и запнулся.

Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать.

— Г'афиня, я виноват перед вами, — продолжал Денисов прерывающимся голосом, — но знайте, что я так боготворю вашу дочь и все ваше семейство, что две жизни отдам... — Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо... — Ну прощайте, г'афиня, — сказал он, поцеловав ее руку, и, не взглянув на Наташу, быстрыми, решительными шагами вышел из комнаты.

На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции.

После отъезда Денисова Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дома, и преимущественно в комнате барышень.

Соня была к нему преданнее и нежнее, чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его; но Николай теперь считал себя недостойным ее.

Он исписал альбомы девочек стихами и нотами и, не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав, наконец, все сорок три тысячи и получив расписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

После своего объяснения с женой Пьер поехал в Петербург. В Торжке на станции не было лошадей, или не хотел их дать смотритель. Пьер должен был ждать. Он, не раздеваясь, лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах и задумался.

— Прикажете чемоданы внести? Постель постелить, чаю прикажете? — спрашивал камердинер.

Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и все продолжал думать о том же — о столь важном, что он не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг него. Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему места отдохнуть на этой станции, но ему все равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции.

Смотритель, смотрительша, камердинер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали все одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников и провел первую мучительную бессонную ночь; только теперь, в уединении путешествия, они с особенною силой овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить и не мог переставать задавать себе. Как будто в голове его

свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его.

Вошел смотритель и униженно стал просить его сиятельство подождать только два часика, после которых он для его сиятельства (что будет, то будет) даст курьерских. Смотритель, очевидно, врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. «Дурно ли это было или хорошо? — спрашивал себя Пьер. — Для меня хорошо, для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего: он говорил, что его прибил за это офицер. А офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее. А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным. А Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «Умрешь — все кончится. Умрешь и все узнаешь — или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно.

Торжковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар и в особенности козловые туфли. «У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, — думал Пьер. — И зачем нужны ей эти деньги? Точно на один волос могут прибавить ей счастья, спокойствия души эти деньги? Разве может что-нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженными злу и смерти? Смерть, которая все кончит и которая должна прийти нынче или завтра, — все равно через мгновение, в сравнении с вечностью». И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт все так же вертелся на одном и том же месте.

Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах m-me Suza. Он стал читать о страданиях и добродетельной борьбе какой-то Amélie de Mansfeld. «И зачем она боролась против своего соблазнителя, — думал он, — когда она любила его? Не мог бог вложить в ее душу стремления, противного его воле. Моя

бывшая жена не боролась, и, может быть, она была права. Ничего не найдено, — опять говорил себе Пьер, — ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».

Все в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение.

— Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот для них, — сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый, желтый, морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета глазами.

Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который с угрюмо-усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном, крытом нанкой тулупчике и в валяных сапогах на худых, костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову, и взглянул на Безухова. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но, когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и, сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением адамовой головы, неподвижно сидел, или отдыхая, или о чем-то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичок, без усов и бороды, которые, видимо, не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичок слуга разбирал погребец, приготавливал чайный стол и принес кипящий самовар. Когда все было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и, налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим.

Слуга принес назад свой пустой, перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего.

— Ничего. Подай книгу, — сказал проезжающий. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру духовною, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий отложил книгу, заложив, закрыл ее и, опять закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру.

Пьер чувствовал себя смущенным и хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие старческие глаза неотразимо притягивали его к себе.

II

— Имею удовольствие говорить с графом Безуховым, ежели я не ошибаюсь, — сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча, вопросительно смотрел через очки на своего собеседника.

— Я слышал про вас, — продолжал проезжающий, — и про постигшее вас, государь мой, несчастье. — Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал: «Да, несчастье, как вы ни называйте, я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье». — Весьма сожалею о том, государь мой.

Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь.

— Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам. — Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него.

— Вы несчастливы, государь мой, — продолжал он. — Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам.

— Ах, да, — с неестественной улыбкой сказал Пьер. — Очень вам благодарен... Вы откуда изволите проезжать? — Лицо проезжающего было не ласково, даже холодно и строго, но, несмотря на то, и речь и лицо нового

знакомца неотразимо-привлекательно действовали на Пьера.

— Но если по каким-либо причинам вам неприятен разговор со мною, — сказал старик, — то вы так и скажите, государь мой. — И он вдруг улыбнулся неожиданной отечески нежной улыбкой.

— Ах, нет, совсем нет, напротив, я очень рад познакомиться с вами, — сказал Пьер и, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем адамову голову, знак масонства.

— Позвольте мне спросить, — сказал он, — вы масон?

— Да, я принадлежу к братству свободных каменщиков, — сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. — И от себя и от их имени протягиваю вам братскую руку.

— Я боюсь, — сказал Пьер, улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над верованиями масонов, — я боюсь, что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга.

— Мне известен ваш образ мыслей, — сказал масон, — и тот ваш образ мыслей, о котором вы говорите и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей, есть однообразный плод гордости, лени и невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мыслей есть печальное заблужденье.

— Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, — сказал Пьер, слабо улыбаясь.

— Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, — сказал масон, все более и более поражая Пьера своею определенностью и твердостью речи. — Никто один не может достигнуть до истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем великого бога, — сказал масон и закрыл глаза.

— Я должен вам сказать, я не верю, не... верю в бога, — с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.

Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие.

— Да вы не знаете его, государь мой, — сказал масон. — Вы не можете знать его. Вы не знаете его, оттого вы и несчастны.

— Да, да, я несчастен, — подтвердил Пьер, — но что ж мне делать?

— Вы не знаете его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете его, а он здесь, он во мне, он в моих словах, он в тебе и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас, — строгим дрожащим голосом сказал масон.

Он помолчал и вздохнул, видимо, стараясь успокоиться.

— Ежели бы его не было, — сказал он тихо, — мы бы с вами не говорили о нем, государь мой. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? — вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. — Кто его выдумал, ежели его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?.. — Он остановился и долго молчал.

Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.

— Он есть, но понять его трудно, — заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. — Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу все всемогущество, всю вечность, всю благость его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность? — Он помолчал. — Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, — сказал он с мрачной и презрительной усмешкой, — а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает

назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать его трудно. Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании его мы видим только нашу слабость и его величие...

Пьер с замиранием сердца, блестящими глазами глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети, интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью, — но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.

— Он не постигается умом, а постигается жизнью, — сказал масон.

— Я не понимаю, — сказал Пьер, со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение. Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. — Я не понимаю, — сказал он, — каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите.

Масон улыбнулся своей кроткой отеческой улыбкой.

— Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в себя, — сказал он. — Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу.

— Да, да, это так! — радостно сказал Пьер.

— Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку — науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего

внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет божий, называемый совестью.

— Да, да, — подтверждал Пьер.

— Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой. Чего ты достиг, руководясь одним умом? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованны, государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью?

— Нет, я ненавижу свою жизнь, — сморщась, проговорил Пьер.

— Ты ненавидишь, так измени ее, очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Как вы проводили ее? В буйных оргиях и разврате, все получая от общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов, помогли ли вы им физически и нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вот что вы сделали. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет. Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины, и что же вы сделали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил вас, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете бога и что вы ненавидите свою жизнь. Тут нет ничего мудреного, государь мой!

После этих слов масон, как бы устав от продолжительного разговора, опять облокотился на спинку дивана и закрыл глаза. Пьер смотрел на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо и беззвучно шевелил губами. Он хотел сказать: да, мерзкая, праздная, развратная жизнь, и не смел прерывать молчание.

Масон хрипло, старчески прокашлялся и кликнул слугу.

— Что лошади? — спросил он, не глядя на Пьера.

— Привели сдаточных, — отвечал слуга. — Отдыхать не будете?

— Нет, вели закладывать.

«Неужели же он уедет и оставит меня одного, не договорив всего и не обещав мне помощи? — думал Пьер, вставая и, опустив голову, изредка взглядывая на масона и начиная ходить по комнате. — Да, я не думал этого, но я вел презренную, развратную жизнь, но я не любил ее и не хотел этого, — думал Пьер, — а этот человек знает истину, и ежели бы он захотел, он мог бы открыть мне ее». Пьер хотел и не смел сказать этого масону. Проезжающий, привычными старческими руками уложив свои вещи, застегивал свой тулупчик. Окончив эти дела, он обратился к Безухову и равнодушно, учтивым тоном, сказал ему:

— Вы куда теперь изволите ехать, государь мой?

— Я?.. Я в Петербург, — отвечал Пьер детским, нерешительным голосом. — Я благодарю вас. Я во всем согласен с вами. Но вы не думайте, чтоб я был так дурен. Я всей душой желал быть тем, чем вы хотели бы, чтоб я был; но я ни в ком никогда не находил помощи... Впрочем, я сам прежде всего виноват во всем. Помогите мне, научите меня, и, может быть, я буду... — Пьер не мог говорить дальше; он засопел носом и отвернулся.

Масон долго молчал, видимо, что-то обдумывая.

— Помощь дается токмо от бога, — сказал он, — но ту меру помощи, которую во власти подать наш орден, он подаст вам, государь мой. Вы едете в Петербург, передайте это графу Вилларскому (он достал бумажник и на сложенном вчетверо большом листе бумаги написал несколько слов). Один совет позвольте подать вам. Приехав в столицу, посвятите первое время уединению, обсуждению самого себя и не вступайте на прежние пути жизни. Затем желаю вам счастливого пути, государь мой, — сказал он, заметив, что слуга его вошел в комнату, — и успеха...

Проезжающий был Осип Алексеевич Баздеев, как узнал Пьер по книге смотрителя. Баздеев был одним из известнейших масонов и мартинистов еще новиковского времени. Долго после его отъезда Пьер, не ложась спать и не спрашивая лошадей, ходил по станционной комнате, обдумывая свое порочное прошедшее и с восторгом обновления представляя себе свое блаженное, безупречное и добродетельное будущее, которое казалось ему так легко. Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным. В душе его не оставалось ни следа

прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели, и таким представлялось ему масонство.

III

Приехав в Петербург, Пьер никого не известил о своем приезде, никуда не выезжал и стал целые дни проводить за чтением Фомы Кемпийского, книги, которая неизвестно кем была доставлена ему. Одно и все одно понимал Пьер, читая эту книгу; он понимал не изведанное еще им наслаждение верить в возможность достижения совершенства и в возможность братской и деятельной любви между людьми, открытую ему Осипом Алексеевичем. Через неделю после его приезда молодой польский граф Вилларский, которого Пьер поверхностно знал по петербургскому свету, вошел вечером в его комнату с тем официальным и торжественным видом, с которым входил к нему секундант Долохова, и, затворив за собой дверь и убедившись, что в комнате никого, кроме Пьера, не было, обратился к нему.

— Я приехал к вам с предложением и поручением, граф, — сказал он ему, не садясь. — Особа, очень высоко поставленная в нашем братстве, ходатайствовала о том, чтобы вы были приняты в братство ранее срока, и предложила мне быть вашим поручителем. Я за священный долг почитаю исполнение воли этого лица. Желаете ли вы вступить за моим поручительством в братство свободных каменщиков?

Холодный и строгий тон человека, которого Пьер видел почти всегда на балах с любезной улыбкою, в обществе самых блестящих женщин, поразил Пьера.

— Да, я желаю, — сказал Пьер.

Вилларский наклонил голову.

— Еще один вопрос, граф, — сказал он, — на который я вас не как будущего масона, но как честного человека (galant homme) прошу со всею искренностью отвечать мне: отреклись ли вы от своих прежних убеждений, верите ли вы в бога?

Пьер задумался.

— Да... да, я верю в бога, — сказал он.

— В таком случае... — начал Вилларский, но Пьер перебил его.

— Да, я верю в бога, — сказал он еще раз.

— В таком случае, мы можем ехать, — сказал Вилларский. — Карета моя к вашим услугам.

Всю дорогу Вилларский молчал. На вопросы Пьера, что ему нужно делать и как отвечать, Вилларский сказал только, что братья, более его достойные, испытают его и что Пьеру больше ничего не нужно, как говорить правду.

Въехав в ворота большого дома, где было помещение ложи, и пройдя по темной лестнице, они вошли в освещенную небольшую прихожую, где без помощи прислуги сняли шубы. Из передней они прошли в другую комнату. Какой-то человек в странном одеянии показался у двери. Вилларский, выйдя к нему навстречу, что-то тихо сказал ему по-французски и подошел к небольшому шкафу, в котором Пьер заметил различные не виданные им одеяния. Взяв из шкафа платок, Вилларский наложил его на глаза Пьеру и завязал узлом сзади, больно захватив в узел его волоса. Потом он пригнул его к себе, поцеловал и, взяв за руку, повел куда-то. Пьеру было больно от притянутых узлом волос, он морщился от боли и улыбался от стыда чего-то. Огромная фигура его с опущенными руками, с сморщенной и улыбающейся физиономией неверными, робкими шагами подвигалась за Вилларским.

Проведя его шагов десять за руку, Вилларский остановился.

— Что бы ни случилось с вами, — сказал он, — вы должны с мужеством переносить все, ежели вы твердо решились вступить в наше братство. (Пьер утвердительно отвечал наклонением головы.) Когда вы услышите стук в двери, вы развяжете себе глаза, — прибавил Вилларский, — желаю вам мужества и успеха. — И, пожав руку Пьеру, Вилларский вышел.

Оставшись один, Пьер продолжал все так же улыбаться. Раза два он пожимал плечами, подносил руку к платку, как бы желая снять его, и опять опускал ее. Пять минут, которые он пробыл с завязанными глазами, показались ему часом. Руки его отекли, ноги подкашивались; ему казалось, что он устал. Он испытывал самые сложные и разнообразные чувства. Ему было и страшно того, что с ним случится, и еще более страшно того, как бы ему не выказать страха. Ему было любопытно узнать, что будет с ним, что откроется ему; но более всего ему

было радостно, что наступила минута, когда он, наконец, вступит на тот путь обновления и деятельно-добродетельной жизни, о котором он мечтал со времени своей встречи с Осипом Алексеевичем. В дверь послышались сильные удары. Пьер снял повязку и оглянулся вокруг себя. В комнате было черно-темно: только в одном месте горела лампада в чем-то белом. Пьер подошел ближе и увидал, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была Евангелие; то белое, в чем горела лампада, был человечий череп с своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия: «В начале бе слово и слово бе к богу», Пьер обошел стол и увидал большой, наполненный чем-то и открытый ящик. Это был гроб с костями. Его нисколько не удивило то, что он увидал. Надеясь вступить в совершенно новую жизнь, совершенно отличную от прежней, он ожидал всего необыкновенного, еще более необыкновенного, чем то, что он видел. Череп, гроб, Евангелие — ему казалось, что он ожидал всего этого, ожидал еще бóльшего. Стараясь вызвать в себе чувство умиленья, он смотрел вокруг себя. «Бог, смерть, любовь, братство людей», — говорил он себе, связывая с этими словами смутные, но радостные представления чего-то. Дверь отворилась, и кто-то вошел.

При слабом свете, к которому, однако, уже успел Пьер приглядеться, вошел невысокий человек. Видимо, с света войдя в темноту, человек этот остановился; потом осторожными шагами он подвинулся к столу и положил на него небольшие, закрытые кожаными перчатками руки.

Невысокий человек этот был одет в белый кожаный фартук, прикрывавший его грудь и часть ног, на шее было надето что-то вроде ожерелья, и из-за ожерелья выступал высокий белый жабо, окаймлявший его продолговатое лицо, освещенное снизу.

— Для чего вы пришли сюда? — спросил вошедший, по шороху, сделанному Пьером, обращаясь в его сторону. — Для чего вы, не верующий в истины света и не видящий света, для чего вы пришли сюда, чего хотите вы от нас? Премудрости, добродетели, просвещения?

В ту минуту, как дверь отворилась и вошел неизвестный человек, Пьер испытал чувство страха и благоговения, подобное тому, которое он в детстве испытывал на исповеди: он почувствовал себя с глазу на глаз с со-

вершенно чужим по условиям жизни и с близким по братству людей человеком. Пьер с захватывающим дыханье биением сердца подвинулся к ритору (так назывался в масонстве брат, приготовляющий *ищущего* к вступлению в братство). Пьер, подойдя ближе, узнал в риторе знакомого человека, Смольянинова, но ему оскорбительно было думать, что вошедший был знакомый человек: вошедший был только брат и добродетельный наставник. Пьер долго не мог выговорить слова, так что ритор должен был повторить свой вопрос.

— Да, я... я... хочу обновления, — с трудом выговорил Пьер.

— Хорошо, — сказал Смольянинов и тотчас же продолжал: — Имеете ли вы понятие о средствах, которыми наш святой орден поможет вам в достижении вашей цели?.. — сказал ритор спокойно и быстро.

— Я... надеюсь... руководства... помощи... в обновлении, — сказал Пьер с дрожанием голоса и с затруднением в речи, происходящим и от волнения, и от непривычки говорить по-русски об отвлеченных предметах.

— Какое понятие вы имеете о франкмасонстве?

— Я подразумеваю, что франкмасонство есть fraternité [1] и равенство людей с добродетельными целями, — сказал Пьер, стыдясь, по мере того как он говорил, несоответственности своих слов с торжественностью минуты. — Я подразумеваю...

— Хорошо, — сказал ритор поспешно, видимо, вполне удовлетворенный этим ответом. — Искали ли вы средств к достижению своей цели в религии?

— Нет, я считал ее несправедливою и не следовал ей, — сказал Пьер так тихо, что ритор не расслышал его и спросил, что он говорит. — Я был атеистом, — отвечал Пьер.

— Вы ищете истины для того, чтобы следовать в жизни ее законам; следовательно, вы ищете премудрости и добродетели, не так ли? — сказал ритор после минутного молчания.

— Да, да, — подтвердил Пьер.

Ритор прокашлялся, сложил на груди руки в перчатках и начал говорить.

— Теперь я должен открыть вам главную цель нашего ордена, — сказал он, — и ежели цель эта совпадает

[1] братство. — *Ред.*

с вашею, то вы с пользою вступите в наше братство. Первая главнейшая цель и купно основание нашего ордена, на котором он утвержден и которого никакая человеческая сила не может низвергнуть, есть сохранение и предание потомству некоего важного таинства... от самых древнейших веков и даже от первого человека, до нас дошедшего, от которого таинства, может быть, судьба человеческого рода зависит. Но как сие таинство такого свойства, что никто не может его знать и им пользоваться, если долговременным и прилежным очищением самого себя не приуготовлен, то не всяк может надеяться скоро обрести его. Поэтому мы имеем вторую цель, которая состоит в том, чтобы приуготовлять наших членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам преданием открыты от мужей, потрудившихся в искании сего таинства, и тем учинять их способными к восприятию оного.

Очищая и исправляя наших членов, мы стараемся, в-третьих, исправлять и весь человеческий род, предлагая ему в членах наших пример благочестия и добродетели, и тем стараемся всеми силами противоборствовать злу, царствующему в мире. Подумайте об этом, и я опять приду к вам, — сказал он и вышел из комнаты.

— Противоборствовать злу, царствующему в мире... — повторил Пьер, и ему представилась его будущая деятельность на этом поприще. Ему представлялись такие же люди, каким он был сам две недели тому назад, и он мысленно обращал к ним поучительно-наставническую речь. Он представлял себе порочных и несчастных людей, которым он помогал словом и делом; представлял себе угнетателей, от которых он спасал их жертвы. Из трех поименованных ритором целей эта последняя — исправление рода человеческого, особенно близка была Пьеру. Некое важное таинство, о котором упомянул ритор, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существенным; а вторая цель, очищение и исправление себя, мало занимала его, потому что он в эту минуту с наслаждением чувствовал себя уже вполне исправленным от прежних пороков и готовым только на одно доброе.

Через полчаса вернулся ритор передать ищущему те семь добродетелей, соответствующие семи ступеням

храма Соломона, которые должен был воспитывать в себе каждый масон. Добродетели эти были: 1) *скромность*, соблюдение тайны ордена, 2) *повиновение* высшим чинам ордена, 3) добронравие, 4) любовь к человечеству, 5) мужество, 6) щедрость и 7) любовь к смерти.

— *В-седьмых,* старайтесь, — сказал ритор, — частым помышлением о смерти довести себя до того, чтобы она не казалась вам более страшным врагом, но другом... который освобождает от бедственной сей жизни в трудах добродетели томившуюся душу, для введения ее в место награды и успокоения.

«Да, это должно быть так, — думал Пьер, когда после этих слов ритор снова ушел от него, оставляя его уединенному размышлению. — Это должно быть так, но я еще так слаб, что люблю свою жизнь, которой смысл только теперь понемногу открывается мне». Но остальные пять добродетелей, которые, перебирая по пальцам, вспомнил Пьер, он чувствовал в душе своей: и *мужество,* и *щедрость,* и *добронравие,* и *любовь к человечеству,* и в особенности *повиновение,* которое даже не представлялось ему добродетелью, а счастьем. (Ему так радостно было теперь избавиться от своего произвола и подчинить свою волю тому и тем, которые знали несомненную истину.) Седьмую добродетель Пьер забыл и никак не мог вспомнить ее.

В третий раз ритор вернулся скорее и спросил Пьера, все ли он тверд в своем намерении и решается ли подвергнуть себя всему, что от него потребуется.

— Я готов на все, — сказал Пьер.

— Еще должен вам сообщить, — сказал ритор, — что орден наш учение свое преподает не словами токмо, но иными средствами, которые на истинного искателя мудрости и добродетели действуют, может быть, сильнее, нежели словесные токмо объяснения. Сия храмина убранством своим, которое вы видите, уже должна была изъяснить вашему сердцу, ежели оно искренно, более, нежели слова; вы увидите, может быть, и при дальнейшем вашем принятии подобный образ изъяснения. Орден наш подражает древним обществам, которые открывали свое учение иероглифами. Иероглиф, — говорил ритор, — есть наименование какой-нибудь не подверженной чувствам вещи, которая содержит в себе качества, подобные изобразуемой.

Пьер знал очень хорошо, что такое иероглиф, но не смел говорить. Он молча слушал ритора, по всему чувствуя, что тотчас начнутся испытанья.

— Ежели вы тверды, то я должен приступить к введению вас, — сказал ритор, ближе подходя к Пьеру. — В знак щедрости прошу вас отдать мне все драгоценные вещи.

— Но я с собою ничего не имею, — сказал Пьер, полагавший, что от него требуют выдачи всего, что он имеет.

— То, что на вас есть: часы, деньги, кольца...

Пьер поспешно достал кошелек, часы и долго не мог снять с жирного пальца обручальное кольцо. Когда это было сделано, масон сказал:

— В знак повиновенья прошу вас раздеться. — Пьер снял фрак, жилет и левый сапог по указанию ритора. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину на левой ноге выше колена. Пьер поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны, чтоб избавить от этого труда незнакомого ему человека, но масон сказал ему, что этого не нужно, — и подал ему туфлю на левую ногу. С детской улыбкой стыдливости, сомнения и насмешки над самим собою, которая против его воли выступала на лицо, Пьер стоял, опустив руки и расставив ноги, перед братом-ритором, ожидая его новых приказаний.

— И наконец, в знак чистосердечия, я прошу вас открыть мне главное ваше пристрастие, — сказал он.

— Мое пристрастие! У меня их *было* так много, — сказал Пьер.

— То пристрастие, которое более всех других заставляло вас колебаться на пути добродетели, — сказал масон.

Пьер помолчал, отыскивая.

«Вино? Объедение? Праздность? Леность? Горячность? Злоба? Женщины?» — перебирал он свои пороки, мысленно взвешивая их и не зная, которому отдать преимущество.

— Женщины, — сказал тихим, чуть слышным голосом Пьер. Масон не шевелился и не говорил долго после этого ответа. Наконец он подвинулся к Пьеру, взял лежавший на столе платок и опять завязал ему глаза.

— Последний раз говорю вам: обратите все ваше внимание на самого себя, наложите цепи на свои чувства и

ищите блаженства не в страстях, а в своем сердце... Источник блаженства не вне, а внутри нас...

Пьер уже чувствовал в себе этот освежающий источник блаженства, теперь радостию и умилением переполнявший его душу.

IV

Скоро после этого в темную храмину пришел за Пьером уже не прежний ритор, а поручитель Вилларский, которого он узнал по голосу. На новые вопросы о твердости его намерения Пьер отвечал:

— Да, да, согласен, — и с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной Вилларским к его обнаженной груди шпагой. Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая взад и вперед, и, наконец, привели к дверям ложи. Вилларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь отворилась перед ними. Чей-то басистый голос (глаза Пьера все были завязаны) сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился и т. п. Потом его опять повели куда-то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему аллегории о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности. Во время этого путешествия Пьер заметил, что его называли то *ищущим*, то *страждущим*, то *требующим* и различно стучали при этом молотками и шпагами. В то время как его подводили к какому-то предмету, он заметил, что произошло замешательство и смятение между его руководителями. Он слышал, как шепотом заспорили между собой окружающие люди и как один настаивал на том, чтоб он был проведен по какому-то ковру. После этого взяли его правую руку, положили на что-то, а левою велели ему приставить циркуль к левой груди и заставили его, повторяя слова, которые читал другой, прочесть клятву верности законам ордена. Потом потушили свечи, зажгли спирт, как это слышал по запаху Пьер, и сказали, что он увидит малый свет. С него сняли повязку, и Пьер, как во сне, увидал в слабом свете спиртового огня несколько людей, которые, в таких же фартуках, как и ритор, стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек

в белой окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него. Но шпаги отстранились от него, и ему тотчас же опять надели повязку.

— Теперь ты видел малый свет, — сказал ему чей-то голос. Потом опять зажгли свечи, сказали, что ему надо видеть полный свет, и опять сняли повязку, и более десяти голосов вдруг сказали: sic transit gloria mundi [1].

Пьер понемногу стал приходить в себя и оглядывать комнату, где он был, и находившихся в ней людей. Вокруг длинного стола, покрытого черным, сидело человек двенадцать, всё в тех же одеяниях, как и те, которых он прежде видел. Некоторых Пьер знал по петербургскому обществу. На председательском месте сидел незнакомый молодой человек, в особом кресте на шее. По правую руку сидел итальянец-аббат, которого Пьер видел два года тому назад у Анны Павловны. Еще был один весьма важный сановник и один швейцарец-гувернер, живший прежде у Курагиных. Все торжественно молчали, слушая слова председателя, державшего в руке молоток. В стене была вделана горящая звезда; с одной стороны стола был небольшой ковер с различными изображениями, с другой стороны было что-то вроде алтаря с Евангелием и черепом. Кругом стола было семь больших, вроде церковных, подсвечников. Двое из братьев подвели Пьера к алтарю, поставили ему ноги в прямоугольное положение и приказали ему лечь, говоря, что он повергается к вратам храма.

— Он прежде должен получить лопату, — сказал шепотом один из братьев.

— Ах! полноте, пожалуйста, — сказал другой.

Пьер растерянными близорукими глазами, не повинуясь, оглянулся вокруг себя, и вдруг на него нашло сомнение: «Где я? Что я делаю? Не смеются ли надо мной? Не будет ли мне стыдно вспоминать это?» Но сомнение это продолжалось только одно мгновение. Пьер оглянулся на серьезные лица окружавших его людей, вспомнил все, что он уже прошел, и понял, что нельзя остановиться на половине дороги. Он ужаснулся своему сомнению и, стараясь вызвать в себе прежнее чувство умиления, повергся к вратам храма. И действительно, чувство умиления, еще сильнейшее, чем прежде, нашло на него. Когда он проле-

---

[1] так проходит слава мирская *(лат.)*. — *Ред.*

жал несколько времени, ему велели встать и надели на него такой же белый кожаный фартук, какие были на других, дали ему в руки лопату и три пары перчаток, и тогда великий мастер обратился к нему. Он сказал ему, чтобы он старался ничем не запятнать белизну этого фартука, представляющего крепость и непорочность; потом о невыясненной лопате сказал, чтоб он трудился ею очищать свое сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего. Потом про первые перчатки мужские сказал, что значения их он не может знать, но должен хранить их, про другие перчатки мужские сказал, что он должен надевать их в собраниях, и, наконец про третьи, женские перчатки сказал:

— Любезный брат, и сии женские перчатки вам определены суть. Отдайте их той женщине, которую вы будете почитать больше всех. Сим даром уверите в непорочности сердца вашего ту, которую изберете вы себе в достойную каменщицу. — Помолчав несколько времени, прибавил: — Но соблюди, любезный брат, да не украшают перчатки сии рук нечистых. — В то время, как великий мастер произносил эти последние слова, Пьеру показалось, что председатель смутился. Пьер смутился еще больше, покраснел до слез, как краснеют дети, беспокойно стал оглядываться, и произошло неловкое молчание.

Молчание это было прервано одним из братьев, который, подведя Пьера к ковру, начал из тетради читать ему объяснение всех изображенных на нем фигур: солнца, луны, молотка, отвеса, лопаты, дикого и кубического камня, столба, трех окон и т. д. Потом Пьеру назначили его место, показали ему знаки ложи, сказали входное слово и, наконец, позволили сесть. Великий мастер начал читать устав. Устав был очень длинен, и Пьер от радости, волнения и стыда не был в состоянии понимать того, что читали. Он вслушался только в последние слова устава, которые запомнились ему.

— «В наших храмах мы не знаем других степеней, — читал великий мастер, — кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Берегись делать какое-нибудь различие, могущее нарушить равенство. Лети на помощь к брату, кто бы он ни был, настави заблуждающего, подними упадающего и не питай никогда злобы или вражды на брата. Будь ласков и приветлив. Возбуждай во всех сердцах огнь добродетели. Дели счастие

с ближним твоим, и да не возмутит никогда зависть чистого сего наслаждения.

Прощай врагу твоему, не мсти ему, разве только деланием ему добра. Исполнив таким образом высший закон, ты обрящешь следы древнего, утраченного тобой величества»,—кончил он и, привстав, обнял Пьера и поцеловал его.

Пьер со слезами радости на глазах смотрел вокруг себя, не зная, что отвечать на поздравления и возобновления знакомств, с которыми окружили его. Он не признавал никаких знакомств; во всех людях этих он видел только братьев, с которыми сгорал нетерпением приняться за дело.

Великий мастер стукнул молотком, все сели по местам, и один прочел поучение о необходимости смирения.

Великий мастер предложил исполнить последнюю обязанность, и важный сановник, который носил звание собирателя милостыни, стал обходить братьев. Пьеру хотелось записать в лист милостыни все деньги, которые у него были, но он боялся этим выказать гордость и записал столько же, сколько записывали другие.

Заседание было кончено, и по возвращении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.

V

На другой день после приема в ложу Пьер сидел дома, читая книгу и стараясь вникнуть в значение квадрата, изображавшего одной своей стороною бога, другою нравственное, третьею физическое и четвертою смешанное. Изредка он отрывался от книги и квадрата и в воображении своем составлял себе новый план жизни. Вчера в ложе ему сказали, что до сведения государя дошел слух о дуэли и что Пьеру благоразумнее бы было удалиться из Петербурга. Пьер предполагал ехать в свои южные имения и заняться там своими крестьянами. Он радостно обдумывал эту новую жизнь, когда неожиданно в комнату вошел князь Василий.

— Мой друг, что ты наделал в Москве? За что ты поссорился с Лёлей, mon cher? [1] Ты в заблуждении, — сказал князь Василий, входя в комнату. — Я все узнал,

[1] мой милый?

я могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами.

Пьер хотел отвечать, но он перебил его.

— И зачем ты не обратился прямо и просто ко мне, как к другу? Я все знаю, я все понимаю, — сказал он, — ты вел себя, как прилично человеку, дорожащему своей честью; может быть, слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты пойми, в какое ты ставишь положение ее и меня в глазах всего общества и даже двора, — прибавил он, понизив голос. — Она живет в Москве, ты здесь. Полно, мой милый, — он потянул его вниз за руку, — здесь одно недоразуменье; ты сам, я думаю, чувствуешь. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, все объяснится, и все эти толки кончатся, а то, я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый.

Князь Василий внушительно взглянул на Пьера.

— Мне из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень милостива к Элен.

Несколько раз Пьер собирался говорить, но, с одной стороны, князь Василий не допускал его до этого, поспешно перебивая разговор, с другой стороны — сам Пьер боялся начать говорить не в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решился отвечать своему тестю. Кроме того, слова масонского устава: «буди ласков и приветлив» — вспоминались ему. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в самом трудном для него в жизни деле — сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, чего ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь он чувствовал, что не в силах будет противостоять ей; но он чувствовал, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его: пойдет ли он по старой, прежней дороге, или по той новой, которая так привлекательно была указана ему масонами и на которой он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни.

— Ну, мой милый, — шутливо сказал князь Василий, — скажи же мне «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца. — Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил тихим шепотом:

— Князь, я вас не звал к себе, идите, пожалуйста, идите! — Он вскочил и отворил для него дверь. — Идите же, — повторил он, сам себе не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия.

— Что с тобой? Ты болен?

— Идите! — еще раз проговорил угрожающий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения.

Через неделю Пьер, простившись с новыми друзьями масонами и оставив им большие суммы на милостыни, уехал в свои имения. Его новые братья дали ему письма в Киев и Одессу, к тамошним масонам, и обещали писать ему и руководить его в его новой деятельности.

VI

Дело Пьера с Долоховым было замято, и, несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэлей, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разгласилась в обществе. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более что он не умел и не желал заискивать общественного благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же припадкам кровожадного бешенства, как и его отец. И когда после отъезда Пьера Элен вернулась в Петербург, она была не только радушно, но с оттенком почтительности, относившейся к ее несчастию, принята всеми своими знакомыми. Когда разговор заходил о ее муже, Элен принимала достойное выражение, которое она — хотя и не понимая его значения, — по свойственному ей такту, усвоила себе. Выражение это говорило, что она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастие и что ее муж есть крест, посланный ей от бога. Князь Василий откровеннее высказывал свое мнение. Он пожимал плечами, когда разговор заходил о Пьере, и, указывая на лоб, говорил:

— Un cerveau fêlé — je le disais toujours [1].

— Я вперед сказала, — говорила Анна Павловна о Пьере, — я тогда же сейчас сказала, и прежде всех (она настаивала на своем первенстве), что это безумный молодой человек, испорченный развратными идеями века. Я тогда еще сказала это, когда все восхищались им и он только приехал из-за границы и, помните, у меня как-то вечером представлял из себя какого-то Марата. Чем же кончилось? Я тогда еще не желала этой свадьбы и предсказала все, что случится.

Анна Павловна по-прежнему давала у себя в свободные дни такие вечера, как и прежде, и такие, какие она одна имела дар устроивать, — вечера, на которых, во-первых, собиралась la crême de la véritable bonne société, la fine fleur de l'essence intellectuelle de la société de Pétersbourg [2], как говорила сама Анна Павловна. Кроме этого утонченного выбора общества, вечера Анны Павловны отличались еще тем, что всякий раз на своем вечере Анна Павловна подавала своему обществу какое-нибудь новое, интересное лицо и что нигде, как на этих вечерах, не высказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного легитимистского петербургского общества.

В конце 1806 года, когда получены были уже все печальные подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под Иеной и Ауерштетом и о сдаче большей части прусских крепостей, когда войска наши уж вступили в Пруссию и началась наша вторая война с Наполеоном, Анна Павловна собрала у себя вечер. La crême de la véritable bonne société [3] состояла из обворожительной и несчастной, покинутой мужем Элен, из Mortemart'a, обворожительного князя Ипполита, только что приехавшего из Вены, двух дипломатов, тетушки, одного молодого человека, пользовавшегося в гостиной наименованием просто d'un homme de beaucoup de mérite [4], одной вновь пожалованной фрейлины с матерью и некоторых других менее заметных особ.

Лицо, которым, как новинкой, угащивала в этот вечер Анна Павловна своих гостей, был Борис Друбецкой,

---

[1] Полусумасшедший — я всегда это говорил.

[2] сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества.

[3] Сливки настоящего хорошего общества.

[4] человека с большими достоинствами.

только что приехавший курьером из прусской армии и в прусской армии находившийся адъютантом у очень важного лица.

Градус политического термометра, указанный на этом вечере обществу, был следующий: сколько бы все европейские государи и полководцы ни старались потворствовать Бонапартию, для того чтобы сделать *мне* и вообще *нам* эти неприятности и огорчения, мнение наше насчет Бонапартия не может измениться. Мы не перестанем высказывать свой непритворный на этот счет образ мыслей и можем сказать только прусскому королю и другим: «Тем хуже для вас. Tu l'as voulu, George Dandin [1], вот и все, что мы можем сказать». Вот что указывал политический термометр на вечере Анны Павловны. Когда Борис, который должен был быть поднесен гостям, вошел в гостиную, уже почти все общество было в сборе, и разговор, руководимый Анной Павловной, шел о наших дипломатических сношениях с Австрией и о надежде на союз с нею.

Борис в щегольском адъютантском мундире, возмужавший, свежий и румяный, свободно вошел в гостиную и был отведен, как следовало, для приветствия к тетушке и снова присоединен к общему кружку.

Анна Павловна дала поцеловать ему свою сухую руку, познакомила его с некоторыми незнакомыми ему лицами и каждого шепотом определила ему.

— Le Prince Hyppolite Kouraguine — charmant jeune homme. M-r Kroug chargé d'affaires de Kopenhague — un esprit profond, — и просто: — M-r Shittoff un homme de beaucoup de mérite [2], — про того, который носил это наименование.

Борис за это время своей службы благодаря заботам Анны Михайловны, собственным вкусам и свойствам своего сдержанного характера успел поставить себя в самое выгодное положение по службе. Он находился адъютантом при весьма важном лице, имел весьма важное поручение в Пруссию и только что возвратился оттуда курьером. Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписаную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала и по которой для успеха на службе были нужны не усилия, не

---

[1] Ты этого хотел, Жорж Данден. — *Ред.*

[2] Князь Ипполит Курагин — милый молодой человек. Господин Круг, копенгагенский поверенный в делах, глубокий ум... и просто: господин Шитов, человек с большими достоинствами.

труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только уменье обращаться с теми, которые вознаграждают за службу, — и он часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее совершенно изменились. Он был не богат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны. Он любил Петербург и презирал Москву. Воспоминание о доме Ростовых и о его детской любви к Наташе было ему неприятно, и он с самого отъезда в армию ни разу не был у Ростовых. В гостиной Анны Павловны, в которой присутствовать он считал за важное повышение по службе, он теперь тотчас же понял свою роль и предоставил Анне Павловне воспользоваться тем интересом, который в нем заключался, внимательно наблюдая каждое лицо и оценивая выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он сел на указанное ему место подле красивой Элен и вслушивался в общий разговор.

— «Vienne trouve les bases du traité proposé tellement hors d'atteinte, qu'on ne saurait y parvenir même par une continuité de succès les plus brillants, et elle met en doute les moyens qui pourraient nous les procurer». C'est la phrase authentique du cabinet de Vienne, — говорил датский chargé d'affaires [1].

— C'est le doute qui est flatteur! — сказал с тонкой улыбкой l'homme à l'esprit profond [2].

— Il faut distinguer entre le cabinet de Vienne et l'Empereur d'Autriche, — сказал Mortemart. — L'Empereur d'Autriche n'a jamais pu penser à une chose pareille, ce n'est que le cabinet qui le dit [3].

---

[1] «Вена находит основания предлагаемого договора до такой степени вне возможного, что достигнуть их можно только рядом самых блестящих успехов; и она сомневается в средствах, которые могут их нам доставить». Это подлинная фраза венского кабинета, — говорил датский поверенный в делах.

[2] Лестно сомнение! — сказал глубокий ум.

[3] Необходимо различать венский кабинет и австрийского императора, — сказал Мортемар. — Император австрийский никогда не мог этого думать, это говорит только кабинет.

— Eh, mon cher vicomte, — вмешалась Анна Павловна, — l'Urope (она почему-то выговаривала l'Urope, как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом), l'Urope ne sera jamais notre alliée sincère [1].

Вслед за этим Анна Павловна навела разговор на мужество и твердость прусского короля с тем, чтобы ввести в дело Бориса.

Борис внимательно слушал того, кто говорил, ожидая своего череда, но вместе с тем успевал несколько раз оглядываться на свою соседку, красавицу Элен, которая с улыбкой несколько раз встретилась глазами с красивым молодым адъютантом.

Весьма естественно, говоря о положении Пруссии, Анна Павловна попросила Бориса рассказать свое путешествие в Глогау и положение, в котором он нашел прусское войско. Борис, не торопясь, чистым и правильным французским языком, рассказал весьма много интересных подробностей о войсках, о дворе, во все время своего рассказа старательно избегая заявления своего мнения насчет тех фактов, которые он передавал. На несколько времени Борис завладел общим вниманием, и Анна Павловна чувствовала, что ее угощенье новинкой было принято с удовольствием всеми гостями. Более всех внимания к рассказу Бориса выказала Элен. Она несколько раз спрашивала его о некоторых подробностях его поездки и, казалось, весьма была заинтересована положением прусской армии. Как только он кончил, она с своей обычной улыбкой обратилась к нему.

— Il faut absolument que vous veniez me voir [2], — сказала она ему таким тоном, как будто по некоторым соображениям, которые он не мог знать, это было совершенно необходимо. — Mardi entre les 8 et 9 heures. Vous me ferez grand plaisir [3].

Борис обещал исполнить ее желание и хотел вступить с ней в разговор, когда Анна Павловна отозвала его под предлогом тетушки, которая желала его слышать.

---

[1] Ах, мой милый виконт... Европа никогда не будет нашей искреннею союзницей.

[2] Непременно нужно, чтобы вы приехали повидаться со мной.

[3] Во вторник между восемью и девятью часами. Вы мне сделаете большое удовольствие.

— Вы ведь знаете ее мужа? — сказала Анна Павловна, закрыв глаза и грустным жестом указывая на Элен. — Ах, это такая несчастная и прелестная женщина! Не говорите при ней о нем, пожалуйста, не говорите. Ей слишком тяжело!

VII

Когда Борис и Анна Павловна вернулись к общему кружку, разговором в нем завладел князь Ипполит. Он, выдвинувшись вперед на кресле, сказал:

— Le Roi de Prusse! [1] — и, сказав это, засмеялся. Все обратились к нему. — Le Roi de Prusse? — спросил Ипполит, опять засмеялся и опять спокойно и серьезно уселся в глубине своего кресла. Анна Павловна подождала его немного, но так как Ипполит решительно, казалось, не хотел больше говорить, она начала речь о том, как безбожный Бонапарт похитил в Потсдаме шпагу Великого Фридриха.

— C'est l'épée de Frédéric le Grand, que je... [2] — начала было она, но Ипполит перебил ее словами:

— Le Roi de Prusse... — и опять, как только к нему обратились, извинился и замолчал. Анна Павловна поморщилась. Mortemart, приятель Ипполита, решительно обратился к нему:

— Voyons à qui en avez vous avec votre Roi de Prusse? [3]

Ипполит засмеялся так, как будто ему стыдно было своего смеха.

— Non, ce n'est rien, je voulais dire seulement... [4] (Он намерен был повторить шутку, которую он слышал в Вене и которую он целый вечер собирался поместить.) Je voulais dire seulement, que nous avons tort de faire la guerre *pour le Roi de Prusse* [5].

Борис осторожно улыбнулся так, что его улыбка могла быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как будет принята она. Все засмеялись.

---

[1] Прусский король!
[2] Это шпага Великого Фридриха, которую я...
[3] Ну, что ж, прусский король?
[4] Нет, ничего, я хотел только сказать...
[5] Я хотел только сказать, что мы напрасно воюем *за прусского короля.*

— Il est très mauvais, votre jeu de mot, très spirituel, mais injuste, — грозя сморщенным пальчиком, сказала Анна Павловна. — Nous ne faisons pas la guerre pour le Roi de Prusse, mais pour les bons principes. Ah, le méchant, ce prince Hippolyte! [1] — сказала она.

Разговор не утихал целый вечер, обращаясь преимущественно около политических новостей. В конце вечера он особенно оживился, когда дело зашло о наградах, пожалованных государем.

— Ведь получил же в прошлом году NN. табакерку с портретом, — говорил l'homme à l'esprit profond [2], — почему же SS. не может получить той же награды?

— Je vous demande pardon, une tabatière avec le portrait de l'Empereur est une récompense, mais point une distinction, — сказал дипломат, — un cadeau plutôt [3].

— Il y eu plutôt des antécédents, je vous citerai Schwarzenberg [4].

— C'est impossible [5], — возражал ему другой.

— Пари. Le grand cordon, c'est différent... [6]

Когда все поднялись, чтобы уезжать, Элен, очень мало говорившая весь вечер, опять обратилась к Борису с просьбой, ласковым, значительным приказанием, чтобы он был у нее во вторник.

— Мне это очень нужно, — сказала она с улыбкой, оглядываясь на Анну Павловну, и Анна Павловна той грустной улыбкой, которая сопровождала ее слова при речи о своей высокой покровительнице, подтвердила желание Элен. Казалось, что в этот вечер из каких-то слов, сказанных Борисом о прусском войске, Элен вдруг открыла необходимость видеть его. Она как будто обещала ему, что, когда он приедет во вторник, она объяснит ему эту необходимость.

Приехав во вторник вечером в великолепный салон Элен, Борис не получил ясного объяснения, для чего было ему необходимо приехать. Были другие гости, графиня мало говорила с ним, и, только прощаясь, когда он

---

[1] Ваша игра слов нехороша, очень остроумна, но несправедлива. Мы воюем за добрые начала, а не за прусского короля. О, какой злой этот князь Ипполит!

[2] человек глубокого ума.

[3] Извините, табакерка с портретом императора есть награда, а не отличие; скорее подарок.

[4] Были примеры — Шварценберг.

[5] Это невозможно.

[6] Лента — другое дело.

целовал ее руку, она с странным отсутствием улыбки, неожиданно, шепотом, сказала ему:

— Venez demain dîner le soir. Il faut que vous veniez... Venez [1].

В этот свой приезд в Петербург Борис сделался близким человеком в доме графини Безуховой.

VIII

Война разгоралась, и театр ее приближался к русским границам. Всюду слышались проклятия врагу рода человеческого Бонапартию; в деревнях собирались ратники и рекруты, и с театра войны приходили разноречивые известия, как всегда ложные и потому различно перетолковываемые.

Жизнь старого князя Болконского, князя Андрея и княжны Марьи во многом изменилась с 1805 года.

В 1806 году старый князь был определен одним из восьми главнокомандующих по ополчению, назначенных тогда по всей России. Старый князь, несмотря на свою старческую слабость, особенно сделавшуюся заметной в тот период времени, когда он считал своего сына убитым, не счел себя вправе отказаться от должности, в которую был определен самим государем, и эта вновь открывшаяся ему деятельность возбудила и укрепила его. Он постоянно бывал в разъездах по трем вверенным ему губерниям; был до педантизма исполнителен в своих обязанностях, строг до жестокости с своими подчиненными и сам доходил до малейших подробностей дела. Княжна Марья перестала брать уже у отца свои математические уроки и только по утрам, сопутствуемая кормилицей, с маленьким князем Николаем (как его звал дед) входила в кабинет отца, когда он был дома. Грудной князь Николай жил с кормилицей и няней Савишной на половине покойной княгини, и княжна Марья большую часть дня проводила в детской, заменяя, как умела, мать маленькому племяннику. M-lle Bourienne, тоже, как казалось, страстно любила мальчика, и княжна Марья, часто лишая себя, уступала своей подруге наслаждение нянчить маленького *ангела* (как называла она племянника) и играть с ним.

---

[1] Приезжайте завтра обедать... вечером. Надо, чтобы вы приехали... Приезжайте.

У алтаря лысогорской церкви была часовня над могилой маленькой княгини, и в часовне был поставлен привезенный из Италии мраморный памятник, изображавший ангела, расправившего крылья и готовящегося подняться на небо. У ангела была немного приподнята верхняя губа, как будто он сбирался улыбнуться, и однажды князь Андрей и княжна Марья, выходя из часовни, признались друг другу, что, странно, лицо этого ангела напоминало им лицо покойницы. Но что было еще страннее и чего князь Андрей не сказал сестре, было то, что в выражении, которое дал случайно художник лицу ангела, князь Андрей читал те же слова кроткой укоризны, которые он прочел тогда на лице своей мертвой жены: «Ах, зачем вы это со мной сделали?..»

Вскоре после возвращения князя Андрея старый князь отделил сына и дал ему Богучарово, большое имение, находившееся в сорока верстах от Лысых Гор. Частью по причине тяжелых воспоминаний, связанных с Лысыми Горами, частью потому, что не всегда князь Андрей чувствовал себя в силах спокойно переносить характер отца, частью и потому, что ему нужно было уединение, князь Андрей воспользовался Богучаровым, строился там и проводил в нем бóльшую часть времени.

Князь Андрей после Аустерлицкой кампании твердо решил никогда не служить более в военной службе; и когда началась война и все должны были служить, он, чтобы отделаться от действительной службы, принял должность под начальством отца по сбору ополчения. Старый князь с сыном как бы переменились ролями после кампании 1805 года. Старый князь, возбужденный деятельностью, ожидал всего хорошего от настоящей кампании; князь Андрей, напротив, не участвуя в войне и втайне души сожалея о том, видел одно дурное.

26-го февраля 1807 года старый князь уехал по округу. Князь Андрей, как и большей частью во время отлучек отца, оставался в Лысых Горах. Маленький Николушка был нездоров уже четвертый день. Кучера, возившие старого князя, вернулись из города и привезли бумаги и письма князю Андрею.

Камердинер с письмами, не застав молодого князя в его кабинете, прошел на половину княжны Марьи; но и там его не было. Камердинеру сказали, что князь пошел в детскую.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, Петруша с бумагами пришел, — сказала одна из девушек — помощниц няньки, обращаясь к князю Андрею, который сидел на маленьком детском стуле и дрожащими руками, хмурясь, ка́пал из склянки лекарство в рюмку, налитую до половины водой.

— Что такое? — сказал он сердито и, неосторожно дрогнув рукой, перелил из склянки в рюмку лишнее количество капель. Он выплеснул лекарство из рюмки на пол и опять спросил воды. Девушка подала ему.

В комнате стояла детская кроватка, два сундука, два кресла, стол и детские столик и стульчик, тот, на котором сидел князь Андрей. Окна были завешены, и на столе горела одна свеча, заставленная переплетенной нотной книгой, так, чтобы свет не падал на кроватку.

— Мой друг, — обращаясь к брату, сказала княжна Марья от кроватки, у которой она стояла, — лучше подождать... после...

— Ах, сделай милость, ты все говоришь глупости, ты и так все дожидалась, — вот и дождалась, — сказал князь Андрей озлобленным шепотом, видимо, с желанием уколоть сестру.

— Мой друг, право, лучше не будить, он заснул, — умоляющим голосом сказала княжна.

Князь Андрей встал и на цыпочках с рюмкой подошел к кроватке.

— Или, точно, ты думаешь не будить? — сказал он нерешительно.

— Как хочешь — право... я думаю... а как хочешь, — сказала княжна Марья, видимо робея и стыдясь того, что ее мнение восторжествовало. Она указала брату на девушку, шепотом вызывавшую его.

Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая за горевшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то то, то другое средство. Измученные бессонницей и встревоженные, они сваливали друг на друга свое горе, упрекали друг друга и ссорились.

— Петруша с бумагами от папеньки, — прошептала девушка. Князь Андрей вышел.

— Ну, что там! — проговорил он сердито и, выслушав словесные приказания от отца и взяв подаваемые конверты и письмо отца, вернулся в детскую.

— Ну что? — спросил князь Андрей.

— Все то же, подожди, ради бога. Карл Иваныч всегда говорит, что сон всего дороже, — прошептала со вздохом княжна Марья. Князь Андрей подошел к ребенку и пощупал его. Он горел.

— Убирайтесь вы с вашим Карлом Иванычем! — Он взял рюмку с накапанными в нее каплями и опять подошел.

— André, не надо! — сказала княжна Марья.

Но он злобно и вместе страдальчески нахмурился на нее и с рюмкой нагнулся к ребенку.

— Но я хочу этого, — сказал он. — Ну, я прошу тебя, дай ему.

Княжна Марья пожала плечами, но покорно взяла рюмку и, подозвав няньку, стала давать лекарство. Ребенок закричал и захрипел. Князь Андрей, сморщившись, взял себя за голову, вышел из комнаты и сел в соседней на диване.

Письма всё были в его руке. Он машинально открыл их и стал читать. Старый князь, на синей бумаге, своим крупным, продолговатым почерком, употребляя кое-где титлы, писал следующее:

«Весьма радостное в сей момент известие получил через курьера. Если не вранье, Бенигсен под Прейсиш-Эйлау над Буонапартием якобы полную викторию одержал. В Петербурге всё ликует, и наград послано в армию несть конца. Хотя немец, — поздравляю. Корчевский начальник, некий Хандриков, не постигну, что делает: до сих пор не доставлены добавочные люди и провиант. Сейчас скачи туды и скажи, что я с него голову сниму, чтобы через неделю все было. О Прейсиш-Эйлауском сражении получил еще письмо от Петеньки, он участвовал, — всё правда. Когда не мешают, кому мешаться не следует, то и немец побил Буонапартия. Сказывают, бежит весьма расстроен. Смотри ж немедля скачи в Корчеву и исполни!»

Князь Андрей вздохнул и распечатал другой конверт. Это было на двух листочках мелко исписанное письмо от Билибина. Он сложил его не читая и опять прочел письмо отца, кончавшееся словами: «скачи в Корчеву и исполни!»

«Нет, уж извините, теперь не поеду, пока ребенок не оправится», — подумал он и, подошедши к двери,

заглянул в детскую. Княжна Марья все стояла у кровати и тихо качала ребенка.

«Да, что бишь еще неприятное он пишет? — вспоминал князь Андрей содержание отцовского письма. — Да. Победу одержали наши над Бонапартом именно тогда, когда я не служу. Да, да, все подшучивает надо мной... ну, да на здоровье...» — и он стал читать французское письмо Билибина. Он читал, не понимая половины, читал только для того, чтобы хоть на минуту перестать думать о том, о чем он слишком долго исключительно и мучительно думал.

IX

Билибин находился теперь в качестве дипломатического чиновника при главной квартире армии и хотя и на французском языке, с французскими шуточками и оборотами речи, но с исключительно русским бесстрашием перед самоосуждением и самоосмеянием описывал всю кампанию. Билибин писал, что его дипломатическая discrétion[1] мучила его и что он был счастлив, имея в князе Андрее верного корреспондента, которому он мог изливать всю желчь, накопившуюся в нем при виде того, что творится в армии. Письмо это было старое, еще до Прейсиш-Эйлауского сражения.

«Depuis nos grands succès d'Austerlitz vous savez, mon cher Prince, — писал Билибин, — que je ne quitte plus les quartiers généraux. Décidément j'ai pris le goût de la querre, et bien m'en a pris. Ce que j'ai vu ces trois mois, est incroyable.

Je commence *ab ovo. L'ennemi du genre humain,* comme vous savez, s'attaque aux Prussiens. Les Prussiens sont nos fidèles alliés, qui ne nous ont trompés que trois fois depuis trois ans. Nous prenons fait et cause pour eux. Mais il se trouve que *l'ennemi du genre humain* ne fait nulle attention à nos beaux discours, et avec sa manière impolie et sauvage se jette sur les Prussiens sans leur donner le temps de finir la parade commencée, en deux tours de main les rosse a plate couture et va s'installer au palais de Potsdam.

«J'ai le plus vif désir, — écrit le Roi de Prusse à Bonaparte, — que V. M. soit accueillie et traitée dans mon palais

[1] скромность.

d'une manière qui lui soit agréable et c'est avec empressement, que j'ai pris à cet effet toutes les mesures que les circonstances me permettaient. Puisse-je avoir réussi!» Les généraux Prussiens se piquent de politesse envers les Français et mettent bas les armes aux premières sommations.

Le chef de la garnison de Glogau avec dix mille hommes, demande au Roi de Prusse, ce qu'il doit faire s'il est sommé de se rendre?.. Tout cela est positif.

Bref, espérant en imposer seulement par notre attitude militaire, il se trouve que nous voilà en guerre pour tout de bon, et ce qui plus est, en guerre sur nos frontières *avec et pour le Roi de Prusse.* Tout est au grand complet, il ne nous manque qu'une petite chose, c'est le général en chef. Comme il s'est trouvé que les succès d'Austerlitz auraient pu être plus décisifs si le général en chef eut été moins jeune, on fait la revue des octogénaires et entre Prosorofsky et Kamensky, on donne la préférence au dernier. Le général nous arrive en kibik à la manière Souvoroff, et est accueilli avec des acclamations de joie et de triomphe.

Le 4 arrive le premier courrier de Pétersbourg. On apporte les malles dans le cabinet du maréchal, qui aime à faire tout par lui-même. On m'appelle pour aider à faire le triage des lettres et prendre celles qui nous sont destinées. Le maréchal nous regarde faire et attend les paquets qui lui sont adressés. Nous cherchons — il n'y en a point. Le maréchal devient impatient, se met lui même à la besogne et trouve des lettres de l'Empereur pour le comte T., pour le prince V. et autres. Alors le voilà qui se met dans une de ses colères bleues. Il jette feu et flamme contre tout le monde, s'empare des lettres, les decachète et lit celles do l'Empereur adressées à d'autres. А, так со мною поступают. Мне доверия нет! А, за мной следить велено, хорошо же; подите вон! Et il écrit le fameux ordre du jour au général Benigsen [1].

---

[1] Со времени наших блестящих успехов в Аустерлице, вы знаете, мой милый князь, что я не покидаю более главных квартир. Решительно я вошел во вкус войны и тем очень доволен; то, что я видел в эти три месяца, — невероятно.

Я начинаю *ab ovo. Враг рода человеческого,* вам известный, атакует пруссаков. Пруссаки — наши верные союзники, которые нас обманули только три раза в три года. Мы заступаемся за них. Но оказывается, что *враг рода человеческого* не обращает никакого внимания на наши прелестные речи и с своей неучтивой и дикой манерой бросается на пруссаков, не давая им времени кончить их начатый парад, вдребезги разбивает их и поселяется в Потсдамском дворце.

«Я ранен, верхом ездить не могу, следственно и командовать армией. Вы кор д'арме ваш привели разбитый в Пултуск: тут оно открыто, и без дров, и без фуража, потому пособить надо, и так как вчера сами отнеслись к графу Буксгевдену, думать должно о ретираде к нашей границе, что и выполнить сегодня».

«От всех моих поездок, — écrit-il à l'Empereur [1], — получил ссадину от седла, которая сверх прежних перевязок моих совсем мне мешает ездить верхом и командовать такой обширной армией, а потому я командованье оной сложил на старшего по мне генерала, графа Буксгевдена, отослав к нему все дежурство и все принадлежащее к оному, советовав им, если хлеба не будет, ретироваться ближе во внутренность Пруссии, потому что оставалось хлеба только на один день, а у иных полков ничего, как о том дивизионные командиры Остерман и Седморецкий объявили, а у мужиков все съедено; я и сам, пока вылечусь, остаюсь в гошпитале в Остроленке.

«Я очень желаю, — пишет прусский король Бонапарту, — чтобы ваше величество были приняты в моем дворце самым приятнейшим для вас образом, и я с особенной заботливостью сделал для того все распоряжения, какие мне позволили обстоятельства. О, если б я достиг цели!» Прусские генералы щеголяют учтивостью перед французами и сдаются по первому требованию. Начальник гарнизона Глогау, с десятью тысячами, спрашивает у прусского короля, что ему делать. Все это положительно достоверно. Словом, мы думали внушить им только страх нашей военной этитюдой, но кончается тем, что мы вовлечены в войну, на нашей же границе, и, главное, *за прусского короля* и заодно с ним. Всего у нас в избытке, недостает только маленькой штучки, а именно — главнокомандующего. Так как оказалось, что успехи Аустерлица могли бы быть решительнее, если бы главнокомандующий был бы не так молод, то делается обзор осьмидесятилетних генералов, и между Прозоровским и Каменским выбирают последнего. Генерал приезжает к нам в кибитке по-суворовски, и его принимают с радостными восклицаниями и большим торжеством.

4-го приезжает первый курьер из Петербурга. Приносят чемоданы в кабинет фельдмаршала, который любит все делать сам. Меня зовут, чтобы помочь разобрать письма и взять те, которые назначены нам. Фельдмаршал, предоставляя нам это занятие, смотрит на нас и ждет конвертов, адресованных ему. Мы ищем — но их не оказывается. Фельдмаршал начинает волноваться, сам принимается за работу и находит письма от государя к графу Т., князю В. и другим. Он приходит в сильнейший гнев, выходит из себя, берет письма, распечатывает их и читает те, которые адресованы другим... И пишет знаменитый приказ графу Бенигсену.

[1] пишет он императору.

О числе которого ведомость всеподданнейше подношу, донося, что если армия простоит в нынешнем биваке еще пятнадцать дней, то весной ни одного здорового не останется.

Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран. Всемилостивейшего дозволения вашего о том ожидать буду здесь, при гошпитале, дабы не играть роль *писарскую,* а не *командирскую* при войске. Отлучение меня от армии ни малейшего разглашения не произведет, что ослепший отъехал от армии. Таковых, как я, — в России тысячи».

Le maréchal se fâche contre l'Empereur et nous punit tous; n'est ce pas que c'est logique!

Voilà le premier acte. Aux suivants l'intérêt et le ridicule montent comme de raison. Après le départ du maréchal il se trouve que nous sommes en vue de l'ennemi, et qu'il faut livrer bataille. Boukshevden est général en chef par droit d'ancienneté, mais le général Benigsen n'est pas de cet avis; d'autant plus qu'il est lui, aves son corps en vue de l'ennemi, et qu'il veut profiter de l'occasion d'une bataille «aus eigener Hand» comme disent les Allemands. Il la donne. C'est la bataille de Poultousk qui est sensée être une grande victoire, mais qui à mon avis ne l'est pas du tout. Nous autres pékins avons comme vous savez, une très vilaine habitude de décider du gain ou de la perte d'une bataille. Celui qui s'est retiré après la bataille, l'a perdu, voilà ce que nous disons, et à titre nous avons perdu la bataille de Poultousk. Bref, nous nous retirons après la bataille, mais nous envoyons un courrier à Pétersbourg, qui porte les nouvelles d'une victoire, et le général ne cède pas le commandement en chef à Boukshevden, espérant recevoir de Pétersbourg en reconnaissance de sa victoire le titre de général en chef. Pendant cet interrègne, nous commençons un plan de manœuvres excessivement intéressant et original. Notre but ne consiste pas, comme il devrait l'être, à éviter ou à attaquer l'ennemi; mais uniquement à éviter le général Boukshevden, qui par droit d'ancienneté serait notre chef. Nous poursuivons ce but avec tant d'énergie, que même en passant une rivière qui n'est pas guéable, nous brûlons les ponts pour nous séparer de notre ennemi, qui, pour le moment, n'est pas Bonaparte, mais Boukshevden. Le général Boukshevden a manqué d'etre attaqué et pris par des forces ennemies supérieures à cause d'une de nos belles

manœuvres qui nous sauvait de lui. Boukshevden nous poursuit — nous filons. A peine passe-t-il de notre côté de la rivière, que nous repassons de l'autre. A la fin notre ennemi Boukshevden nous attrappe et s'attaque à nous. Les deux généraux se fâchent. Il y a même une provocation en duel de la part de Boukshevden et une attaque d'épilepsie de la part de Benigsen. Mais au moment critique le courrier, qui porte la nouvelle de notre victoire de Poultousk, nous apporte de Pétersbourg notre nomination de général en chef, et le premier ennemi Boukshevden est enfoncé: nous pouvons penser au second, à Bonaparte. Mais ne voilà-t-il pas qu'à ce moment se lève devant nous un troisième ennemi, c'est le *православное* qui demande à grands cris du pain, de la viande, des souchary, du foin, — que sais-je! Les magasins sont vides, les chemins impraticables. Le православное se met à la maraude, et d'une manière dont la dernière campagne ne peut vous donner la moindre idée. La moitié des régiments forme des troupes libres, qui parcourent la contrée en mettant tout à feu et à sang. Les habitants sont ruinés de fond en comble, les hôpitaux regorgent de malades, et la disette est partout. Deux fois le quartier général a été attaqué par des troupes de maraudeurs et le général en chef a été obligé lui même de demander un bataillon pour les chasser. Dans une de ces attaques on m'a emporté ma malle vide et ma robe de chambre. L'Empereur veut donner le droit à tous les chefs de divisions de fusiller les maraudeurs, mais je crains fort que cela n'oblige une moitié de l'armée de fusiller l'autre» [1].

---

[1] Фельдмаршал сердится на государя и наказывает всех нас: это совершенно логично!

Вот первое действие комедии. При следующих интерес и забавность возрастают, само собой разумеется. После отъезда фельдмаршала оказывается, что мы в виду неприятеля и необходимо дать сражение. Буксгевден — главнокомандующий по старшинству, но генерал Бенигсен совсем не того мнения, тем более что он с своим корпусом находится в виду неприятеля и хочет воспользоваться случаем к сражению. Он его и дает. Эта пултуская битва, которая считается великою победой, но которая совсем не такова, по моему мнению. Мы, штатские, имеем, как вы знаете, очень дурную привычку решать вопрос о выигрыше или проигрыше сражения. Тот, кто отступил после сражения, тот проиграл его, вот что мы говорим, и, судя по этому, мы проиграли пултуское сражение. Одним словом, мы отступаем после битвы, но посылаем курьера в Петербург с известием о победе, и генерал Бенигсен не уступает начальствования над армией генералу Буксгевдену, надеясь получить из Петербурга в благодарность за свою победу

Князь Андрей сначала читал одними глазами, но потом невольно то, что он читал (несмотря на то, что он знал, насколько должно было верить Билибину), больше и больше начинало занимать его. Дочитав до этого места, он смял письмо и бросил его. Не то, что он прочел в письме, сердило его, но его сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него, жизнь могла волновать его. Он закрыл глаза, потер себе лоб рукою, как будто изгоняя всякое участие к тому, что он читал, и прислушался к тому, что делалось в детской. Вдруг ему показался за дверью какой-то странный звук. На него нашел страх; он боялся, не случилось ли чего с ребенком в то время, как он читал письмо. Он на цыпочках подошел к двери детской и отворил ее.

звание главнокомандующего. Во время этого междуцарствия мы начинаем очень оригинальный и интересный ряд маневров. План наш не состоит более, как бы он должен был состоять, в том, чтобы избегать или атаковать неприятеля, но только в том, чтоб избегать генерала Буксгевдена, который по праву старшинства должен бы быть нашим начальником. Мы преследуем эту цель с такой энергией, что даже, переходя реку, на которой нет бродов, мы сжигаем мост, с целью отдалить от себя нашего врага, который в настоящее время не Бонапарт, но Буксгевден. Генерал Буксгевден чуть-чуть не был атакован и взят превосходными неприятельскими силами, вследствие одного из таких маневров, спасавших нас от него. Буксгевден нас преследует — мы бежим. Только что он перейдет на нашу сторону реки, мы переходим опять на другую. Наконец враг наш Буксгевден ловит нас и атакует. Происходит объяснение. Оба генерала сердятся, и дело доходит почти до дуэли между двумя главнокомандующими. Но, по счастию, в самую критическую минуту курьер, который возил в Петербург известие о пултуской победе, возвращается и привозит нам назначение главнокомандующего, и первый враг — Буксгевден побежден. Мы теперь можем думать о втором враге — Бонапарте. Но оказывается, что в эту самую минуту возникает перед нами третий враг — *православное,* которое громкими возгласами требует хлеба, говядины, сухарей, сена, овса — и мало ли чего еще! Магазины пусты, дороги непроходимы. Православное начинает грабить, и грабеж доходит до такой степени, о которой последняя кампания не могла вам дать ни малейшего понятия. Половина полков образует вольные команды, которые обходят страну и все предают мечу и пламени. Жители разорены совершенно, больницы завалены больными, и везде голод. Два раза мародеры нападали даже на главную квартиру, и главнокомандующий принужден был взять батальон солдат, чтобы прогнать их. В одно из этих нападений у меня унесли мой пустой чемодан и халат. Государь хочет дать право всем начальникам дивизии расстреливать мародеров, но я очень боюсь, чтоб это не заставило одну половину войска расстреливать другую.

В ту минуту, как он входил, он увидал, что нянька с испуганным видом спрятала что-то от него и что княжны Марьи уже не было у кроватки.

— Мой друг, — послышался ему сзади отчаянный, как ему показалось, шепот княжны Марьи. Как это часто бывает после долгой бессонницы и долгого волнения, на него нашел беспричинный страх: ему пришло в голову, что ребенок умер. Все, что он видел и слышал, показалось ему подтверждением его страха.

«Все кончено», — подумал он, и холодный пот выступил у него на лбу. Он растерянно подошел к кроватке, уверенный, что он найдет ее пустою, что нянька прятала мертвого ребенка. Он раскрыл занавески, и долго его испуганные, разбегавшиеся глаза не могли отыскать ребенка. Наконец он увидал его: румяный мальчик, раскидавшись, лежал поперек кроватки, опустив голову ниже подушки, и во сне чмокал, перебирая губками, и ровно дышал.

Князь Андрей обрадовался, увидав мальчика, так, как будто бы он уже потерял его. Он нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, он дотронулся рукой до головы — даже волосы были мокры: так сильно вспотел ребенок. Не только он не умер, но теперь очевидно было, что кризис совершился и что он выздоровел. Князю Андрею хотелось схватить, смять, прижать к своей груди это маленькое, беспомощное существо; он не смел этого сделать. Он стоял над ним, оглядывая его голову, ручки, ножки, определявшиеся под одеялом. Шорох послышался подле него, и какая-то тень показалась ему под пологом кроватки. Он не оглядывался и, глядя в лицо ребенка, все слушал его ровное дыхание. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кроватке, подняла полог и опустила его за собою. Князь Андрей, не оглядываясь, узнал ее и протянул к ней руку. Она сжала его руку.

— Он вспотел, — сказал князь Андрей.

— Я шла к тебе, чтобы сказать это.

Ребенок во сне чуть пошевелился, улыбнулся и потерся лбом о подушку.

Князь Андрей посмотрел на сестру. Лучистые глаза княжны Марьи, в матовом полусвете полога, блестели больше обыкновенного от счастливых слез, которые стояли в них. Княжна Марья потянулась к брату и поцеловала его, слегка зацепив за полог кроватки. Они погрозили

друг другу, еще постояли в матовом свете полога, как бы не желая расстаться с этим миром, в котором они втроем были отделены от всего света. Князь Андрей первый, путая волосы о кисею полога, отошел от кроватки. «Да, это одно, что осталось мне теперь», — сказал он со вздохом.

X

Вскоре после своего приема в братство масонов Пьер с полным написанным им для себя руководством о том, что он должен был делать в своих имениях, уехал в Киевскую губернию, где находилась большая часть его крестьян.

Приехав в Киев, Пьер вызвал в главную контору всех управляющих и объяснил им свои намерения и желания. Он сказал им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказываема помощь, что наказания должны быть употребляемы увещательные, а не телесные, что в каждом имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы. Некоторые управляющие (тут были и полуграмотные экономы) слушали испуганно, предполагая смысл речи в том, что молодой граф недоволен их управлением и утайкой денег; другие, после первого страха, находили забавным шепелявенье Пьера и новые, не слыханные ими слова; третьи находили просто удовольствие послушать, как говорит барин; четвертые, самые умные, в том числе и главноуправляющий, поняли из этой речи то, каким образом надо обходиться с барином для достижения своих целей.

Главноуправляющий выразил большое сочувствие намерениям Пьера; но заметил, что, кроме этих преобразований, необходимо было вообще заняться делами, которые были в дурном состоянии.

Несмотря на огромное богатство графа Безухова, с тех пор как Пьер получил его и получал, как говорили, пятьсот тысяч годового дохода, он чувствовал себя гораздо менее богатым, чем когда он получал свои десять тысяч от покойного графа. В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет. В Совет платилось около восьмидесяти тысяч по всем имениям; около тридцати тысяч

стоило содержание подмосковной, московского дома и княжон; около пятнадцати тысяч выходило на пенсии, столько же на богоугодные заведения; графине на прожитье посылалось сто пятьдесят тысяч; процентов платилось за долги около семидесяти тысяч; постройка начатой церкви стоила эти два года около десяти тысяч; остальное, около ста тысяч, расходилось — он сам не знал как, и почти каждый год он принужден был занимать. Кроме того, каждый год главноуправляющий писал то о пожарах, то о неурожаях, то о необходимости перестроек фабрик и заводов. Итак, первое дело, представившееся Пьеру, было то, к которому он менее всего имел способности и склонности, — занятие делами.

Пьер с главноуправляющим каждый день *занимался*. Но он чувствовал, что занятия его ни на шаг вперед не подвигают дела. Он чувствовал, что его занятия происходят независимо от дела, что они не цепляют за дело и не заставляют его двигаться. С одной стороны, главноуправляющий, выставляя дела в самом дурном свете, показывал Пьеру необходимость уплачивать долги и предпринимать новые работы силами крепостных мужиков, на что Пьер не соглашался; с другой стороны, Пьер требовал приступления к делу освобождения, на что управляющий выставлял необходимость прежде уплатить долг Опекунскому совету, и потому невозможность быстрого исполнения.

Управляющий не говорил, что это совершенно невозможно; он предлагал для достижения этой цели продажу лесов Костромской губернии, продажу земель низовых и крымского имения. Но все эти операции в речах управляющего связывались с такою сложностью процессов снятия запрещений, истребований разрешений и т. п., что Пьер терялся и только говорил ему: «Да, да, так и сделайте».

Пьер не имел той практической цепкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дело, и потому он не любил его и только старался притвориться перед управляющим, что он занят делом. Управляющий же старался притвориться перед графом, что он считает эти занятия весьма полезными для хозяина и для себя стеснительными.

В большом городе нашлись знакомые; незнакомые поспешили познакомиться и радушно приветствовали вновь приехавшего богача, самого большого владельца губернии. Искушения по отношению главной слабости Пьера, той,

в которой он признался во время приема в ложу, тоже были так сильны, что Пьер не мог воздержаться от них. Опять целые дни, недели, месяцы жизни Пьера проходили так же озабоченно и занято между вечерами, обедами, завтраками, балами, не давая ему времени опомниться, как и в Петербурге. Вместо новой жизни, которую надеялся повести Пьер, он жил все той же прежней жизнью, только в другой обстановке.

Из трех назначений масонства Пьер сознавал, что он не исполнял того, которое предписывало каждому масону быть образцом нравственной жизни, и из семи добродетелей совершенно не имел в себе двух: добронравия и любви к смерти. Он утешал себя тем, что зато он исполнял другое назначение — исправления рода человеческого и имел другие добродетели — любовь к ближнему и в особенности щедрость.

Весной 1807 года Пьер решился ехать назад в Петербург. По дороге назад он намеревался объехать все свои имения и лично удостовериться в том, что сделано из того, что им предписано, и в каком положении находится теперь тот народ, который вверен ему богом и который он стремился облагодетельствовать.

Главноуправляющий, считавший все затеи молодого графа почти безумством, невыгодой для себя, для него, для крестьян, — сделал уступки. Продолжая дело освобождения представлять невозможным, он распорядился постройкой во всех имениях больших зданий школ, больниц и приютов; для приезда барина везде приготовил встречи, не пышно-торжественные, которые, он знал, не понравятся Пьеру, но именно такие религиозно-благодарственные, с образами и хлебом-солью, именно такие, которые, как он понимал барина, должны были подействовать на графа и обмануть его.

Южная весна, покойное, быстрое путешествие в венской коляске и уединение дороги радостно действовали на Пьера. Имения, в которых он не бывал еще, были одно живописнее другого; народ везде представлялся благоденствующим и трогательно-благодарным за сделанные ему благодеяния. Везде были встречи, которые хотя и приводили в смущение Пьера, но в глубине души его вызывали радостное чувство. В одном месте мужики подносили ему хлеб-соль и образ Петра и Павла и просили позволения в честь его ангела Петра и Павла, в знак любви и благодарности за сделанные им благодеяния воздвигнуть на

свой счет новый придел в церкви. В другом месте его встретили женщины с грудными детьми, благодаря его за избавление от тяжелых работ. В третьем имении его встречал священник с крестом, окруженный детьми, которых он, по милостям графа, обучал грамоте и религии. Во всех имениях Пьер видел своими глазами по одному плану воздвигавшиеся и воздвигнутые уже каменные здания больниц, школ, богаделен, которые должны были быть в скором времени открыты. Везде Пьер видел отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных против прежнего, и слышал за то трогательные благодарения депутаций крестьян в синих кафтанах.

Пьер не знал, что там, где ему подносили хлеб-соль и строили придел Петра и Павла, было торговое село и ярмарка в Петров день, что придел уже строился давно богачами-мужиками села, теми, которые явились к нему, а что девять десятых мужиков этого села были в величайшем разорении. Он не знал, что вследствие того, что перестали по его приказу посылать *ребятниц*-женщин с грудными детьми на барщину, эти самые ребятницы тем труднейшую работу несли на своей половине. Он не знал, что священник, встретивший его с крестом, отягощал мужиков своими поборами и что собранные к нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большие деньги были откупаемы родителями. Он не знал, что каменные, по плану, здания воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьян, уменьшенную только на бумаге. Он не знал, что там, где управляющий указывал ему по книгам на уменьшение по его воле оброка на одну треть, была наполовину прибавлена барщинная повинность. И потому Пьер был восхищен своим путешествием по имениям и вполне возвратился к тому филантропическому настроению, в котором он выехал из Петербурга, и писал восторженные письма своему наставнику-брату, как он называл великого мастера.

«Как легко, как мало усилия нужно, чтобы сделать так много добра, — думал Пьер, — и как мало мы об этом заботимся!»

Он счастлив был выказываемой ему благодарностью, но стыдился, принимая ее. Эта благодарность напоминала ему, насколько *еще больше* он бы был в состоянии сделать для этих простых, добрых людей.

Главноуправляющий, весьма глупый и хитрый человек, совершенно понимая умного и наивного графа и

играя им, как игрушкой, увидав действие, произведенное на Пьера приготовленными приемами, решительнее обратился к нему с доводами о невозможности и, главное, ненужности освобождения крестьян, которые и без того были совершенно счастливы.

Пьер втайне своей души соглашался с управляющим в том, что трудно было представить себе людей более счастливых, и что бог знает, что ожидало их на воле; но Пьер, хотя и неохотно, настаивал на том, что он считал справедливым. Управляющий обещал употребить все силы для исполнения воли графа, ясно понимая, что граф никогда не будет в состоянии поверить его не только в том, употреблены ли все меры для продажи лесов и имений, для выкупа из Совета, но и никогда, вероятно, не спросит и не узнает о том, как построенные здания стоят пустыми и крестьяне продолжают давать работой и деньгами все то, что они дают у других, то есть все, что они могут давать.

XI

В самом счастливом состоянии духа возвращаясь из своего южного путешествия, Пьер исполнил свое давнишнее намерение — заехать к своему другу Болконскому, которого он не видал два года.

На последней станции, узнав, что князь Андрей не в Лысых Горах, а в своем новом отделенном имении, Пьер поехал к нему.

Богучарово лежало в некрасивой, плоской местности, покрытой полями и срубленными и несрубленными еловыми с березой лесами. Барский двор находился на конце прямой, по большой дороге расположенной деревни, за вновь вырытым, полно налитым прудом, с не обросшими еще травой берегами, в середине молодого леса, между которым стояло несколько больших сосен.

Барский двор состоял из гумна, надворных построек, конюшен, бани, флигеля и большого каменного дома с полукруглым фронтоном, который еще строился. Вокруг дома был рассажен молодой сад. Ограды и ворота были прочные и новые; под навесом стояли две пожарные трубы и бочка, выкрашенная зеленою краской; дороги были прямые, мосты были крепкие, с перилами. На всем лежал отпечаток аккуратности и хозяйственности. Встре-

тившиеся дворовые, на вопрос, где живет князь, указали на небольшой новый флигелек, стоящий у самого края пруда. Старый дядька князя Андрея, Антон, высадил Пьера из коляски, сказал, что князь дома, и проводил его в чистую маленькую прихожую.

Пьера поразила скромность маленького, хотя и чистенького домика после тех блестящих условий, в которых последний раз он видел своего друга в Петербурге. Он поспешно вошел в пахнущую еще сосной, неоштукатуренную маленькую залу и хотел идти дальше, но Антон на цыпочках пробежал вперед и постучался в дверь.

— Ну, что там? — послышался резкий, неприятный голос.

— Гость, — отвечал Антон.

— Проси подождать, — и послышался отодвинутый стул. Пьер быстрыми шагами подошел к двери и столкнулся лицом к лицу с выходившим к нему нахмуренным и постаревшим князем Андреем. Пьер обнял его и, подняв очки, целовал его в щеки и близко смотрел на него.

— Вот не ждал, очень рад, — сказал князь Андрей. Пьер ничего не говорил; он удивленно, не спуская глаз, смотрел на своего друга. Его поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то, что похудел, побледнел, возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним.

При свидании после долгой разлуки, как это всегда бывает, разговор долго не мог установиться; они спрашивали и отвечали коротко о таких вещах, о которых они сами знали, что надо было говорить долго. Наконец разговор стал понемногу останавливаться на прежде отрывочно сказанном, на вопросах о прошедшей жизни, о планах на будущее, о путешествии Пьера, о его занятиях, о войне и т. д. Та сосредоточенность и убитость, которую заметил Пьер во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще сильнее в улыбке, с которою он слушал Пьера, в особенности тогда, когда Пьер говорил с одушевлением радости о прошедшем или будущем. Как будто князь Андрей и желал бы, но не мог принимать участия в том,

что он говорил. Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны. Ему совестно было высказывать все свои новые, масонские мысли, в особенности подновленные и возбужденные в нем его последним путешествием. Он сдерживал себя, боялся быть наивным; вместе с тем ему неудержимо хотелось поскорее показать своему другу, что он был теперь совсем другой, лучший Пьер, чем тот, который был в Петербурге.

— Я не могу вам сказать, как много я пережил за это время. Я сам бы не узнал себя.

— Да, много, много мы изменились с тех пор, — сказал князь Андрей.

— Ну, а вы? — спрашивал Пьер. — Какие ваши планы?

— Планы? — иронически повторил князь Андрей. — Мои планы? — повторил он, как бы удивляясь значению такого слова. — Да вот видишь, строюсь, хочу к будущему году переехать совсем...

Пьер молча, пристально вглядывался в состаревшееся лицо Андрея.

— Нет, я спрашиваю, — сказал Пьер, но князь Андрей перебил его:

— Да что про меня говорить... расскажи же, расскажи про свое путешествие, про все, что ты там наделал в своих именьях?

Пьер стал рассказывать о том, что он сделал в своих имениях, стараясь как можно более скрыть свое участие в улучшениях, сделанных им. Князь Андрей несколько раз подсказывал Пьеру вперед то, что он рассказывал, как будто все то, что сделал Пьер, была давно известная история, и слушал не только не с интересом, но даже как будто стыдясь за то, что рассказывал Пьер.

Пьеру стало неловко и даже тяжело в обществе своего друга. Он замолчал.

— Ну вот что, моя душа, — сказал князь Андрей, которому, очевидно, было тоже тяжело и стеснительно с гостем, — я здесь на биваках, я приехал только посмотреть. И нынче еду опять к сестре. Я тебя познакомлю с ними. Да ты, кажется, знаком, — сказал он, очевидно занимая гостя, с которым он не чувствовал теперь ничего общего. — Мы поедем после обеда. А теперь хочешь посмотреть мою усадьбу? — Они вышли и проходили до обеда, разговаривая о политических новостях и общих знако-

мых, как люди мало близкие друг к другу. С некоторым оживлением и интересом князь Андрей говорил только об устраиваемой им новой усадьбе и постройке, но и тут в середине разговора, на подмостках, когда князь Андрей описывал Пьеру будущее расположение дома, он вдруг остановился. — Впрочем, тут нет ничего интересного, пойдем обедать и поедем. — За обедом зашел разговор о женитьбе Пьера.

— Я очень удивился, когда услышал об этом, — сказал князь Андрей.

Пьер покраснел так же, как он краснел всегда при этом, и торопливо сказал:

— Я вам расскажу когда-нибудь, как это все случилось. Но вы знаете, что все это кончено, и навсегда.

— Навсегда? — сказал князь Андрей. — Навсегда ничего не бывает.

— Но вы знаете, как это все кончилось? Слышали про дуэль?

— Да, ты прошел и через это.

— Одно, за что я благодарю бога, это за то, что я не убил этого человека, — сказал Пьер.

— Отчего же? — сказал князь Андрей. — Убить злую собаку даже очень хорошо.

— Нет, убить человека нехорошо, несправедливо...

— Отчего же несправедливо? — повторил князь Андрей. — То, что справедливо и несправедливо — не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.

— Несправедливо то, что есть зло для другого человека, — сказал Пьер, с удовольствием чувствуя, что в первый раз со времени его приезда князь Андрей оживлялся и начинал говорить и хотел высказать все то, что сделало его таким, каким он был теперь.

— А кто тебе сказал, что такое зло для другого человека? — спросил он.

— Зло? Зло? — сказал Пьер. — Мы все знаем, что такое зло для себя.

— Да, мы знаем, но то зло, которое я знаю для себя, я не могу сделать другому человеку, — все более и более оживляясь, говорил князь Андрей, видимо, желая высказать Пьеру свой новый взгляд на вещи. Он говорил по-французски. — Je ne connais dans la vie que maux bien réels: c'est le remord et la maladie. Il n'est de bien que

l'absence de ces maux[1]. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь.

— А любовь к ближнему, а самопожертвование? — заговорил Пьер. — Нет, я с вами не могу согласиться! Жить только так, чтобы не делать зла, чтобы не раскаиваться, этого мало. Я жил так, я жил для себя и погубил свою жизнь. И только теперь, когда я живу, по крайней мере, стараюсь (из скромности поправился Пьер) жить для других, только теперь я понял все счастие жизни. Нет, я не соглашусь с вами, да и вы не думаете того, что вы говорите. — Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался.

— Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь, — сказал он. — Может быть, ты прав для себя, — продолжал он, помолчав немного, — но каждый живет по-своему: ты жил для себя и говоришь, что этим чуть не погубил свою жизнь, а узнал счастие только, когда стал жить для других. А я испытал противуположное. Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы.) Так я жил для других и не почти, а совсем погубил свою жизнь. И с тех пор стал спокоен, как живу для одного себя.

— Да как же жить для одного себя? — разгорячаясь, спросил Пьер. — А сын, сестра, отец?

— Да это все тот же я, это не другие, — сказал князь Андрей, — а другие, *ближние*, le prochain, как вы с княжной Марьей называете, это главный источник заблуждения и зла. Le prochain — это те твои киевские мужики, которым ты хочешь делать добро.

И он посмотрел на Пьера насмешливо вызывающим взглядом. Он, видимо, вызывал Пьера.

— Вы шутите, — все более и более оживляясь, говорил Пьер. — Какое же может быть заблуждение и зло в том, что я желал (очень мало и дурно исполнил), но желал сделать добро, да и сделал хотя кое-что? Какое же может быть зло, что несчастные люди, наши мужики, люди так же, как мы, вырастающие и умирающие без другого понятия о боге и правде, как образ и бессмысленная молитва, будут поучаться в утешительных верова-

---

[1] Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь. И счастие есть только отсутствие этих двух зол.

ниях будущей жизни, возмездия, награды, утешения? Какое же зло и заблуждение в том, что люди умирают от болезни без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам лекаря, и больницу, и приют старику? И разве не ощутительное, не несомненное благо то, что мужик, баба с ребенком не имеют дни и ночи покоя, а я дам им отдых и досуг?.. — говорил Пьер, торопясь и шепелявя. — И я это сделал, хоть плохо, хоть немного, но сделал кое-что для этого, и вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали. А главное, — продолжал Пьер, — я вот что знаю, и знаю верно, что наслаждение делать это добро есть единственное верное счастие жизни.

— Да, ежели так поставить вопрос, то это другое дело, — сказал князь Андрей. — Я строю дом, развожу сад, а ты больницы. И то и другое может служить препровождением времени. Но что справедливо, что добро — предоставь судить тому, кто все знает, а не нам. Ну, ты хочешь спорить, — прибавил он, — ну давай. — Они вышли из-за стола и сели на крыльцо, заменявшее балкон.

— Ну, давай спорить, — сказал князь Андрей. — Ты говоришь школы, — продолжал он, загибая палец, — поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести его, — сказал он, указывая на мужика, снявшего шапку и проходившего мимо их, — из его животного состояния и дать ему нравственные потребности. А мне кажется, что единственно возможное счастье — есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств. Другое — ты говоришь, облегчить его работу. А по-моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для тебя и для меня труд умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать в третьем часу, мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что я думаю и не могу не думать, как он не может не пахать, не косить; иначе он пойдет в кабак или сделается болен. Как я не перенесу его страшного физического труда, а умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. Третье, — что бишь еще ты сказал?

Князь Андрей загнул третий палец.

— Ах, да. Больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустишь ему кровь, вылечишь, он калекой будет ходить десять лет, всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал, — как я смотрю на него, а то ты из любви к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом, что за воображенье, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала... Убивать — так! — сказал он, злобно нахмурившись и отвернувшись от Пьера.

Князь Андрей высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что видно было, он не раз думал об этом, и он говорил охотно и быстро, как человек, долго не говоривший. Взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения.

— Ах, это ужасно, ужасно! — сказал Пьер. — Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями. На меня находили такие же минуты, это недавно было, в Москве и дорогой, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, все мне гадко, главное, я сам. Тогда я не ем, не умываюсь... ну, как же вы...

— Отчего же не умываться, это не чисто, — сказал князь Андрей. — Напротив, надо стараться сделать свою жизнь как можно более приятной. Я живу и в этом не виноват, стало быть, надо как-нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти.

— Но что же вас побуждает жить? С такими мыслями будешь сидеть не двигаясь, ничего не предпринимая.

— Жизнь и так не оставляет в покое. Я бы рад ничего не делать, а вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводители; я насилу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтобы иметь свой угол, где можно быть спокойным. Теперь ополченье.

— Отчего вы не служите в армии?

— После Аустерлица! — мрачно сказал князь Андрей. — Нет, покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. Ну, так я тебе говорил, — успокоиваясь, продолжал князь Андрей. — Теперь ополченье, отец главноко-

мандующим третьего округа, и единственное средство мне избавиться от службы — быть при нем.

— Стало быть, вы служите?

— Служу. — Он помолчал немного.

— Так зачем же вы служите?

— А вот зачем. Отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. Он страшен своею привычкой к неограниченной власти и теперь этой властью, данной государем главнокомандующим над ополчением. Ежели бы я два часа опоздал две недели тому назад, он бы повесил протоколиста в Юхнове, — сказал князь Андрей с улыбкой. — Так я служу потому, что, кроме меня, никто не имеет влияния на отца и я кое-где спасу его от поступка, от которого бы он после мучился.

— А, ну так вот видите!

— Да, mais ce n'est pas comme vous l'entendez[1], — продолжал князь Андрей. — Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу-протоколисту, который украл какие-то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца, то есть опять себя же.

Князь Андрей все более и более оживлялся. Глаза его лихорадочно блестели в то время, как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было желания добра ближнему.

— Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, — продолжал он. — Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут и посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют оттого, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я бы желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это,

---

[1] но не так, как ты думаешь.

не могут удержаться и все делаются несчастнее и несчастнее.

Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

— Так вот кого и чего жалко, — человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которые, сколько ни секи, сколько ни брей, всё останутся такими же спинами и лбами.

— Нет, нет и тысячу раз нет! я никогда не соглашусь с вами, — сказал Пьер.

XII

Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые Горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что он находился в хорошем расположении духа.

Он говорил ему, указывая на поля, о своих хозяйственных усовершенствованиях.

Пьер мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погруженным в свои мысли.

Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается, что он не знает истинного света и что Пьер должен прийти на помощь ему, просветить и поднять его. Но как только Пьер придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит все его ученье, и он боялся начать, боялся выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

— Нет, отчего же вы думаете, — вдруг начал Пьер, опуская голову и принимая вид бодающегося быка, — отчего вы так думаете? Вы не должны так думать.

— Про что я думаю? — спросил князь Андрей с удивлением.

— Про жизнь, про назначение человека. Это не может быть. Я так же думал, и меня спасло, вы знаете что? масонство. Нет, вы не улыбайтесь. Масонство — это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества. — И он начал излагать князю Андрею масонство, как он понимал его.

Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви.

— Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; все остальное есть сон, — говорил Пьер. — Вы поймите, мой друг, что вне этого союза все исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал, частью этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах, — говорил Пьер.

Князь Андрей молча, глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не расслышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах князя Андрея, и по его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что князь Андрей не перебьет его и не будет смеяться над его словами.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они пошли на паром.

Князь Андрей, облокотившись о перила, молча смотрел вдоль по блестящему от заходящего солнца разливу.

— Ну, что же вы думаете об этом? — спросил Пьер. — Что же вы молчите?

— Что я думаю? Я слушал тебя. Все это так, — сказал князь Андрей. — Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека и законы, управляющие миром. Да кто же мы? — люди. Отчего же вы все знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите? Вы видите на земле царство добра и правды, а я его не вижу.

Пьер перебил его.

— Верите вы в будущую жизнь? — спросил он.

— В будущую жизнь? — повторил князь Андрей, но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея.

— Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его; и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На

земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды — все ложь и зло; но в мире, во всем мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно — дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого? Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется божество, — высшая сила, — как хотите, — что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях. Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что, кроме меня, надо мной живут духи и что в этом мире есть правда.

— Да, это учение Гердера, — сказал князь Андрей, — но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся), и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть... Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть... Вот что убеждает, вот что убедило меня, — сказал князь Андрей.

— Ну да, ну да, — говорил Пьер, — разве не то же самое и я говорю!

— Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет *там* в *нигде,* и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул...

— Ну, так что ж! Вы знаете, что есть *там* и что есть *кто-то?* Там есть — будущая жизнь. *Кто-то* есть — бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

— Ежели есть бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека

состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, — говорил Пьер, — что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всем (он указал на небо). — Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома, и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «Правда, верь этому».

Князь Андрей вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но все робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

— Да, коли бы это так было! — сказал он. — Однако пойдем садиться, — прибавил князь Андрей, и, выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз после Аустерлица он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.

XIII

Уже смерклось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду лысогорского дома. В то время как они подъезжали, князь Андрей с улыбкой обратил внимание Пьера на суматоху, происшедшую у заднего крыльца. Согнутая старушка с котомкой на спине и невысокий мужчина в черном одеянии и с длинными волосами, увидав въезжавшую коляску, бросились бежать назад в ворота. Две женщины выбежали за ними, и все четверо, оглядываясь на коляску, испуганно вбежали на заднее крыльцо.

— Это Ма́шины божьи люди, — сказал князь Андрей. — Они приняли нас за отца. А это единственно, в чем

она не повинуется ему: он велит гонять этих странников, а она принимает их.

— Да что такое божьи люди? — спросил Пьер.

Князь Андрей не успел ответить ему. Слуги вышли навстречу, и он расспрашивал о том, где был старый князь и скоро ли ждут его.

Старый князь был еще в городе, и его ждали каждую минуту.

Князь Андрей провел Пьера на свою половину, всегда в полной исправности ожидавшую его в доме его отца, и сам пошел в детскую.

— Пойдем к сестре, — сказал князь Андрей, возвратившись к Пьеру, — я еще не видал ее, она теперь прячется и сидит с своими божьими людьми. Поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. C'est curieux, ma parole[1].

— Qu'est-ce que c'est que[2] божьи люди? — спросил Пьер.

— А вот увидишь.

Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадками перед киотами, на диване, за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами в монашеской рясе.

На кресле, подле, сидела сморщенная, худая старушка с кротким выражением детского лица.

— André, pourquoi ne pas m'avoir prévenu?[3] — сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка перед цыплятами.

— Charmée de vous voir. Je suis très contente de vous voir[4], — сказала она Пьеру, в то время как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастие с женою и, главное, его доброе, простое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: «Я вас очень люблю, но, пожалуйста, не смейтесь над *моими*». Обменявшись первыми фразами приветствия, они сели.

— А, и Иванушка тут, — сказал князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника.

---

[1] Это интересно, право.
[2] Что такое.
[3] Андрюша, зачем ты не предупредил меня?
[4] Очень рада вас видеть. Очень рада.

— André! — умоляюще сказала княжна Марья.

— Il faut que vous sachiez que c'est une femme [1], — сказал Андрей Пьеру.

— André, au nom de dieu! [2] — повторила княжна Марья.

Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи были привычные, установившиеся между ними отношения.

— Mais, ma bonne amie, — сказал князь Андрей, — vous devriez au contraire m'être reconnaissante de ce que j'explique à Pierre votre intimité avec ce jeune homme [3].

— Vraiment? [4] — сказал Пьер любопытно и серьезно (за что особенно благодарна ему была княжна Марья), вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех.

Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за *своих*. Они нисколько не робели. Старушка, опустив глаза, но искоса поглядывая на вошедших, опрокинув чашку вверх дном на блюдечко и положив подле обкусанный кусочек сахара, спокойно и неподвижно сидела на своем кресле, ожидая, чтобы ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая из блюдечка, исподлобья лукавыми женскими глазами смотрел на молодых людей.

— Где, в Киеве была? — спросил старуху князь Андрей.

— Была, отец, — отвечала словоохотливо старуха, — на самое рожество удостоилась у угодников сообщиться святых, небесных таин. А теперь из Колязина, отец, благодать великая открылась...

— Что ж, Иванушка с тобой?

— Я сам по себе иду, кормилец, — стараясь говорить басом, сказал Иванушка. — Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись.

Пелагеюшка перебила своего товарища; ей, видно, хотелось рассказать то, что она видела.

— В Колязине, отец, великая благодать открылась.

---

[1] Ты знаешь, это женщина.

[2] Андрюша, ради бога!

[3] Но, мой добрый друг, ты бы должна была мне быть благодарна за то, что я объясняю Пьеру твою интимность с этим молодым человеком.

[4] Право?

— Что ж, мощи новые? — спросил князь Андрей.

— Полно, Андрей, — сказала княжна Марья. — Не рассказывай, Пелагеюшка.

— И что ты, мать, отчего ж не рассказывать? Я его люблю. Он добрый. Богом взысканный, он мне, благодетель, десять рублей дал, я помню. Как была я в Киеве, и говорит мне Кирюша, юродивый — истинно божий человек, зиму и лето босóй ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту, в Колязин иди, там икона чудотворная, матушка пресвятая богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла...

Все молчали, одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух.

— Пришла, отец мой, мне народ и говорит: благодать великая открылась, у матушки пресвятой богородицы миро из щечки каплет...

— Ну, хорошо, хорошо, после расскажешь, — краснея, сказала княжна Марья.

— Позвольте у нее спросить, — сказал Пьер. — Ты сама видела? — спросил он.

— Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике-то, как свет небесный, и из щечки у матушки так и каплет, так и каплет...

— Да ведь это обман, — наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу.

— Ах, отец, чтó говоришь! — с ужасом сказала Пелагеюшка, обращаясь за защитой к княжне Марье.

— Это обманывают народ, — повторил он.

— Господи Иисусе Христе, — крестясь, сказала странница. — Ох, не говори, отец. Так-то один анарал не верил, сказал: «Монахи обманывают». Да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Печерская и говорит: «Уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его, слепого, прямо к ней; подошел, упал, говорит: «Исцели! отдам тебе, говорит, все, чем царь жаловал». Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. Что ж, прозрел! Грех говорить так. Бог накажет, — поучительно обратилась она к Пьеру.

— Как же звезда-то в образе очутилась? — спросил Пьер.

— В генералы и матушку произвели? — сказал князь Андрей, улыбаясь.

Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками.

— Отец, отец, грех тебе, грех. У тебя сын! — заговорила она, из бледности вдруг переходя в яркую краску.

— Отец, что ты сказал такое, бог тебя прости. — Она перекрестилась. — Господи, прости его. Матушка, что ж это?.. — обратилась она к княжне Марье. Она встала и, чуть не плача, стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно и жалко того, кто это сказал, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома.

— Ну что вам за охота? — сказала княжна Марья. — Зачем вы пришли ко мне?..

— Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, — сказал Пьер. — Princesse, ma parole, je n'ai pas voulu l'offenser [1], я так только. Ты не думай, я пошутил, — говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину.

Пелагеюшка остановилась недоверчиво, но в лице Пьера была такая искренность раскаяния и князь Андрей так кротко и серьезно смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.

XIV

Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладаном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев дали ей ключи от пещер и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. «Помолюся одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду приложусь; и такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет божий выходить не хочется».

Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную.

— Вы очень добры, — сказала она ему.

— Ах, я, право, не думал оскорбить ее, я так понимаю и высоко ценю эти чувства.

---

[1] Княжна, я, право, не хотел ее обидеть.

Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась.

— Ведь я вас давно знаю и люблю, как брата, — сказала она. — Как вы нашли Андрея? — спросила она поспешно, не давая ему времени сказать что-нибудь в ответ на ее ласковые слова. — Он очень беспокоит меня. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер, как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Он внутри себя носит его. Нынче он весел и оживлен; но это ваш приезд так подействовал на него: он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу! Ему нужна деятельность, а эта ровная, тихая жизнь губит его. Другие не замечают, но я вижу.

В десятом часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжавшего экипажа старого князя. Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо.

— Это кто? — спросил старый князь, вылезая из кареты и увидав Пьера.

— А! очень рад! целуй, — сказал он, узнав, кто был незнакомый молодой человек.

Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера.

Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его.

— Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабьи бредни, бабьи бредни, — проговорил он, но все-таки ласково потрепал Пьера по плечу и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города. Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах.

— Предводитель, Ростов граф, половины людей не доставил. Приехал в город, вздумал на обед звать, — я ему такой обед задал... А вот просмотри эту... Ну, брат, — обратился князь Николай Андреич к сыну, хлопая по плечу Пьера, — молодец твой приятель, я его полюбил! Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он и врет, да разжигает меня, старика. Ну, идите, идите, — сказал он, — может быть, приду за ужи-

ном вашим посижу. Опять поспорю. Мою дуру, княжну Марью, полюби, — прокричал он Пьеру из двери.

Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые Горы, оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым, суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то, что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его. Не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношениями к странницам, самым лучистым взглядом смотрела на него; но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иваныч, m-lle Bourienne с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем.

Старый князь вышел ужинать: это было, очевидно, для Пьера. Он был с ним оба дня его пребывания в Лысых Горах чрезвычайно ласков и велел ему приезжать к себе.

Когда Пьер уехал и сошлись вместе все члены семьи, его стали судить, как это всегда бывает после отъезда нового человека, и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее.

XV

Возвратившись в этот раз из отпуска, Ростов в первый раз почувствовал и узнал, до какой степени сильна была его связь с Денисовым и со всем полком.

Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство, подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому. Когда он увидал первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: «Граф приехал!» — и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его и офицеры сошлись к приезжему, — Ростов испытывал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский.

Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходивши на дежурство и на фуражировку, войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя лишенным свободы и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же успокоение, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома на своем месте, которые он чувствовал и под родительским кровом. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался в выборах; не было Сони, с которой надо было или не надо было объясняться. Не было возможности ехать туда или не ехать туда; не было этих двадцати четырех часов суток, которые столькими различными способами можно было употребить; не было этого бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше; не было этих неясных и неопределенных денежных отношений с отцом; не было напоминания об ужасном проигрыше Долохову! Тут, в полку, все было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела: один — наш Павлоградский полк, и другой — все остальное. И до этого остального не было никакого дела. В полку все было известно: кто был поручик, кто ротмистр, кто хороший, кто дурной человек, и главное — товарищ. Маркитант верит в долг, жалованье получается в треть; выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку; а пошлют, делай то, что ясно и отчетливо определено и приказано, — и все будет хорошо.

Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение, подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых. Тем отраднее была в эту кампанию эта полковая жизнь Ростову, что он, после проигрыша Долохову (поступка, которого он, несмотря на все утешения родных, не мог простить себе), решился служить не как прежде, а чтобы загладить свою вину, служить хорошо и быть вполне отличным товарищем и офицером, то есть прекрасным человеком, что представлялось столь трудным в *миру*, а в полку столь возможным.

Ростов, со времени своего проигрыша, решил, что он в пять лет заплатит этот долг родителям. Ему посылалось по десяти тысяч в год, теперь же он решился брать только две, а остальные предоставлять родителям для оплаты долга.

Армия наша после неоднократных отступлений, наступлений и сражений при Пултуске, при Прейсиш-Эйлау сосредоточивалась около Бартенштейна. Ожидали приезда государя к армии и начала новой кампании.

Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года, укомплектовываясь в России, опоздал к первым действиям кампании. Он не был ни под Пултуском, ни под Прейсиш-Эйлау и во второй половине кампании, присоединившись к действующей армии, был причислен к отряду Платова.

Отряд Платова действовал независимо от армии. Несколько раз павлоградцы были частями в перестрелках с неприятелем, захватывали пленных и однажды отбили даже экипажи маршала Удино. В апреле месяце павлоградцы несколько недель простояли около разоренной дотла немецкой пустой деревни, не трогаясь с места.

Была ростепель, грязь, холод, реки взломало, дороги сделались непроездны; по нескольку дней не выдавали ни лошадям, ни людям провианта. Так как подвоз сделался невозможен, то люди рассыпались по заброшенным пустынным деревням отыскивать картофель, но уже и того находили мало.

Все было съедено, и все жители разбежались; те, которые оставались, были хуже нищих, и отнимать у них уж было нечего, и даже маложалостливые солдаты часто, вместо того чтобы пользоваться от них, отдавали им свое последнее.

Павлоградский полк в делах потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей. В госпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившими от дурной пищи, предпочитали нести службу, через силу волоча ноги во фронте, чем отправляться в больницы. С открытием весны солдаты стали находить показывавшееся из земли растение, похожее на спаржу, которое они называли почему-то машкин сладкий корень, и рассыпались по лугам и полям, отыскивая этот машкин сладкий корень (который был очень горек), саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказы не есть этого вредного растения. Весною между солдатами открылась новая болезнь — опухоль рук, ног и лица, причину которой медики полагали в употреблении этого корня. Но, несмотря на запрещение, павлоградские солдаты эскадрона Денисова ели преимущественно машкин сладкий корень,

потому что уже вторую неделю растягивали последние сухари, выдавали только по полфунта на человека, а картофель в последнюю посылку привезли мерзлый и проросший.

Лошади питались тоже вторую неделю соломенными крышами с домов, были безобразно худы и покрыты еще зимнею, клоками сбившеюся шерстью.

Несмотря на такое бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда; так же и теперь, хотя и с бледными и опухлыми лицами и в оборванных мундирах, гусары строились к расчетам, ходили на уборку, чистили лошадей, амуницию, таскали вместо корма солому с крыш и ходили обедать к котлам, от которых вставали голодные, подшучивая над своей гадкой пищей и своим голодом. Так же как и всегда, в свободное от службы время солдаты жгли костры, парились голые у огней, курили, отбирали и пекли проросший, прелый картофель и рассказывали и слушали рассказы или о потемкинских и суворовских походах, или сказки об Алеше-пройдохе и о поповом батраке Миколке.

Офицеры так же, как и обыкновенно, жили по двое, по трое в раскрытых полуразоренных домах. Старшие заботились о приобретении соломы и картофеля, вообще о средствах пропитания людей, младшие занимались, как всегда, кто картами (денег было много, хотя провианта не было), кто невинными играми — в свайку и городки. Об общем ходе дел говорили мало, частью оттого, что ничего положительного не знали, частью оттого, что смутно чувствовали, что общее дело войны шло плохо.

Ростов жил по-прежнему с Денисовым, и дружеская связь их со времени их отпуска стала еще теснее. Денисов никогда не говорил про домашних Ростова, но по нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чувствовал, что несчастная любовь старого гусара к Наташе участвовала в этом усилении дружбы. Денисов, видимо, старался как можно реже подвергать Ростова опасностям, берег его и после дела особенно радостно встречал его целым и невредимым. На одной из своих командировок Ростов нашел в заброшенной, разоренной деревне, куда он приехал за провиантом, семейство старика поляка и его дочери с грудным ребенком. Они были раздеты, голодны, и не могли уйти, и не имели средств выехать. Ростов привез их в свою стоянку, поместил в своей квартире и несколько недель, пока старик

оправлялся, содержал их. Товарищ Ростова, разговорившись о женщинах, стал смеяться Ростову, говоря, что он всех хитрее и что ему бы не грех познакомить товарищей с спасенной им хорошенькой полькой. Ростов принял шутку за оскорбление и, вспыхнув, наговорил офицеру таких неприятных вещей, что Денисов с трудом мог удержать обоих от дуэли. Когда офицер ушел и Денисов, сам не знавший отношений Ростова к польке, стал упрекать его за вспыльчивость, Ростов сказал ему:

— Как же ты хочешь... Она мне как сестра, и я не могу тебе описать, как это обидно мне было... потому что... ну, оттого...

Денисов ударил его по плечу и быстро стал ходить по комнате, не глядя на Ростова, что он делывал в минуты душевного волнения.

— Экая дуг'ацкая ваша пог'ода г'остовская, — проговорил он, и Ростов заметил слезы на глазах Денисова.

XVI

В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Ростову не удалось попасть на смотр, который делал государь в Бартенштейне: павлоградцы стояли на аванпостах, далеко впереди Бартенштейна.

Они стояли биваками. Денисов с Ростовым жили в вырытой для них солдатами землянке, покрытой сучьями и дерном. Землянка была устроена следующим, вошедшим тогда в моду, способом: прорывалась канава в полтора аршина ширины, два глубины и три с половиной длины. С одного конца канавы делались ступеньки, и это был сход, крыльцо; сама канава была комната, в которой у счастливых, как у эскадронного командира, в дальней, противоположной ступеням стороне лежала на 4 кольях доска — это был стол. С обеих сторон вдоль канавы была снята на аршин земля, и это были две кровати и диваны. Крыша устраивалась так, что в середине можно было стоять, а на кровати даже можно было сидеть, ежели подвинуться ближе к столу. У Денисова, жившего роскошно, потому что солдаты его эскадрона любили его, была еще доска в фронтоне крыши, и в доске этой было разбитое, но склеенное стекло. Когда было очень холодно, то к ступеням (в приемную, как называл Денисов эту часть

балагана) приносили на железном загнутом листе жар из солдатских костров, и делалось так тепло, что офицеры, которых много всегда бывало у Денисова и Ростова, сидели в одних рубашках.

В апреле месяце Ростов был дежурным. В восьмом часу утра, вернувшись домой после бессонной ночи, он велел принести жару, переменил измокшее от дождя белье, помолился богу, напился чаю, согрелся, убрал в порядок вещи в своем уголке и на столе и, с обветрившимся, горевшим лицом, в одной рубашке, лег на спину, заложив руки под голову. Он приятно размышлял о том, что на днях должен выйти ему следующий чин за последнюю рекогносцировку, и ожидал куда-то вышедшего Денисова. Ростову хотелось поговорить с ним.

За шалашом послышался перекатывающийся крик Денисова, очевидно, разгорячившегося. Ростов подвинулся к окну посмотреть, с кем он имел дело, и увидал вахмистра Топчеенку.

— Я тебе пг'иказывал не пускать их жг'ать этот ког'ень, машкин какой-то! — кричал Денисов. — Ведь я сам видел, Лазаг'чук с поля тащил.

— Я приказывал, ваше высокоблагородие, не слушают, — отвечал вахмистр.

Ростов опять лег на свою кровать и с удовольствием подумал: «Пускай его теперь возится и хлопочет, я свое дело отделал и лежу — отлично!» Из-за стенки он слышал, что, кроме вахмистра, говорил еще Лаврушка, этот бойкий плутоватый лакей Денисова. Лаврушка что-то рассказывал о каких-то подводах, сухарях и быках, которых он видел, ездивши за провизией.

За балаганом послышался опять удаляющийся крик Денисова и слова: «Седлай... Втог'ой взвод!»

«Куда это собрались?» — подумал Ростов.

Через пять минут Денисов вошел в балаган, влез с грязными ногами на кровать, сердито выкурил трубку, раскидал все свои вещи, надел нагайку и саблю и стал выходить из землянки. На вопрос Ростова: куда? — он сердито и неопределенно отвечал, что есть дело.

— Суди меня там бог и великий государь! — сказал Денисов, выходя; и Ростов услыхал, как за балаганом зашлепали по грязи ноги нескольких лошадей. Ростов не позаботился даже узнать, куда поехал Денисов. Угревшись в своем угле, он заснул и перед вечером только вышел из балагана. Денисов еще не возвращался. Вечер раз-

гулялся; около соседней землянки два офицера с юнкером играли в свайку, со смехом засаживая редьки в рыхлую грязную землю. Ростов присоединился к ним. В середине игры офицеры увидали подъезжавшие к ним повозки: человек пятнадцать гусар на худых лошадях следовали за ними. Повозки, конвоируемые гусарами, подъехали к коновязям, и толпа гусар окружила их.

— Ну вот, Денисов все тужил, — сказал Ростов, — вот и провиант прибыл.

— И то! — сказали офицеры. — То-то радешеньки солдаты! — Немного позади гусар ехал Денисов, сопутствуемый двумя пехотными офицерами, с которыми он о чем-то разговаривал. Ростов пошел к нему навстречу.

— Я вас предупреждаю, ротмистр, — говорил один из офицеров, худой, маленький ростом и, видимо, озлобленный.

— Ведь сказал, что не отдам, — отвечал Денисов.

— Вы будете отвечать, ротмистр, это буйство — у своих транспорты отбивать! Наши люди два дня не ели.

— А мои две недели не ели, — отвечал Денисов.

— Это разбой, ответите, милостивый государь! — возвышая голос, повторил пехотный офицер.

— Да вы что ко мне пг'истали? А? — крикнул Денисов, вдруг разгорячась. — Отвечать буду я, а не вы, а вы тут не жужжите, пока целы. Маг'ш! — крикнул он на офицеров.

— Хорошо же! — не робея и не отъезжая, кричал маленький офицер. — Разбойничать, так я вам...

— К чег'ту маг'шског'ым шагом, пока цел. — И Денисов повернул лошадь к офицеру.

— Хорошо, хорошо, — проговорил офицер с угрозой и, повернув лошадь, поехал прочь рысью, трясясь на седле.

— Собака на забог'е, живая собака на забог'е, — сказал Денисов ему вслед — высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным, и, подъехав к Ростову, расхохотался.

— Отбил у пехоты, отбил силой тг'анспог'т! — сказал он. — Что ж, не с голоду же издыхать людям?

Повозки, которые подъехали к гусарам, были назначены в пехотный полк, но, известившись через Лаврушку, что этот транспорт идет один, Денисов с гусарами силой отбил его. Солдатам раздали сухарей вволю, поделились даже с другими эскадронами.

На другой день полковой командир позвал к себе Денисова и сказал ему, закрыв раскрытыми пальцами глаза: «Я на это смотрю вот так, я ничего не знаю и дела не начну; но советую съездить в штаб и там, в провиантском ведомстве, уладить это дело и, если возможно, расписаться, что получили столько-то провианту; в противном случае — требованье записано на пехотный полк — дело поднимется и может кончиться дурно».

Денисов прямо от полкового командира поехал в штаб, с искренним желанием исполнить его совет. Вечером он возвратился в свою землянку в таком положении, в котором Ростов еще никогда не видал своего друга. Денисов не мог говорить и задыхался. Когда Ростов спрашивал его, что с ним, он только хриплым и слабым голосом произносил непонятные ругательства и угрозы.

Испуганный положением Денисова, Ростов предлагал ему раздеться, выпить воды и послал за лекарем.

— Меня за г'азбой судить — ох! Дай еще воды — пускай судят, а буду, всегда буду подлецов бить, и госудаг'ю скажу. Льду дайте, — приговаривал он.

Пришедший полковой лекарь сказал, что необходимо пустить кровь. Глубокая тарелка черной крови вышла из мохнатой руки Денисова, и тогда только он был в состоянии рассказать все, что с ним было.

— Приезжаю, — рассказывал Денисов. — «Ну, где у вас тут начальник?» Показали. «Подождать не угодно ли». — «У меня служба, я за тридцать верст приехал, мне ждать некогда, доложи». Хорошо, выходит этот обер-вор: тоже вздумал учить меня. «Это разбой!» — «Разбой, говорю, не тот делает, кто берет провиант, чтобы кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтобы класть в карман!» Хорошо. «Распишитесь, говорит, у комиссионера, а дело ваше передастся по команде». Прихожу к комиссионеру. Вхожу — за столом... кто же?! Нет, ты подумай!.. Кто же нас голодом морит, — закричал Денисов, ударяя кулаком больной руки по столу так крепко, что стол чуть не упал и стаканы поскакали на нем. — Телянин!! «Так, ты нас с голоду моришь?!» Раз, раз по морде, ловко так пришлось... «А!.. распротакой-сякой...» и начал катать! Зато натешился, могу сказать, — кричал Денисов, радостно и злобно из-под черных усов оскаливая свои белые зубы. — Я бы убил его, кабы не отняли.

— Да что ж ты кричишь, успокойся, — говорил Ростов. — Вот опять кровь пошла. Постой же, перебинтовать надо.

Денисова перебинтовали и уложили спать. На другой день он проснулся веселый и спокойный.

Но в полдень адъютант полка с серьезным и печальным лицом пришел в общую землянку Денисова и Ростова и с прискорбием показал форменную бумагу к майору Денисову от полкового командира, в которой делались запросы о вчерашнем происшествии. Адъютант сообщил, что дело должно принять весьма дурной оборот, что назначена военно-судная комиссия и что при настоящей строгости касательно мародерства и своевольства войск, в счастливом случае — дело может кончиться разжалованьем.

Дело представлялось со стороны обиженных в таком виде, что после отбития транспорта майор Денисов без всякого вызова, в пьяном виде, явился к обер-провиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями, и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.

Денисов на новые вопросы Ростова, смеясь, сказал, что, кажется, тут точно другой какой-то подвернулся, но что это вздор, пустяки, что он и не думает бояться никаких судов, и что ежели эти подлецы осмелятся задрать его, он им ответит так, что они будут помнить.

Денисов говорил пренебрежительно о всем этом деле; но Ростов знал его слишком хорошо, чтобы не заметить, что он в душе (скрывая это от других) боялся суда и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь дурные последствия. Каждый день стали приходить бумаги-запросы, требования к суду, и первого мая предписано было Денисову сдать старшему по себе эскадрон и явиться в штаб дивизии для объяснений по делу о буйстве в провиантской комиссии. Накануне этого дня Платов делал рекогносцировку неприятеля с двумя казачьими полками и двумя эскадронами гусар. Денисов, как всегда, выехал вперед цепи, щеголяя своей храбростью. Одна из пуль, пущенных французскими стрелками, попала ему в мякоть верхней части ноги. Может быть, в другое время Денисов с такой легкой раной не уехал бы от полка, но теперь он воспользовался этим случаем, отказался от явки в дивизию и уехал в госпиталь.

XVII

В июне месяце произошло Фридландское сражение, в котором не участвовали павлоградцы, и вслед за ним объявлено было перемирие. Ростов, тяжело чувствовавший отсутствие своего друга, не имея со времени его отъезда никаких известий о нем и беспокоясь о ходе его дела и раны, воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова.

Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище.

В каменном доме, на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных, бледных и опухших солдат ходили и сидели на дворе на солнышке.

Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встретил военного русского доктора с сигарою во рту. За доктором шел русский фельдшер.

— Не могу же я разорваться, — говорил доктор, — приходи вечерком к Макару Алексеевичу, я там буду. — Фельдшер что-то еще спросил у него.

— Э! делай как знаешь! Разве не все равно? — Доктор увидал подымающегося на лестницу Ростова.

— Вы зачем, ваше благородие? — сказал доктор. — Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных.

— Отчего? — спросил Ростов.

— Тиф, батюшка. Кто ни взойдет — смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут треплемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло. Как поступит новенький, через недельку готов, — с видимым удовольствием сказал доктор. — Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши.

Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора Денисова.

— Не знаю, не ведаю, батюшка. Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, четыреста больных с

лишком! Еще хорошо, прусские дамы-благодетельницы нам кофею и корпию присылают по два фунта в месяц, а то бы пропали. — Он засмеялся. — Четыреста, батюшка; а мне все новеньких присылают. Ведь четыреста есть? А? — обратился он к фельдшеру.

Фельдшер имел измученный вид. Он, видимо, с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор.

— Майор Денисов, — повторил Ростов, — он под Молитеном ранен был.

— Кажется, умер. А, Макеев? — равнодушно спросил доктор у фельдшера.

Фельдшер, однако, не подтвердил слов доктора.

— Что, он такой длинный, рыжеватый? — спросил доктор.

Ростов описал наружность Денисова.

— Был, был такой, — как бы радостно проговорил доктор, — этот, должно быть, умер, а впрочем, я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?

— Списки у Макара Алексеича, — сказал фельдшер. — А пожалуйте в офицерские палаты, там сами увидите, — прибавил он, обращаясь к Ростову.

— Эх, лучше не ходить, батюшка, — сказал доктор, — а то как бы сами тут не остались! — Но Ростов откланялся доктору и попросил фельдшера проводить его.

— Не пенять же, чур, на меня, — прокричал доктор из-под лестницы.

Ростов с фельдшером вошли в коридор. Больничный запах был так силен в этом темном коридоре, что Ростов схватился за нос и должен был остановиться, чтобы собраться с силами и идти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костылях худой, желтый человек, босой и в одном белье. Он, упершись о притолоку, блестящими, завистливыми глазами поглядел на проходящих. Заглянув в дверь, Ростов увидал, что больные и раненые лежали там на полу, на соломе и шинелях.

— Что же это? — спросил он.

— Это солдатские, — отвечал фельдшер. — Что же делать, — прибавил он, как будто извиняясь.

— А можно войти посмотреть? — спросил Ростов.

— Что же смотреть? — сказал фельдшер. Но именно потому, что фельдшер, очевидно, не желал впустить туда, Ростов вошел в солдатские палаты. Запах, к которому он уже успел придышаться в коридоре, здесь был еще силь-

нее. Запах этот здесь несколько изменился: он был резче, и чувствительно было, что отсюда-то именно он и происходил.

В длинной комнате, ярко освещенной солнцем в большие окна, в два ряда, головами к стенам и оставляя проход посередине, лежали больные и раненые. Бо́льшая часть из них были в забытьи и не обратили внимания на вошедших. Те, которые были в памяти, все приподнялись или подняли свои худые, желтые лица, и все с одним и тем же выражением надежды на помощь, упрека и зависти к чужому здоровью, не спуская глаз, смотрели на Ростова. Ростов вышел на середину комнаты, заглянул в соседние две комнаты с растворенными дверями, и с обеих сторон увидал то же самое. Он остановился, молча оглядываясь вокруг себя. Он никак не ожидал видеть это. Перед самым им лежал почти поперек среднего прохода, на голом полу, больной, вероятно, казак, потому что волосы его были обстрижены в скобку. Казак этот лежал навзничь, раскинув огромные руки и ноги. Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно закачены, так что видны были одни белки, и на босых ногах его и на руках, еще красных, жилы напружились, как веревки. Он стукнулся затылком о пол и что-то хрипло проговорил и стал повторять это слово. Ростов прислушался к тому, что он говорил, и разобрал повторяемое им слово. Слово это было: испить — пить — испить! Ростов оглянулся, отыскивая того, кто бы мог уложить на место этого больного и дать ему воды.

— Кто ж тут ходит за больными? — спросил он фельдшера. В это время из соседней комнаты вышел фурштатский солдат, больничный служитель, и, отбивая шаг, вытянулся перед Ростовым.

— Здравия желаю, выше высокоблагородие! — прокричал этот солдат, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его за больничное начальство.

— Убери же его, дай ему воды, — сказал Ростов, указывая на казака.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — с удовольствием проговорил солдат, еще старательнее выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь с места.

«Нет, тут ничего не сделаешь», — подумал Ростов, опустив глаза, и хотел уже выходить, но с правой стороны он чувствовал устремленный на себя значительный взгляд и оглянулся на него. Почти в самом углу на шинели си-

дел с желтым, как скелет, худым, строгим лицом и с небритой седой бородой старый солдат и упорно смотрел на Ростова. С одной стороны сосед старого солдата что-то шептал ему, указывая на Ростова. Ростов понял, что старик намерен о чем-то просить его. Он подошел ближе и увидал, что у старика была согнута только одна нога, а другой совсем не было выше колена. Другой сосед старика, неподвижно лежавший с закинутой головой, довольно далеко от него, был молодой солдат с восковой бледностью на курносом, покрытом еще веснушками, лице и с закаченными под веки глазами. Ростов поглядел на курносого солдата, и мороз пробежал по его спине.

— Да ведь этот, кажется... — обратился он к фельдшеру.

— Уж как просили, ваше благородие, — сказал старый солдат с дрожанием нижней челюсти. — Еще утром кончился. Ведь тоже люди, а не собаки...

— Сейчас пришлю, уберут, уберут, — поспешно сказал фельдшер. — Пожалуйте, ваше благородие.

— Пойдем, пойдем! — поспешно сказал Ростов и, опустив глаза и сжавшись, стараясь пройти незамеченным сквозь строй этих укоризненных и завистливых глаз, устремленных на него, он вышел из комнаты.

XVIII

Пройдя коридор, фельдшер ввел Ростова в офицерские палаты, состоявшие из трех, с растворенными дверями, комнат. В комнатах этих были кровати; раненые и больные офицеры сидели и лежали на них. Некоторые в больничных халатах ходили по комнатам. Первое лицо, встретившееся Ростову в офицерских палатах, был маленький, худой человек без руки, в колпаке и больничном халате, с закушенной трубочкой ходивший в первой комнате. Ростов, вглядываясь в него, старался вспомнить, где он его видел.

— Вот где бог привел свидеться, — сказал маленький человек. — Тушин, Тушин — помните, довез вас под Шенграбеном? А мне кусочек отрезали, вот... — сказал он, улыбаясь и указывая на пустой рукав халата. — Василья Дмитрича Денисова ищете? Сожитель, — сказал он, узнав, кого нужно было Ростову. — Здесь, здесь, — и Тушин

повел его в другую комнату, из которой слышался хохот нескольких голосов.

«И как они могут не только хохотать, но жить тут?» — думал Ростов, все слыша еще этот запах мертвого тела, которого он набрался в солдатском госпитале, и все еще видя вокруг себя эти завистливые взгляды, провожавшие его с обеих сторон, и лицо этого молодого солдата с закаченными глазами.

Денисов, закрывшись с головой одеялом, спал на постели, несмотря на то, что был двенадцатый час дня.

— А! Г'остов! Здог'ово! Здог'ово! — закричал он все тем же голосом, как, бывало, и в полку; но Ростов с грустью заметил, как за этой привычной развязностью и оживленностью какое-то новое, дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении лица, в интонациях и словах Денисова.

Рана его, несмотря на свою ничтожность, все еще не заживала, хотя уже прошло шесть недель, как он был ранен. В лице его была та же бледная опухлость, которая была на всех гошпитальных лицах. Но не это поразило Ростова; его поразило то, что Денисов как будто не рад был ему и неестественно ему улыбался. Денисов не расспрашивал ни про полк, ни про общий ход дела. Когда Ростов говорил про это, Денисов не слушал.

Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той, другой, вольной жизни, которая шла вне госпиталя. Он, казалось, старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим делом с провиантскими чиновниками. На вопрос Ростова, в каком положении было дело, он тотчас достал из-под подушки бумагу, полученную из комиссии, и свой черновой ответ на нее. Он оживился, начав читать свою бумагу, и особенно давал заметить Ростову колкости, которые он в этой бумаге говорил своим врагам. Госпитальные товарищи Денисова, окружившие было Ростова — вновь прибывшее из вольного света лицо, — стали понемногу расходиться, как только Денисов стал читать свою бумагу. По их лицам Ростов понял, что все эти господа уже не раз слышали всю эту успевшую им надоесть историю. Только сосед на кровати, толстый улан, сидел на своей койке, мрачно нахмурившись и куря трубку, и маленький Тушин без руки продолжал слушать, неодо-

брительно покачивая головой. В середине чтения улан перебил Денисова.

— А по мне, — сказал он, обращаясь к Ростову, — надо просто просить государя о помиловании. Теперь, говорят, награды будут большие, и, верно, простят...

— Мне просить государя! — сказал Денисов голосом, которому он хотел придать прежнюю энергию и горячность, но который звучал бесполезной раздражительностью. — О чем? Ежели бы я был разбойник, я бы просил милости, а то я сужусь за то, что вывожу на чистую воду разбойников. Пускай судят, я никого не боюсь; я честно служил царю и отечеству и не крал! И меня разжаловать, и... Слушай, я так прямо и пишу им, вот я пишу: «ежели бы я был казнокрад...»

— Ловко написано, что и говорить, — сказал Тушин. — Да не в том дело, Василий Дмитрич, — он тоже обратился к Ростову, — покориться надо, а вот Василий Дмитрич не хочет. Ведь аудитор говорил вам, что дело ваше плохо.

— Ну, пускай будет плохо, — сказал Денисов.

— Вам написал аудитор просьбу, — продолжал Тушин, — и надо подписать, да вот с ними и отправить. У них, верно (он указал на Ростова), и рука в штабе есть. Уж лучше случая не найдете.

— Да ведь я сказал, что подличать не стану, — перебил Денисов и опять продолжал чтение своей бумаги.

Ростов не смел уговаривать Денисова, хотя он инстинктом чувствовал, что путь, предлагаемый Тушиным и другими офицерами, был самый верный, и хотя он считал бы себя счастливым, ежели бы мог оказать помощь Денисову: он знал непреклонность воли Денисова и его правдивую горячность.

Когда кончилось чтение ядовитых бумаг Денисова, продолжавшееся более часа, Ростов ничего не сказал и, в самом грустном расположении духа, в обществе опять собравшихся около него госпитальных товарищей Денисова провел остальную часть дня, рассказывая про то, что он знал, и слушая рассказы других. Денисов мрачно молчал в продолжение всего вечера.

Поздно вечером Ростов собрался уезжать и спросил Денисова, не будет ли каких поручений.

— Да, постой, — сказал Денисов, оглянулся на офицеров и, достав из-под подушки свои бумаги, пошел к окну, на котором у него стояла чернильница, и сел писать.

— Видно, плетью обуха не пег'ешибешь, — сказал он, отходя от окна и подавая Ростову большой конверт. Это была просьба на имя государя, составленная аудитором, в которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, просил только о помиловании.

— Пег'едай, видно... — Он не договорил и улыбнулся болезненно-фальшивой улыбкой.

XIX

Вернувшись в полк и передав командиру, в каком положении находилось дело Денисова, Ростов с письмом к государю поехал в Тильзит.

13-го июня французский и русский императоры съехались в Тильзите. Борис Друбецкой просил важное лицо, при котором он состоял, о том, чтобы быть причислену к свите, назначенной состоять в Тильзите.

— Je voudrais voir le grand homme [1], — сказал он, говоря про Наполеона, которого он до сего времени всегда, как и все, называл Буонапарте.

— Vous parlez de Buonaparte? [2] — сказал ему, улыбаясь, его генерал.

Борис вопросительно посмотрел на своего генерала и тотчас же понял, что это было шуточное испытание.

— Mon prince, je parle de l'empereur Napoléon [3], — отвечал он. Генерал с улыбкой потрепал его по плечу.

— Ты далеко пойдешь, — сказал он ему и взял с собою.

Борис в числе немногих был на Немане в день свидания императоров; он видел плоты с вензелями, проезд Наполеона по тому берегу мимо французской гвардии, видел задумчивое лицо императора Александра в то время, как он молча сидел в корчме на берегу Немана, ожидая прибытия Наполеона; видел, как оба императора сели в лодки и как Наполеон, приставши прежде к плоту, быстрыми шагами пошел вперед и, встречая Александра, подал ему руку, и как оба скрылись в павильоне. Со времени своего вступления в высшие миры Борис сделал себе привычку внимательно наблюдать то, что происхо-

---

[1] Я бы желал видеть великого человека.
[2] Вы говорите о Буонапарте?
[3] Князь, я говорю об императоре Наполеоне.

дило вокруг него, и записывать. Во время свидания в Тильзите он расспрашивал об именах тех лиц, которые приехали с Наполеоном, о мундирах, которые были на них надеты, и внимательно прислушивался к словам, которые были сказаны важными лицами. В то самое время, как императоры вошли в павильон, он посмотрел на часы и не забыл посмотреть опять в то время, когда Александр вышел из павильона. Свидание продолжалось час и пятьдесят три минуты; он так и записал это в тот вечер в числе других фактов, которые, он полагал, имели историческое значение. Так как свита императора была очень небольшая, то для человека, дорожащего успехом по службе, находиться в Тильзите во время свидания императоров было делом очень важным, и Борис, попав в Тильзит, чувствовал, что с этого времени положение его совершенно утвердилось. Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные уже не только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было.

Борис жил с другим адъютантом, польским графом Жилинским. Жилинский, воспитанный в Париже поляк, был богат, страстно любил французов, и почти каждый день во время пребывания в Тильзите к Жилинскому и Борису собирались на обеды и завтраки французские офицеры из гвардии и главного французского штаба.

24-го июня, вечером, граф Жилинский, сожитель Бориса, устроил для своих знакомых французов ужин. На ужине этом был почетный гость — один адъютант Наполеона, несколько офицеров французской гвардии и молодой мальчик старой аристократической французской фамилии, паж Наполеона. В этот самый день Ростов, пользуясь темнотой, чтобы не быть узнанным, в статском платье, приехал в Тильзит и вошел в квартиру Жилинского и Бориса.

В Ростове, так же как и во всей армии, из которой он приехал, еще далеко не совершился в отношении Наполеона и французов, из врагов сделавшихся друзьями, тот переворот, который произошел в главной квартире и в Борисе. Все еще продолжали в армии испытывать прежнее смешанное чувство злобы, презрения и страха к Бонапарте и французам. Еще недавно Ростов, разговаривая с платовским казачьим офицером, спорил о том,

что ежели бы Наполеон был взят в плен, то с ним бы обратились не как с государем, а как с преступником. Еще недавно на дороге, встретившись с французским раненым полковником, Ростов разгорячился, доказывая ему, что не может быть мира между законным государем и преступником Бонапартом. Поэтому Ростова странно поразил в квартире Бориса вид французских офицеров в тех самых мундирах, на которые он привык совсем иначе смотреть из фланкерской цепи. Как только он увидал высунувшегося из двери французского офицера, это чувство войны, враждебности, которое он всегда испытывал при виде неприятеля, вдруг обхватило его. Он остановился на пороге и по-русски спросил, тут ли живет Друбецкой. Борис, заслышав чужой голос в передней, вышел к нему навстречу. Лицо его в первую минуту, когда он узнал Ростова, выразило досаду.

— Ах, это ты, очень рад, очень рад тебя видеть, — сказал он, однако, улыбаясь и подвигаясь к нему. Но Ростов заметил первое его движение.

— Я не вовремя, кажется, — сказал он, — я бы не приехал, но мне дело есть, — сказал он холодно...

— Нет, я только удивляюсь, как ты из полка приехал. — Dans un moment je suis à vous[1], — обратился он на голос, звавший его.

— Я вижу, что я не вовремя, — повторил Ростов.

Выражение досады уже исчезло на лице Бориса; видимо, обдумав и решив, что ему делать, он с особенным спокойствием взял его за обе руки и повел в соседнюю комнату. Глаза Бориса, спокойно и твердо глядевшие на Ростова, были как будто застланы чем-то, как будто какая-то заслонка — синие очки общежития были надеты на них. Так казалось Ростову.

— Ах, полно, пожалуйста, можешь ли ты быть не вовремя, — сказал Борис. Борис ввел его в комнату, где был накрыт ужин, познакомил с гостями, назвав его и объяснив, что он был не штатский, но гусарский офицер, его старый приятель. — Граф Жилинский, le comte N. N., le capitaine S. S.[2], — называл он гостей. Ростов нахмуренно глядел на французов, неохотно раскланивался и молчал.

Жилинский, видимо, не радостно принял это новое русское лицо в свой кружок и ничего не сказал Ростову.

---

[1] Сейчас я к вашим услугам.

[2] Граф Н. Н., капитан С. С.

Борис, казалось, не замечал происшедшего стеснения от появления нового лица и с тем же приятным спокойствием и застланностью в глазах, с которыми он встретил Ростова, старался оживить разговор. Один из французов обратился с обыкновенной французской учтивостью к упорно молчавшему Ростову и сказал ему, что, вероятно, для того, чтобы увидать императора, он приехал в Тильзит.

— Нет, у меня есть дело, — коротко отвечал Ростов.

Ростов сделался не в духе тотчас же после того, как он заметил неудовольствие на лице Бориса, и, как это всегда бывает с людьми, которые не в духе, ему казалось, что все неприязненно смотрят на него и что всем он мешает. И действительно, он мешал всем и один оставался вне вновь завязавшегося общего разговора. «И зачем он сидит тут?» — говорили взгляды, которые бросали на него гости. Он встал и подошел к Борису.

— Однако я тебя стесняю, — сказал он ему тихо, — пойдем поговорим о деле, и я уйду.

— Да нет, нисколько, — сказал Борис. — А ежели ты устал, пойдем в мою комнату и ложись отдохни.

— И в самом деле...

Они вошли в маленькую комнатку, где спал Борис. Ростов, не садясь, тотчас же с раздражением — как будто Борис был в чем-нибудь виноват перед ним — начал ему рассказывать дело Денисова, спрашивая, хочет ли и может ли он просить о Денисове через своего генерала у государя и через него передать письмо. Когда они остались вдвоем, Ростов в первый раз убедился, что ему неловко было смотреть в глаза Борису. Борис, заложив ногу на ногу и поглаживая левой рукой тонкие пальцы правой руки, слушал Ростова, как слушает генерал доклад подчиненного, то глядя в сторону, то, с тою же застланностию во взгляде, прямо глядя в глаза Ростову. Ростову всякий раз при этом становилось неловко, и он опускал глаза.

— Я слыхал про такого рода дела и знаю, что государь очень строг в этих случаях. Я думаю, надо бы не доводить до его величества. По-моему, лучше бы прямо просить корпусного командира... Но вообще я думаю...

— Так ты ничего не хочешь сделать, так и скажи! — закричал почти Ростов, не глядя в глаза Борису.

Борис улыбнулся:

— Напротив, я сделаю, что могу, только я думал...

В это время в двери послышался голос Жилинского, звавший Бориса.

— Ну, иди, иди, — сказал Ростов, и, отказавшись от ужина и оставшись один в маленькой комнатке, он долго ходил в ней взад и вперед и слушал веселый французский говор из соседней комнаты.

XX

Ростов приехал в Тильзит в день, менее всего удобный для ходатайства за Денисова. Самому ему нельзя было идти к дежурному генералу, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит, а Борис, ежели бы даже и хотел, не мог сделать этого на другой день после приезда Ростова. В тот день, 27-го июня, были подписаны первые условия мира. Императоры поменялись орденами: Александр получил Почетного легиона, а Наполеон Андрея 1-й степени, и в этот день был назначен обед Преображенскому батальону, который давал ему батальон французской гвардии. Государи должны были присутствовать на этом банкете.

Ростову было так неловко и неприятно с Борисом, что, когда после ужина Борис заглянул к нему, он притворился спящим и на другой день рано утром, стараясь не видеть его, ушел из дома. Во фраке и круглой шляпе Николай бродил по городу, разглядывая французов и их мундиры, разглядывая улицы и дома, где жили русский и французский императоры. На площади он видел расставляемые столы и приготовления к обеду, на улицах видел перекинутые драпировки с знаменами русских и французских цветов и огромные вензеля А. и N. В окнах домов были тоже знамена и вензеля.

«Борис не хочет помочь мне, да и я не хочу обращаться к нему. Это дело решенное, — думал Николай, — между нами все кончено, но я не уеду отсюда, не сделав все, что могу, для Денисова и, главное, не передав письма государю. Государю?! Он тут!» — думал Ростов, подходя невольно опять к дому, занимаемому Александром.

У дома этого стояли верховые лошади и съезжалась свита, видимо, приготовляясь к выезду государя.

«Всякую минуту я могу увидать его, — думал Ростов. — Если бы только я мог прямо передать ему письмо и сказать все... неужели меня бы арестовали за фрак? Не может быть! Он бы понял, на чьей стороне справедливость. Он все понимает, все знает. Кто же может быть

справедливее и великодушнее его? Ну, да ежели бы меня и арестовали бы за то, что я здесь, что ж за беда? — думал он, глядя на офицера, всходившего в дом, занимаемый государем. — Ведь вот всходят же! Э! все вздор! Пойду и подам сам письмо государю: тем хуже будет для Друбецкого, который довел меня до этого». И вдруг, с решительностью, которой он сам не ждал от себя, Ростов, ощупав письмо в кармане, пошел прямо к дому, занимаемому государем.

«Нет, теперь уже не упущу случая, как после Аустерлица, — думал он, ожидая всякую секунду встретить государя и чувствуя прилив крови к сердцу при этой мысли. — Упаду в ноги и буду просить его. Он поднимет, выслушает и еще поблагодарит меня». «Я счастлив, когда могу сделать добро, но исправить несправедливость есть величайшее счастье», — воображал Ростов слова, которые скажет ему государь. И он пошел мимо любопытно смотревших на него на крыльцо занимаемого государем дома.

С крыльца широкая лестница вела прямо наверх; направо видна была затворенная дверь. Внизу под лестницей была дверь в нижний этаж.

— Кого вам? — спросил кто-то.

— Подать письмо, просьбу его величеству, — сказал Николай с дрожанием голоса.

— Просьба — к дежурному, пожалуйте сюда (ему указали на дверь внизу). Только не примут.

Услыхав этот равнодушный голос, Ростов испугался того, что он делал; мысль встретить всякую минуту государя так соблазнительна и оттого так страшна была для него, что он готов был бежать, но камер-фурьер, встретивший его, отворил ему дверь в дежурную, и Ростов вошел.

Невысокий полный человек, лет тридцати, в белых панталонах, ботфортах и в одной, видно, только что надетой, батистовой рубашке, стоял в этой комнате; камердинер застегивал ему сзади шитые шелком прекрасные новые помочи, которые почему-то заметил Ростов. Человек этот разговаривал с кем-то бывшим в другой комнате.

— Bien faite et la beauté du diable [1], — говорил этот человек и, увидав Ростова, перестал говорить и нахмурился.

— Что вам угодно? Просьба?..

— Qu'est ce que c'est? [2] — спросил кто-то из другой комнаты.

---

[1] Хорошо сложена и свеженькая.
[2] Что это?

— Encore un petitionnaire [1], — отвечал человек в помочах.

— Скажите ему, что после. Сейчас выйдет, надо ехать.

— После, после, завтра. Поздно...

Ростов повернулся и хотел выйти, но человек в помочах остановил его.

— От кого? Вы кто?

— От майора Денисова, — отвечал Ростов.

— Вы кто? офицер?

— Поручик, граф Ростов.

— Какая смелость! По команде подайте. А сами идите, идите... — И он стал надевать подаваемый камердинером мундир.

Ростов вышел опять в сени и заметил, что на крыльце было уже много офицеров и генералов в полной парадной форме, мимо которых ему надо было пройти.

Проклиная свою смелость, замирая от мысли, что всякую минуту он может встретить государя и при нем быть осрамлен и выслан под арест, понимая вполне всю неприличность своего поступка и раскаиваясь в нем, Ростов, опустив глаза, пробирался вон из дома, окруженного толпой блестящей свиты, когда чей-то знакомый голос окликнул его и чья-то рука остановила его.

— Вы, батюшка, что тут делаете во фраке? — спросил его басистый голос.

Это был кавалерийский генерал, в эту кампанию заслуживший особую милость государя, бывший начальник дивизии, в которой служил Ростов.

Ростов испуганно начал оправдываться, но, увидав добродушно-шутливое лицо генерала, отойдя к стороне, взволнованным голосом передал ему все дело, прося заступиться за известного генералу Денисова. Генерал, выслушав Ростова, серьезно покачал головой.

— Жалко, жалко, молодца; давай письмо.

Едва Ростов успел передать письмо и рассказать все дело Денисова, как с лестницы застучали быстрые шаги со шпорами, и генерал, отойдя от него, подвинулся к крыльцу. Господа свиты государя сбежали с лестницы и пошли к лошадям. Берейтор Эне, тот самый, который был в Аустерлице, подвел лошадь государя, и на лестнице послышался легкий скрип шагов, которые сейчас узнал Ростов. Забыв опасность быть узнанным, Ростов подвинулся с несколькими любопытными из жителей к самому

[1] Еще проситель.

крыльцу и опять, после двух лет, он увидал те же обожаемые им черты, то же лицо, тот же взгляд, ту же походку, то же соединение величия и кротости... И чувство восторга и любви к государю с прежнею силою воскресло в душе Ростова. Государь в преображенском мундире, в белых лосинах и высоких ботфортах, со звездой, которую не знал Ростов (это была Légion d'Honneur [1]), вышел на крыльцо, держа шляпу под рукой и надевая перчатку. Он остановился, оглядываясь и все освещая вокруг себя своим взглядом. Кое-кому из генералов он сказал несколько слов. Он узнал тоже бывшего начальника дивизии Ростова, улыбнулся ему и подозвал его к себе.

Вся свита отступила, и Ростов видел, как генерал этот что-то довольно долго говорил государю.

Государь сказал ему несколько слов и сделал шаг, чтобы подойти к лошади. Опять толпа свиты и толпа улицы, в которой был Ростов, придвинулась к государю. Остановившись у лошади и взявшись рукою за седло, государь обратился к кавалерийскому генералу и сказал громко, очевидно, с желанием, чтобы все слышали его.

— Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня, — сказал государь и занес ногу в стремя. Генерал почтительно наклонил голову, государь сел и поехал галопом по улице. Ростов, не помня себя от восторга, с толпою побежал за ним.

XXI

На площади, куда поехал государь, стояли лицом к лицу справа батальон преображенцев, слева батальон французской гвардии в медвежьих шапках.

В то время как государь подъезжал к одному флангу батальонов, сделавших на караул, к противоположному флангу подскакивала другая толпа всадников, и впереди их Ростов узнал Наполеона. Это не мог быть никто другой. Он ехал галопом, в маленькой шляпе, с андреевской лентой через плечо, в раскрытом над белым камзолом синем мундире, на необыкновенно породистой арабской серой лошади, на малиновом, золотом шитом чепраке. Подъехав к Александру, он приподнял шляпу, и при этом движении кавалерийский глаз Ростова не мог не заметить, что Наполеон дурно и нетвердо сидел на лошади. Ба-

[1] звезда Почетного легиона.

тальоны закричали: «Ура» и «Vive l'Empereur!»[1]. Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки. На лице Наполеона была неприятно-притворная улыбка. Александр с ласковым выражением что-то говорил ему.

Ростов, не спуская глаз, несмотря на топтание лошадьми французских жандармов, осаживавших толпу, следил за каждым движением императора Александра и Бонапарте. Его, как неожиданность, поразило то, что Александр держал себя как равный с Бонапарте и что Бонапарте совершенно свободно, будто эта близость с государем естественна и привычна ему, как равный обращался с русским царем.

Александр и Наполеон с длинным хвостом свиты подошли к правому флангу Преображенского батальона, прямо на толпу, которая стояла тут. Толпа очутилась неожиданно так близко к императорам, что Ростову, стоявшему в передних рядах ее, стало страшно, как бы его не узнали.

— Sire, je vous demande la permission de donner la Légion d'Honneur au plus brave de vos soldats[2], — сказал резкий, точный голос, договаривающий каждую букву.

Это говорил малый ростом Бонапарте, снизу прямо глядя в глаза Александру. Александр внимательно слушал то, что ему говорили, и, наклонив голову, приятно улыбнулся.

— A celui qui s'est le plus vaillament conduit dans cette dernière guerre[3], — прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог, с возмутительным для Ростова спокойствием и уверенностью оглядывая ряды русских, вытянувшихся перед ним солдат, всё держащих на караул и неподвижно глядящих в лицо своего императора.

— Votre majesté me permettra-t-elle de demander l'avis du colonel[4], — сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю Козловскому, командиру батальона. Бонапарте между тем стал снимать перчатку с белой маленькой руки и, разорвав ее, бросил. Адъютант, сзади торопливо бросившись вперед, поднял ее.

---

[1] «Виват, император!»

[2] Государь, я прошу вашего позволения дать орден Почетного легиона храбрейшему из ваших солдат.

[3] Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну.

[4] Позвольте мне, ваше величество, спросить мнение полковника.

— Кому дать? — не громко, по-русски спросил император Александр у Козловского.

— Кому прикажете, ваше величество.

Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал:

— Да ведь надобно же отвечать ему.

Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова.

«Уж не меня ли?» — подумал Ростов.

— Лазарев! — нахмурившись, прокомандовал полковник; и первый по ранжиру солдат, Лазарев, бойко вышел вперед.

— Куда ж ты? Тут стой! — зашептали голоса на Лазарева, не знавшего, куда ему идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронт.

Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая что-то один другому, и паж, тот самый, которого вчера видел Ростов у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой рукой и не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее орден на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутился между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя, и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал теперь, он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтоб его, Наполеонова рука, удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип, потому что и русские и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Лазарев мрачно взглянул на маленького человека с белыми руками, который что-то сделал над ним, и, продолжая неподвижно держать на караул, опять прямо стал глядеть

в глаза Александру, как будто он спрашивал Александра: все ли еще стоять ему, или не прикажут ли ему пройтись теперь, или, может быть, еще что-нибудь сделать? Но ему ничего не приказывали, и он довольно долго оставался в этом неподвижном состоянии.

Государи сели верхами и уехали. Преображенцы, расстроивая ряды, перемешались с французскими гвардейцами и сели за столы, приготовленные для них.

Лазарев сидел на почетном месте; его обнимали, поздравляли и жали ему руки русские и французские офицеры. Толпы офицеров и народа подходили, чтобы только посмотреть на Лазарева. Гул говора русского, французского и хохота стоял на площади вокруг столов. Два офицера с раскрасневшимися лицами, веселые и счастливые, прошли мимо его.

— Каково, брат, угощенье, — все на серебре, — сказал один. — Лазарева видел?

— Видел.

— Завтра, говорят, преображенцы их угащивать будут.

— Нет, Лазареву-то какое счастье! тысячу двести франков пожизненного пенсиона.

— Вот так шапка, ребята! — кричал преображенец, надевая мохнатую шапку француза.

— Чудо как хорошо, прелесть!

— Ты слышал отзыв? — сказал гвардейский офицер другому. — Третьего дня было Napoléon, France, bravoure [1], вчера Alexandre, Russie, grandeur; [2] один день наш государь дает отзыв, а другой день Наполеон. Завтра государь пошлет Георгия самому храброму из французских гвардейцев. Нельзя же! Должен ответить тем же.

Борис с своим товарищем Жилинским тоже пришел посмотреть на банкет преображенцев. Возвращаясь назад, Борис заметил Ростова, который стоял у угла дома.

— Ростов! здравствуй; мы и не видались, — сказал он ему и не мог удержаться, чтобы не спросить у него, что с ним сделалось: так странно-мрачно и расстроенно было лицо Ростова.

— Ничего, ничего, — отвечал Ростов.

— Ты зайдешь?

---

[1] Наполеон, Франция, храбрость.

[2] Александр, Россия, величие.

— Да, зайду.

Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомненья. То ему вспоминался Денисов с своим изменившимся выражением, с своею покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их.

Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния: надо было поесть что-нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу и офицеров, так же как и он приехавших в штатских платьях, что он насилу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор, естественно, зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридланда. Говорили, что, еще бы подержаться, Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, все так же томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданною и потому очень удивившею офицеров.

— И как вы можете судить, что было бы лучше! — закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. — Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя!

— Да я ни слова не говорил о государе, — оправдывался офицер, не могший иначе, как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивость.

Но Ростов не слушал его.

— Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты, и больше ничего, — продолжал он. — Велят нам умирать — так умирать. А коли наказывают, так значит — виноват; не нам судить. Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз — значит, так надо. А то коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни бога нет, ничего нет, — ударяя по столу, кричал Николай весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.

— Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все, — заключил он.

— И пить, — сказал один из офицеров, не желавший ссориться.

— Да, и пить — подхватил Николай. — Эй ты! Еще бутылку! — крикнул он.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В 1808-м году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания.

В 1809-м году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что, когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу, Бонапарту, против прежнего союзника, австрийского императора, до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления.

Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований.

Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по именьям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без высказыванья их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем.

Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу.

Одно именье его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте.

Одну половину своего времени князь Андрей проводил в Лысых Горах с отцом и сыном, который был еще у нянек; другую половину времени в богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг и, к удивлению своему, замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне.

Кроме занятий по именьям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений.

Весною 1809-го года князь Андрей поехал в рязанские именья своего сына, которого он был опекуном.

Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам.

Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала, зеленея, первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березнику мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели.

Лакей Петр что-то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но, видно, Петру мало было сочувствия кучера: он повернулся на козлах к барину.

— Ваше сиятельство, лёгко как! — сказал он, почтительно улыбаясь.

— Что?

— Лёгко, ваше сиятельство.

«Что́ он говорит? — подумал князь Андрей. — Да, об весне, верно, — подумал он, оглядываясь по сторонам. — И то, зелено все уже... как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает... А дуб и незаметно. Да, вот он, дуб».

На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастие! — как будто говорил этот дуб. — И как не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков. Как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному, заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.

II

По опекунским делам рязанского именья князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреевич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что, проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из-за деревьев он услыхал женский веселый крик и увидал бегущую наперерез его коляски толпу девушек. Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но, узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало отчего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом все так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной, — верно, глупой, — но веселой и счастливой жизнью. «Чему она так рада? О чем она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» — невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Граф Илья Андреич в 1809-м году жил в Отрадном все так же, как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею и почти насильно оставил его ночевать.

В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский, несколько раз взглядывая на Наташу, чему-то смеявшуюся, веселившуюся между другой, молодой половиной общества, все спрашивал себя: «О чем она думает? Чему она так рада?»

Вечером, оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было

жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался.

Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. Под деревами была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее за черными деревами была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.

— Только еще один раз, — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос.

— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз...

Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то.

— Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.

— Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.

— Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.

Соня неохотно что-то отвечала.

— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда.

Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки — туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела бы. Вот так!

— Полно, ты упадешь.

Послышалась борьба и недовольный голос Сони:

— Ведь второй час.

— Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди.

Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.

— Ах, боже мой! боже мой! что ж это такое! — вдруг вскрикнула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно.

«И дела нет до моего существования!» — подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. «И опять она! И как нарочно!» — думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.

III

На другой день, простившись только с одним графом, не дождавшись выхода дам, князь Андрей поехал домой.

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.

«Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, — подумал князь Андрей. — Да где он?» — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любо-

вался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия — ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что это старик произвел их. «Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему.

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»

Возвратившись из этой поездки, князь Андрей решил осенью ехать в Петербург и придумал разные причины этого решения. Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам. Он даже теперь не понимал, как мог он когда-нибудь сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни, точно так же как месяц тому назад он не понимал, как могла бы ему прийти мысль уехать из деревни. Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни. Он даже не понимал того, как на основании таких же бедных разумных доводов прежде очевидно было, что он бы унизился, ежели бы теперь, после своих уроков жизни, опять бы поверил в возможность приносить пользу и в возможность счастия и любви. Теперь разум подсказывал совсем другое. После этой поездки князь Андрей стал скучать в деревне, прежние занятия не интересовали его, и часто, сидя один в своем кабинете,

он вставал, подходил к зеркалу и долго смотрел на свое лицо. Потом он отворачивался и смотрел на портрет покойницы Лизы, которая с взбитыми à la grecque буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки. Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь. И в эти-то минуты, когда кто входил к нему, он бывал особенно сух, строг, решителен и в особенности неприятно логичен.

— Mon cher [1], — бывало, скажет, входя в такую минуту, княжна Марья, — Николушке нельзя нынче гулять: очень холодно.

— Ежели бы было тепло, — в такие минуты особенно сухо отвечал князь Андрей своей сестре, — то он бы пошел в одной рубашке, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана, вот что следует из того, что холодно, а не то, чтоб оставаться дома, когда ребенку нужен воздух, — говорил он с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую в нем внутреннюю работу. Княжна Марья думала в этих случаях о том, как сушит мужчин эта умственная работа.

IV

Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе три недели, видаясь ежедневно и исключительно со Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управле-

[1] Любезный друг.

ния России от государственного совета до волостного правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные, либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников: Чарторижского, Новосильцева, Кочубея и Строганова, которых он сам шутя называл comité du salut public[1].

Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. Государь два раза, встретив его, не удостоил его ни одним словом. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и все существо его. В сухом, отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более, чем прежде, нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что его величество был недоволен тем, что Болконский не служил с 1805 года.

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях, — думал князь Андрей, — и потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней князю Андрею было объявлено, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.

В девять часов утра, в назначенный день, князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву.

Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но все, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку.

«Он — военный министр, доверенное лицо государя императора; никому не должно быть дела до его личных свойств; ему поручено рассмотреть мою записку, — следовательно, он один и может дать ход ей», — думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева.

Князь Андрей во время своей, большей частью адъю-

---

[1] комитетом общественного спасения.

тантской, службы много видел приемных важных лиц, и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной. На неважных лицах, ожидающих череди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности; на более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчась, смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet[1] «Силы Андреича» и слова: «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал (важное лицо), видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь.

Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг из-за двери послышались раскаты неприятного голоса, и бледный офицер, с трясущимися губами, вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную.

Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шепотом сказал: «Направо, к окну».

Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал сорокалетнего человека с длинной талией, с длинной, коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре-зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него.

— Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ничего не... прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него.

— Садитесь, — сказал Аракчеев, — князь Болконский.

— Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку...

---

[1] прозвище.

— Изволите видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая все более и более в ворчливо-презрительный тон. — Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

— Я приехал по воле государя императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? — сказал учтиво князь Андрей.

— На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я *не* одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. — Вот, — он подал князю Андрею.

На бумаге, поперек ее, карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания, было написано: «неосновательно составлено понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».

— В какой же комитет передана записка? — спросил князь Андрей.

— В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

— Я и не желаю.

— Без жалованья, членом, — повторил Аракчеев. — Имею честь. Эй! зови! Кто еще? — крикнул он, кланяясь князю Андрею.

V

Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства, особенно с теми лицами, которые, он знал, были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании кото-

рых он вновь узнавал каждый день, что теперь, в 1809-м году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным, лицо — Сперанский. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский — главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.

Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть хорошо принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому, что он имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому, что он своим отпущением крестьян на волю сделал уже себе репутацию либерала. Партия стариков недовольных, прямо как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, *свет* радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и почти новое лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему в эти пять лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежнего притворства, гордости и насмешливости и было то спокойствие, которое приобретается годами. О нем заговорили, им интересовались, и все желали его видеть.

На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с *Силой Андреичем* (Кочубей так называл Аракчеева с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра).

— Mon cher, — сказал Кочубей, — даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича. C'est le grand faiseur[1]. Я скажу ему. Он обещался приехать вечером...

— Какое же дело Сперанскому до военных уставов? — спросил князь Андрей.

Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.

---

[1] Мой милый. Это всеобщий делец.

— Мы с ним говорили про вас на днях, — продолжал Кочубей, — о ваших вольных хлебопашцах...

— Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков? — сказал екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Болконского.

— Маленькое именье ничего не приносило дохода, — отвечал Болконский, чтобы напрасно не раздражать старика, стараясь смягчить перед ним свой поступок.

— Vous craignez d'être en retard [1], — сказал старик, глядя на Кочубея.

— Я одного не понимаю, — продолжал старик, — кто будет землю пахать, коли им волю дать? Легко законы писать, а управлять трудно. Все равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?

— Те, кто выдержит экзамены, я думаю, — отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.

— Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото человек, а ему шестьдесят лет, разве он пойдет на экзамены?..

— Да, это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но... — Граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку лет сорока, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. На вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его, и в душе его что-то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание — он не знал. Вся фигура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего не значащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале.

[1] Боитесь опоздать.

Это был Сперанский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил с Наполеоном.

Сперанский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.

Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно с таким, как Сперанский, которого знал по репутации, всегда ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.

Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию скромности заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.

— Я очень рад с вами познакомиться, я слышал о вас, как и все, — сказал он.

Кочубей сказал несколько слов о приеме, сделанном Болконскому Аракчеевым. Сперанский больше улыбнулся.

— Директором комиссии военных уставов мой хороший приятель — господин Магницкий, — сказал он, договаривая каждый слог и каждое слово, — и ежели вы того пожелаете, я могу свести вас с ним. (Он помолчал на точке.) Я надеюсь, что вы найдете в нем сочувствие и желание содействовать всему разумному.

Около Сперанского тотчас же составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, тоже с вопросом обратился к Сперанскому.

Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперанского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих — этих белых, пухлых руках — имевшего судьбу России, как думал Болконский. Князя Андрея поразило необычайное, презрительное спокойствие, с которым Сперанский отвечал старику. Он, казалось, с неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Сперанский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю.

Поговорив несколько времени в общем кругу, Сперанский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

— Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем, — сказал он, кротко-презрительно улыбаясь и этой улыбкой как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. — Я вас знаю давно: во-первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей; а во-вторых, потому, что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающим такие толки и пересуды.

— Да, — сказал князь Андрей, — отец не хотел, чтоб я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

— Ваш батюшка, человек старого века, очевидно, стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстановляющую только естественную справедливость.

— Я думаю, однако, что есть основание и в этих осуждениях, — сказал князь Андрей, стараясь бороться с влиянием Сперанского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним: он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Сперанским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека.

— Основание для личного честолюбия может быть, — тихо вставил свое слово Сперанский.

— Отчасти и для государства, — сказал князь Андрей.

— Как вы разумеете?.. — сказал Сперанский, тихо опустив глаза.

— Я почитатель Montesquieu, — сказал князь Андрей. — И его мысль о том, что le principe des monarchies est l'honneur, me paraît incontestable. Certains droits et privilèges de la noblesse me paraissent être des moyens de soutenir ce sentiment [1].

---

[1] основание монархии есть честь, мне кажется несомненною. Некоторые права и преимущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства.

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского, и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему занимательною.

— Si vous envisagez la question sous ce point de vue [1], — начал он, с очевидным затруднением выговаривая по-французски и говоря еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что честь, l'honneur, не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы, что честь, l'honneur, есть или отрицательное понятие неделания предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его.

Доводы его были сжаты, просты и ясны.

— Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный Légion d'Honneur [2] великого императора Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

— Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели, — сказал князь Андрей, — всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение.

— Но вы им не хотели воспользоваться, князь, — сказал Сперанский, улыбкой показывая, что он неловкий для своего собеседника спор желает прекратить любезностью. — Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, — прибавил он, — то я, переговорив с Магницким, сообщу вам то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами. — Он, закрыв глаза, поклонился, и à la française [3], не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

VI

Первое время своего пребывания в Петербурге князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей, выработавшийся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге.

---

[1] Ежели вы смотрите на дело с этой точки зрения.
[2] Почетному легиону.
[3] на французский манер. — *Ред.*

С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал четыре или пять необходимых визитов или rendez-vous[1] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали бо́льшую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне.

Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский с глазу на глаз, приняв Болконского, долго и доверчиво говорил с ним, сделал сильное впечатление на князя Андрея.

Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что он легко поверил, что в Сперанском он нашел этот идеал вполне разумного и добродетельного человека. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые, человеческие, не геройские стороны, но теперь этот странный для него логический склад ума тем более внушал ему уважения, что он не вполне понимал его. Кроме того, Сперанский, потому ли что он оценил способности князя Андрея, или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единственным человеком, способным понимать всю глупость *всех* остальных, разумность и глубину своих мыслей.

Во время длинного их разговора в середу вечером Сперанский не раз говорил: «У *нас* смотрят на все, что выходит из общего уровня закоренелой привычки...» — или с улыбкой: «Но *мы* хотим, чтоб и волки были сыты, и овцы целы...» — или: «*Они* этого не могут понять...» — и

[1] свиданий.

все с таким выражением, которое говорило: «Мы, вы да я, мы понимаем, что *они* и кто *мы*».

Этот первый длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский, в глазах князя Андрея, был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Все представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского. Все было так, все было хорошо, но одно смущало князя Андрея: это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского, и его белая, нежная рука, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть. Зеркальный взгляд и нежная рука эта почему-то раздражали князя Андрея. Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своего мнения. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмеивался над противниками, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял.) Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора.

Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение

в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю? И этот-то особенный склад ума Сперанского более всего привлекал к себе князя Андрея.

Первое время своего знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пóшло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе.

В тот первый вечер, который Болконский провел у него, разговорившись о комиссии составления законов, Сперанский с иронией рассказал князю Андрею о том, что комиссия законов существует сто пятьдесят лет, стóит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства.

— И вот и все, за что государство заплатило миллионы! — сказал он. — Мы хотим дать новую судебную власть сенату, а у нас нет законов. Поэтому-то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.

Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.

— Да его никто не имеет, так что же вы хотите? Это circulus viciosus[1], из которого надо выйти усилием.

Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления воинского устава и, чего он никак не ожидал, начальником отделения комиссии составления законов. По просьбе Сперанского он взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Code Napoléon и Justiniani[2], работал над составлением отдела: Права лиц.

VII

Года два тому назад, в 1808 году, вернувшись в Петербург из своей поездки по имениям, Пьер невольно стал во главе петербургского масонства. Он устроивал столовые и надгробные ложи, вербовал новых членов, забо-

---

[1] заколдованный круг *(лат.). — Ред.*
[2] Наполеоновского кодекса и кодекса Юстиниана.

тился о соединении различных лож и о приобретении подлинных актов. Он давал свои деньги на устройство храмин и пополнял, насколько мог, сборы милостыни, на которые большинство членов были скупы и неаккуратны. Он почти один на свои средства поддерживал дом бедных, устроенный орденом в Петербурге.

Жизнь его между тем шла по-прежнему, с теми же увлечениями и распущенностью. Он любил хорошо пообедать и выпить и, хотя и считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал.

В чаду своих занятий и увлечений Пьер, однако, по прошествии года начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под его ног, чем тверже он старался стать на ней. Вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступал к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил по колено в болоте.

Иосифа Алексеевича не было в Петербурге. (Он в последнее время отстранился от дел петербургских лож и безвыездно жил в Москве.) Все братья, члены лож, были Пьеру знакомые в жизни люди, и ему трудно было видеть в них только братьев по каменщичеству, а не князя Б., не Ивана Васильевича Д., которых он знал в жизни большею частию как слабых и ничтожных людей. Из-под масонских фартуков и знаков он видел на них мундиры и кресты, которых они добивались в жизни. Часто, собирая милостыню и сочтя двадцать — тридцать рублей, записанных на приход и большею частью в долг, с десяти членов, из которых половина были так же богаты, как и он, Пьер вспоминал масонскую клятву о том, что каждый брат обещается отдать все свое имущество для ближнего, и в душе его поднимались сомнения, на которых он старался не останавливаться.

Всех братьев, которых он знал, он подразделял на четыре разряда. К первому разряду он причислял братьев, не принимающих деятельного участия ни в делах лож, ни в делах человеческих, но занятых исключительно таин-

ствами науки ордена, занятых вопросами о тройственном наименовании бога, или о трех началах вещей — сере, меркурии и соли, или о значении квадрата и всех фигур храма Соломонова. Пьер уважал этот разряд братьев-масонов, к которому принадлежали преимущественно старые братья и сам Иосиф Алексеевич, по мнению Пьера, но не разделял их интересов. Сердце его не лежало к мистической стороне масонства.

Ко второму разряду Пьер причислял себя и себе подобных братьев, ищущих, колеблющихся, не нашедших еще в масонстве прямого и понятного пути, но надеющихся найти его.

К третьему разряду он причислял братьев (их было самое большое число), не видящих в масонстве ничего, кроме внешней формы и обрядности, и дорожащих строгим исполнением этой внешней формы, не заботясь о ее содержании и значении. Таковы были Вилларский и даже великий мастер главной ложи.

К четвертому разряду, наконец, причислялось тоже большое количество братьев, в особенности в последнее время вступивших в братство. Это были люди, по наблюдению Пьера, ни во что не верующие, ничего не желающие и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми, богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе.

Пьер начинал чувствовать себя неудовлетворенным своей деятельностью. Масонство, по крайней мере, то масонство, которое он знал здесь, казалось ему иногда, основано было на одной внешности. Он и не думал сомневаться в самом масонстве, но подозревал, что русское масонство пошло по ложному пути и отклонилось от своего источника. И потому в конце года Пьер поехал за границу для посвящения себя в высшие тайны ордена.

Летом еще в 1809 году Пьер вернулся в Петербург. По переписке наших масонов с заграничными было известно, что Безухов успел за границей получить доверие многих высокопоставленных лиц, проник многие тайны, был возведен в высшую степень и везет с собою многое для общего блага каменщицкого дела в России. Петербургские масоны все приехали к нему, заискивали в нем, и всем показалось, что он что-то скрывает и готовит.

Назначено было торжественное заседание ложи 2-го градуса, в которой Пьер обещал сообщить то, что он имеет передать петербургским братьям от высших руководителей ордена. Заседание было полно. После обыкновенных обрядов Пьер встал и начал свою речь.

— Любезные братья, — начал он, краснея и запинаясь и держа в руке написанную речь. — Недостаточно блюсти в тиши ложи наши таинства — нужно действовать... действовать. Мы находимся в усыплении, а нам нужно действовать. — Пьер взял свою тетрадь и начал читать. — «Для распространения чистой истины и доставления торжества добродетели, — читал он, — должны мы очистить людей от предрассудков, распространить правила, сообразные с духом времени, принять на себя воспитание юношества, соединиться неразрывными узами с умнейшими людьми, смело и вместе благоразумно преодолевать суеверие, неверие и глупость, образовать из преданных нам людей, связанных между собою единством цели и имеющих власть и силу.

Для достижения сей цели должно доставить добродетели перевес над пороком, должно стараться, чтобы честный человек обретал еще в сем мире вечную награду за свои добродетели. Но в сих великих намерениях препятствуют нам весьма много нынешние политические учреждения. Что же делать при таком положении вещей? Благоприятствовать ли революциям, все ниспровергнуть, изгнать силу силой?.. Нет, мы весьма далеки от того. Всякая насильственная реформа достойна порицания потому, что нимало не исправит зла, пока люди остаются таковы, каковы они есть, и потому, что мудрость не имеет нужды в насилии.

Весь план ордена должен быть основан на том, чтоб образовать людей твердых, добродетельных и связанных единством убеждения, убеждения, состоящего в том, чтобы везде и всеми силами преследовать порок и глупость и покровительствовать таланты и добродетель: извлекать из праха людей достойных, присоединяя их к нашему братству. Тогда только орден наш будет иметь власть — нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка и управлять ими так, чтоб они того не примечали. Одним словом, надобно учредить всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом, не разрушая гражданских уз, и при коем все прочие правления могли бы продолжаться обыкновенным

своим порядком и делать все, кроме того только, что препятствует великой цели нашего ордена, то есть доставлению добродетели торжества над пороком. Сию цель предполагало само христианство. Оно учило людей быть мудрыми и добрыми и для собственной своей выгоды следовать примеру и наставлениям лучших и мудрейших человеков.

Тогда, когда все погружено было во мраке, достаточно было, конечно, одного проповедания: новость истины придавала ей особенную силу, но ныне потребны для нас гораздо сильнейшие средства. Теперь нужно, чтобы человек, управляемый своими чувствами, находил в добродетели чувственные прелести. Нельзя искоренить страстей; должно только стараться направить их к благородной цели, и потому надобно, чтобы каждый мог удовлетворить своим страстям в пределах добродетели и чтобы наш орден доставлял к тому средства.

Как скоро будет у нас некоторое число достойных людей в каждом государстве, каждый из них образует опять двух других, и все они тесно между собой соединятся, — тогда все будет возможно для ордена, который втайне успел уже сделать многое ко благу человечества».

Речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. Большинство же братьев, видевшее в этой речи опасные замыслы иллюминатства, с удивившею Пьера холодностью приняло его речь. Великий мастер стал возражать Пьеру. Пьер с бо́льшим и бо́льшим жаром стал развивать свои мысли. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии: одни обвиняли Пьера, осуждая его в иллюминатстве; другие поддерживали его. Пьера в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. Даже те из членов, которые, казалось, были на его стороне, понимали его по-своему, с ограничениями, изменениями, на которые он не мог согласиться, так как главная потребность Пьера состояла именно в том, чтобы передать свою мысль другому точно так, как он сам понимал ее.

По окончании заседания великий мастер с недоброжелательством и иронией сделал Безухову замечание о его горячности и о том, что не одна любовь к добродетели, но и увлечение борьбы руководило им в споре. Пьер не отве-

чал ему и коротко спросил, будет ли принято его предложение. Ему сказали, что нет, и Пьер, не дожидаясь обычных формальностей, вышел из ложи и уехал домой.

VIII

На Пьера опять нашла та тоска, которой он так боялся. Он три дня после произнесения своей речи в ложе лежал дома на диване, никого не принимая и никуда не выезжая.

В это время он получил письмо от жены, которая умоляла его о свидании, писала о своей грусти по нем и о желании посвятить ему всю свою жизнь.

В конце письма она извещала его, что на днях приедет в Петербург из-за границы.

Вслед за письмом в уединение Пьера ворвался один из менее других уважаемых им братьев-масонов и, наведя разговор на супружеские отношения Пьера, в виде братского совета, высказал ему мысль о том, что строгость его к жене несправедлива и что Пьер отступает от первых правил масона, не прощая кающуюся.

В это же время теща его, жена князя Василья, присылала за ним, умоляя его хоть на несколько минут посетить ее для переговоров о весьма важном деле. Пьер видел, что был заговор против него, что его хотели соединить с женою, и это было даже не неприятно ему в том состоянии, в котором он находился. Ему было все равно: Пьер ничего в жизни не считал делом большой важности, и под влиянием тоски, которая теперь овладела им, он не дорожил ни своею свободою, ни своим упорством в наказании жены.

«Никто не прав, никто не виноват, стало быть, и она не виновата», — думал он. Ежели Пьер не изъявил тотчас же согласия на соединение с женою, то только потому, что в состоянии тоски, в котором он находился, он не был в силах ничего предпринять. Ежели бы жена приехала к нему, он бы теперь не прогнал ее. Разве не все равно было в сравнении с тем, что занимало Пьера, жить или не жить с женою?

Не отвечая ничего ни жене, ни теще, Пьер раз поздним вечером собрался в дорогу и уехал в Москву, чтобы повидаться с Иосифом Алексеевичем. Вот что писал Пьер в дневнике своем.

«Москва, 17-го ноября.

Сейчас только приехал от благодетеля и спешу записать все, что я испытал при этом. Иосиф Алексеевич живет бедно и страдает третий год мучительною болезнью пузыря. Никто никогда не слыхал от него стона или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, когда он кушает самую простую пищу, он работает над наукой. Он принял меня милостиво и посадил подле себя на кровати, на которой он лежал; я сделал ему знак рыцарей Востока и Иерусалима, он ответил мне тем же и с кроткой улыбкой спросил меня о том, что я узнал и приобрел в прусских и шотландских ложах. Я рассказал ему все, как умел, передал те основания, которые я предлагал в нашей Петербургской ложе, и сообщил о дурном приеме, сделанном мне, и о разрыве, происшедшем между мною и братьями. Иосиф Алексеевич, изрядно помолчав и подумав, на все это изложил мне свой взгляд, который мгновенно осветил мне все прошедшее и весь будущий путь, предлежащий мне. Он удивил меня, спросив о том, помню ли я, в чем состоит троякая цель ордена: 1) в хранении и познании таинства; 2) в очищении и исправлении себя для воспринятия оного и 3) в исправлении рода человеческого чрез стремление к таковому очищению. Какая есть главнейшая и первая цель из этих трех? Конечно, собственное исправление и очищение. Только к этой цели мы можем всегда стремиться независимо от всех обстоятельств. Но вместе с тем эта-то цель и требует от нас наиболее трудов, и потому, заблуждаясь гордостью, мы, упуская эту цель, беремся либо за таинство, которое недостойны воспринять по нечистоте своей, либо беремся за исправление рода человеческого, когда сами из себя являем пример мерзости и разврата. Иллюминатство не есть чистое учение именно потому, что оно увлеклось общественной деятельностью и преисполнено гордости. На этом основании Иосиф Алексеевич осудил мою речь и всю мою деятельность. Я согласился с ним в глубине души своей. По случаю разговора нашего о моих семейных делах он сказал мне: «Главная обязанность истинного масона, как я сказал вам, состоит в совершенствовании самого себя. Но часто мы думаем, что, удалив от себя все трудности нашей жизни, мы скорее достигнем этой цели; напротив, государь мой, сказал он мне, только в среде светских волнений можем мы достигнуть трех главных целей: 1) самопознания, ибо человек может познавать

себя только через сравнение, 2) совершенствования, только борьбой достигается оно, и 3) достигнуть главной добродетели — любви к смерти. Только превратности жизни могут показать нам тщету ее и могут содействовать нашей врожденной любви к смерти или возрождению к новой жизни. Слова эти тем более замечательны, что Иосиф Алексеевич, несмотря на свои тяжкие физические страдания, никогда не тяготится жизнию, а любит смерть, к которой он, несмотря на всю чистоту и высоту своего внутреннего человека, не чувствует себя еще достаточно готовым. Потом благодетель объяснил мне вполне значение великого квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. Он советовал мне не отстраняться от общения с петербургскими братьями и, занимая в ложе только должности 2-го градуса, стараться, отвлекая братьев от увлечений гордости, обращать их на истинный путь самопознания и совершенствования. Кроме того, для себя лично советовал мне первее всего следить за самим собою, и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пишу и буду вписывать впредь все свои поступки».

«Петербург, 23-го ноября.

Я опять живу с женою. Теща моя в слезах приехала ко мне и сказала, что Элен здесь и что она умоляет меня выслушать ее, что она невинна, что она несчастна моим оставлением и многое другое. Я знал, что ежели я только допущу себя увидать ее, то не в силах буду более отказать ей в ее желании. В сомнении своем я не знал, к чьей помощи и совету прибегнуть. Ежели бы благодетель был здесь, он бы сказал мне. Я удалился к себе, перечел письма Иосифа Алексеевича, вспомнил свои беседы с ним и из всего вывел то, что я не должен отказывать просящему и должен подать руку помощи всякому, тем более человеку, столь связанному со мною, и должен нести крест свой. Но ежели я для добродетели простил ее, то пускай и будет мое соединение с нею иметь одну духовную цель. Так я решил и так написал Иосифу Алексеевичу. Я сказал жене, что прошу ее забыть все старое, прошу простить мне то, в чем я мог быть виноват перед нею, а что мне прощать ей нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было вновь увидать ее. Устроился в большом доме в верхних покоях и испытываю счастливое чувство обновления».

IX

Как и всегда, и тогда высшее общество, соединяясь вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. В числе их самый обширный был кружок французский, Наполеоновского союза — графа Румянцева и Caulaincourt'a. В этом кружке одно из самых видных мест заняла Элен, как только она с мужем поселилась в Петербурге. У ней бывали господа французского посольства и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежавших к этому направлению.

Элен была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, спросил, кто она, и оценил ее красоту. Успех ее в качестве красивой и элегантной женщины не удивлял Пьера, потому что с годами она сделалась еще красивее, чем прежде. Но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию «d'une femme charmante, aussi spirituelle que belle»[1]. Известный prince de Ligne писал ей письма на восьми страницах. Билибин приберегал свои mots[2], чтобы в первый раз сказать их при графине Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума; молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне, и секретари посольства, и даже посланники поверяли ей дипломатические тайны, так что Элен была сила в некотором роде. Пьер, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоуменья и страха иногда присутствовал на ее вечерах и обедах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство, подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что вот-вот обман его откроется. Но оттого ли, что для ведения такого салона именно нужна только глупость, или потому, что сами обманываемые находили удовольствие в самом обмане, обман не открывался, и репутация d'une femme charmante et spirituelle[3] так непоколебимо утвердилась за

---

[1] прелестной женщины, столь же умной, сколько и прекрасной.
[2] остроты. — *Ред.*
[3] женщины прелестной и умной.

Еленой Васильевной Безуховой, что она могла говорить самые большие пошлости и глупости и все-таки все восхищались каждым ее словом и отыскивали в нем глубокий смысл, которого она сама и не подозревала.

Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж grand seigneur, никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления высокого тона гостиной, но своей противоположностью изяществу и такту жены служащий выгодным для нее фоном. Пьер за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия невещественными интересами и искреннего презрения ко всему остальному, усвоил себе в не интересовавшем его обществе жены тот тон равнодушия, небрежности и благосклонности ко всем, который не приобретается искусственно и который потому-то и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены, как в театр, со всеми был знаком, всем был одинаково рад и ко всем был одинаково равнодушен. Иногда он вступал в разговор, интересовавший его, и тогда, без соображений о том, были ли тут или нет les messieurs de l'ambassade [1], шамкая, говорил свои мнения, которые иногда были совершенно не в тоне настоящей минуты. Но мнение о чудаке муже de la femme la plus distinguée de Pétersbourg [2] уже так установилось, что никто не принимал au sérieux [3] его выходок.

В числе многих молодых людей, ежедневно бывавших в доме Элен, Борис Друбецкой, уже весьма успевший в службе, был, после возвращения Элен из Эрфурта, самым близким человеком в доме Безуховых, Элен называла его *mon page* [4] и обращалась с ним, как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку. Борис обращался с Пьером с особенной, достойной и грустной почтительностию. Этот оттенок почтительности тоже беспокоил Пьера. Пьер так больно страдал три года тому назад от оскорбления, нанесенного ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был мужем своей

[1] господа посольства.
[2] самой замечательной женщины Петербурга.
[3] серьезно.
[4] мой паж.

жены, во-вторых, тем, что он не позволял себе подозревать.

«Нет, теперь, сделавшись bas bleu [1], она навсегда отказалась от прежних увлечений, — говорил он сам себе. — Не было примера, чтобы bas bleu имели сердечные увлечения», — повторял он сам себе неизвестно откуда извлеченное правило, которому несомненно верил. Но, странное дело, присутствие Бориса в гостиной жены (а он был почти постоянно) физически действовало на Пьера: оно связывало все его члены, уничтожало бессознательность и свободу его движений.

«Такая странная антипатия, — думал Пьер, — а прежде он мне даже очень нравился».

В глазах света Пьер был большой барин, несколько слепой и смешной муж знаменитой жены, умный чудак, ничего не делающий, но и никому не вредящий, славный и добрый малый. В душе же Пьера происходила за все это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое и приведшая его ко многим духовным сомнениям и радостям.

X

Он продолжал свой дневник, и вот что он писал в нем за это время:

«24-го ноября.

Встал в восемь часов, читал св. Писание, потом пошел к должности (Пьер по совету благодетеля поступил на службу в один из комитетов), возвратился к обеду, обедал один (у графини много гостей, мне неприятных), ел и пил умеренно и после обеда списывал пиесы для братьев. Ввечеру сошел к графине и рассказал смешную историю о Б. и только тогда вспомнил, что этого не должно было делать, когда все уже громко смеялись.

Ложусь спать с счастливым и спокойным духом. Господи великий, помоги мне ходить по стезям твоим: 1) побеждать часть гневну — тихостью, медлением, 2) похоть — воздержанием и отвращением, 3) удаляться от суеты, но не отучать себя от: a) государственных дел службы, b) от забот семейных, c) от дружеских сношений и d) экономических занятий».

---

[1] синим чулком.

«27-го ноября.

Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. Боже мой, помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям твоим. Читал св. Писание, но без надлежащего чувства. Пришел брат Урусов, беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было рассуждать, но вспомнил о своих правилах и слова благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой — враг мой. Посетили меня братья Г. В. и О., была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанность ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь об объяснении семи столбов и ступеней храма: 7 наук, 7 добродетелей, 7 пороков, 7 даров святого духа. Брат О. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был ритором. Странное чувство волновало меня во все время моего пребывания с ним в темной храмине. Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому-то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что его цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с людьми, быть в фаворе у находящихся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе N. и S. (на что я не мог ему отвечать), кроме того, он, по моим наблюдениям, не способен чувствовать уважения к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим внешним человеком, чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем; но он мне казался неискренним, и все время, когда я стоял с ним с глазу на глаз в темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал, приставленною к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренно сообщить своего сомнения братьям и великому мастеру. Великий Архитектон природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи».

После этого в дневнике было пропущено три листа, и потом было написано следующее:

«Имел продолжительный поучительный разговор наедине с братом В., который советовал мне держаться брата А. Многое, хотя и недостойному, мне было открыто. Адонаи есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем. Третье имя, имя неизрекаемое, имеющее значение *Всего*. Беседы с братом В. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, всё обнимающим учением. Науки человеческие всё подразделяют — чтобы понять, всё убивают — чтобы рассмотреть. В святой науке ордена все едино, все познается в своей совокупности и жизни. Троица — три начала вещей — сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства; она в соединении с солью огненностью своей возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий есть жидкая и летучая духовная сущность — Христос, дух святой, он».

«3-го декабря.

Проснулся поздно, читал св. Писание, но был бесчувствен. После вышел и ходил по зале. Хотел размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие, бывшее четыре года тому назад. Господин Долохов, после моей дуэли встретясь со мной в Москве, сказал мне, что он надеется, что я пользуюсь теперь полным душевным спокойствием, несмотря на отсутствие моей супруги. Я тогда ничего не отвечал. Теперь же я припоминал все подробности этого свидания и в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился и бросил сию мысль только тогда, когда увидел себя в распалении гнева; но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис Друбецкой и стал рассказывать разные приключения; я же с самого его прихода сделался недоволен его посещением и сказал ему что-то противное. Он возразил. Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого. Он замолчал, а я спохватился только тогда, когда было уже поздно. Боже мой, я совсем не умею с ним обходиться! Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его и потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я, напротив того, питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне

в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и ему это было полезно. После обеда заснул и, в то время как засыпал, услыхал явственно голос, сказавший мне в левое ухо: «Твой день».

Я видел во сне, что иду я в темноте, и вдруг окружен собаками, но иду без страха; вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще бо́льшая, схватила меня за грудь. Я оторвал эту, но третья, еще бо́льшая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она становилась больше и тяжелее. И вдруг идет брат А. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После больших усилий я перетащил свое тело так, что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое прекрасное здание. Я проснулся. Господи, Великий Архитектон природы! помоги мне оторвать от себя собак — страстей моих и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели, коего лицезрения я во сне достигнул».

«7-го декабря.

Видел сон, будто Иосиф Алексеич в моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодое, и он мне тихо, тихо что-то говорит из ученья ордена, так тихо, что я не могу расслышать. Потом будто вышли мы все из комнаты, и что-то тут случилось мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что-то говорил. А мне будто захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость божию. И появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он взглянул на меня с досадой и вскочил, пресекши свой разговор. Я оробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось; но он ничего не отвечал, показал мне ласковый вид, и после вдруг очутились мы в спальне моей,

где стоит двойная кровать. Он лег на нее на край, и я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же. И он будто у меня спрашивает: «Скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы уже его узнали». Я, смутившись сим вопросом, отвечал, что лень мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головой. И я, еще более смутившись, отвечал, что я хотя и живу с женою, по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, дал чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого; и вдруг все сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст св. Писания: *Живот бе свет человеком, и свет во тьме светит и тьма его не объят.* Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от благодетеля, в котором он пишет об обязанности супружества».

«9-го декабря.

Видел сон, от которого проснулся с трепещущим сердцем. Видел, будто я в Москве, в своем доме, в большой диванной, и из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую и руки его, а он говорит: «Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?» Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волóс на голове нет и черты совершенно другие. И будто я ему говорю: «Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился», — и думаю вместе с тем: «Правду ли я сказал?» И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый; потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую книгу, писанную в александрийский лист. И будто я говорю: «Это я написал». И он ответил мне наклонением головы. Я открыл книгу, и в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающей к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть не что иное, как изображение Песни Песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно, и не могу оторваться от них. Господи, помоги мне! Боже

мой, если это оставление меня тобою есть действие твое, то да будет воля твоя; но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, буде ты меня вовсе оставишь».

XI

Денежные дела Ростовых не поправились в продолжение двух лет, которые они пробыли в деревне.

Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо держась своего намерения, продолжал также служить в глухом полку, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу, это была служба, и он приехал в Петербург искать места; искать места и вместе с тем, как он говорил, в последний раз потешить девчат.

Вскоре после приезда Ростовых в Петербург Берг сделал предложение Вере, и предложение его было принято.

Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, к какому они принадлежали обществу, в Петербурге общество их было смешанное и неопределенное. В Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не спрашивая их, к какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы.

Ростовы в Петербурге жили так же гостеприимно, как и в Москве, и на их ужинах сходились самые разнообразные лица: сосед по Отрадному, старый небогатый помещик с дочерьми и фрейлина Перонская, Пьер Безухов и сын уездного почтмейстера, служивший в Петербурге. Из мужчин домашними людьми в доме Ростовых в Петербурге очень скоро сделались Борис, Пьер, которого, встретив на улице, затащил к себе старый граф, и Берг, который целые дни проводил у Ростовых и оказывал старшей графине Вере такое внимание, которое может оказывать молодой человек, намеревающийся сделать предложение.

Берг недаром показывал всем свою раненную в Аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такою

значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, — и Берг получил за Аустерлиц две награды.

В Финляндской войне ему удалось также отличиться. Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок. Так же как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать, — и за Финляндскую войну Берг получил две награды. В 1809-м году он был капитан гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места.

Хотя некоторые вольнодумцы и улыбались, когда им говорили про достоинства Берга, нельзя было не признать, что Берг был исправный, храбрый офицер, на отличном счету у начальства, и скромный нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди и даже прочным положением в обществе.

Четыре года тому назад, встретившись в партере московского театра с товарищем, немцем, Берг указал ему на Веру Ростову и по-немецки сказал: «Das soll mein Weib werden»[1], — и с той минуты решил жениться на ней. Теперь, в Петербурге, сообразив положение Ростовых и свое, он решил, что пришло время, и сделал предложение.

Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифляндского дворянина делает предложение графине Ростовой; но главное свойство характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это хорошо и даже очень хорошо. Притом же дела Ростовых были очень расстроены, чего не мог не знать жених, а главное, Вере было двадцать четыре года, она выезжала везде, и, несмотря на то, что она несомненно была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложения. Согласие было дано.

— Вот видите ли, — говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. — Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего и это почему-нибудь было бы неудобно. А теперь

---

[1] Вот она будет моею женою.

напротив, папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне прожить можно с женою в Петербурге при моем жалованье, при ее состоянии и при моей аккуратности. Прожить можно хорошо. Я не из-за денег женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое. У меня служба — у ней связи и маленькие средства. Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное, она прекрасная, почтенная девушка и любит меня...

Берг покраснел и улыбнулся.

— И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный — очень хороший. Вот другая ее сестра — одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того, и эдакое, знаете?.. Неприятно... А моя невеста... Вот будете приходить к нам... — продолжал Берг, он хотел сказать — обедать, но раздумал и сказал: «чай пить», и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастии.

После первого чувства недоуменья, возбужденного в родителях предложением Берга, в семействе водворилась обычная в таких случаях праздничность и радость, но радость была не искренняя, а внешняя. В чувствах родных относительно этой свадьбы были заметны замешательство и стыдливость. Как будто им совестно было теперь за то, что они мало любили Веру и теперь так охотно сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он, вероятно, не умел бы назвать того, что было причиной его смущения, а причина эта была его денежные дела. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по триста душ в приданое; но одна из этих деревень была уж продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться, поэтому отдать имение было невозможно. Денег тоже не было.

Берг уже более месяца был женихом, и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса о приданом и не говорил об этом сам с женою. Граф то хотел отделить Вере рязанское имение, то хотел продать лес, то занять денег под вексель. За несколько дней до свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет к графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего

тестя объявить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.

— Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен...

И он, похлопав Берга по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться.

— Потому что рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло...

Разговор кончился тем, что граф, желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдает вексель в восемьдесят тысяч. Берг кротко улыбнулся, поцеловал графа в плечо и сказал, что он очень благодарен, но никак не может теперь устроиться в новой жизни, не получив чистыми деньгами тридцать тысяч.

— Хотя бы двадцать тысяч, граф, — прибавил он, — а вексель тогда только в шестьдесят тысяч.

— Да, да, хорошо, — скороговоркой заговорил граф, — только уж извини, дружок, двадцать тысяч я дам, а вексель, кроме того, дам на восемьдесят тысяч. Так-то, поцелуй меня.

XII

Наташе было шестнадцать лет, и был 1809 год, тот самый, до которого она четыре года тому назад по пальцам считала с Борисом, после того как она с ним поцеловалась. С тех пор она ни разу не видала Бориса. Перед Соней и с матерью, когда разговор заходил о Борисе, она совершенно свободно говорила, как о деле решенном, что все, что было прежде, — было ребячество, про которое не стоило и говорить и которое давно было забыто. Но в самой тайной глубине ее души вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой или важным, связующим обещанием, мучил ее.

С самых тех пор как Борис, в 1805 году, из Москвы уехал в армию, он не видался с Ростовыми. Несколько раз

он бывал в Москве, проезжал недалеко от Отрадного, но ни разу не был у Ростовых.

Наташе приходило иногда в голову, что он не хотел видеть ее, и эти догадки ее подтверждались тем грустным тоном, которым говорили о нем старшие.

— В нынешнем веке не помнят старых друзей, — говорила графиня вслед за упоминанием о Борисе.

Анна Михайловна, в последнее время реже бывавшая у Ростовых, тоже держала себя как-то особенно достойно и всякий раз восторженно и благодарно говорила о достоинствах своего сына и о блестящей карьере, на которой он находился. Когда Ростовы приехали в Петербург, Борис приехал к ним с визитом.

Он ехал к ним не без волнения. Воспоминание о Наташе было самым поэтическим воспоминанием Бориса. Но вместе с тем он ехал с твердым намерением ясно дать почувствовать и ей, и родным ее, что детские отношения между ним и Наташей не могут быть обязательством ни для нее, ни для него. У него было блестящее положение в обществе, благодаря интимности с графиней Безуховой, блестящее положение на службе, благодаря покровительству важного лица, доверием которого он вполне пользовался, и у него были зарождающиеся планы женитьбы на одной из самых богатых невест Петербурга, которые очень легко могли осуществиться. Когда Борис вошел в гостиную Ростовых, Наташа была в своей комнате. Узнав о его приезде, она, раскрасневшись, почти вбежала в гостиную, сияя более чем ласковой улыбкой.

Борис помнил ту Наташу в коротеньком платье, с черными, блестящими из-под локонов глазами и с отчаянным детским смехом, которую он знал четыре года тому назад, и потому, когда вошла совсем другая Наташа, он смутился и лицо его выразило восторженное удивление. Это выражение его лица обрадовало Наташу.

— Что, узнаешь свою старую приятельницу-шалунью? — сказала графиня. Борис поцеловал руку Наташи и сказал, что он удивлен происшедшей в ней переменой.

— Как вы похорошели!

«Еще бы!» — отвечали сияющие глаза Наташи.

— А папа постарел? — спросила она. Наташа села и, не вступая в разговор Бориса с графиней, молча рассматривала своего детского жениха до малейших подробностей.

Он чувствовал на себе тяжесть этого упорного ласкового взгляда и изредка взглядывал на нее.

Мундир, шпоры, галстук, прическа Бориса — все это было самое модное и comme il faut. Это сейчас заметила Наташа. Он сидел немножко боком на кресле подле графини, поправляя правой рукой чистейшую, облитую перчатку на левой, говорил с особенным, утонченным поджатием губ об увеселениях высшего петербургского света и с короткой насмешливостью вспоминал о прежних московских временах и московских знакомых. Не нечаянно, как это чувствовала Наташа, он упомянул, называя высшую аристократию, о бале посланника, на котором он был, о приглашениях к NN и к SS.

Наташа сидела все время молча, исподлобья глядя на него. Взгляд этот все больше и больше беспокоил и смущал Бориса. Он чаще оглядывался на Наташу и прерывался в рассказах. Он просидел не больше десяти минут и встал, раскланиваясь. Все те же любопытные, вызывающие и несколько насмешливые глаза смотрели на него. После первого своего посещения Борис сказал себе, что Наташа для него точно так же привлекательна, как и прежде, но что он не должен отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней — девушке почти без состояния — была бы гибелью его карьеры, а возобновление прежних отношений без цели женитьбы было бы неблагородным поступком. Борис решил сам с собою избегать встреч с Наташей, но, несмотря на это решение, приехал через несколько дней и стал ездить часто и целые дни проводить у Ростовых. Ему представлялось, что ему необходимо было объясниться с Наташей, сказать ей, что все старое должно быть забыто, что, несмотря на все... она не может быть его женой, что у него нет состояния и ее никогда не отдадут за него. Но ему все не удавалось и неловко было приступить к этому объяснению. С каждым днем он более и более запутывался. Наташа, по замечанию матери и Сони, казалась по-старому влюбленной в Бориса. Она пела ему его любимые песни, показывала ему свой альбом, заставляла его писать в него, не позволяла поминать ему о старом, давая понимать, как прекрасно было новое; и каждый день он уезжал в тумане, не сказав того, что намерен был сказать, сам не зная, что он делал, и для чего он приезжал, и чем это кончится. Борис перестал бывать у Элен, ежедневно получал укорительные записки от нее и все-таки целые дни проводил у Ростовых.

XIII

Однажды вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей и с одним бедным пучком волос, выступавшим из-под белого коленкорового чепчика, клала на коврике земные поклоны вечерней молитвы, ее дверь скрипнула, и в туфлях на босу ногу, тоже в кофточке и в папильотках, вбежала Наташа. Графиня оглянулась и нахмурилась. Она дочитывала свою последнюю молитву. «Неужели мне одр сей гроб будет?» Молитвенное настроение ее было уничтожено. Наташа, красная, оживленная, увидав мать на молитве, вдруг остановилась на своем бегу, присела и невольно высунула язык, грозясь самой себе. Заметив, что мать продолжала молитву, она на цыпочках подбежала к кровати, быстро скользнув одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за который графиня боялась, как бы он не был ее гробом. Одр этот был высокий, перинный, с пятью все уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала возиться под одеялом, укладываясь, подгибая коленки к подбородку, брыкая ногами и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то выглядывая на мать. Графиня кончила молитву и с строгим лицом подошла к постели; но, увидав, что Наташа закрыта с головой, улыбнулась своей доброй, слабой улыбкой.

— Ну, ну, ну, — сказала мать.

— Мама, можно поговорить, да? — сказала Наташа. — Ну, в душку один раз, ну еще и будет. — И она обхватила шею матери и поцеловала ее под подбородок. В обращении своем с матерью Наташа выказывала внешнюю грубость манеры, но так была чутка и ловка, что как бы она ни обхватила руками мать, она всегда умела это сделать так, чтобы матери не было ни больно, ни неприятно, ни неловко.

— Ну, о чем же нынче? — сказала мать, устроившись на подушках и подождав, пока Наташа, побрыкавши ногами и также перекатившись раза два через себя, не легла с ней рядом под одним одеялом, выпростав руки и приняв серьезное выражение.

Эти ночные посещения Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших наслаждений матери и дочери.

— О чем же нынче? А мне нужно тебе сказать...

Наташа закрыла рукой рот матери.

— О Борисе... Я знаю, — сказала она серьезно, — я затем и пришла. Не говорите, я знаю. Нет, скажите! — Она отпустила руку. — Скажите, мама. Он мил?

— Наташа, тебе шестнадцать лет, в твои года я была замужем. Ты говоришь, что Боря мил. Он очень мил, и я его люблю, как сына, но что же ты хочешь?.. Что ты думаешь? Ты ему совсем вскружила голову, я это вижу...

Говоря это, графиня оглянулась на дочь. Наташа лежала, прямо и неподвижно глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела только в профиль лицо дочери. Лицо это поразило графиню своею особенностью серьезного и сосредоточенного выражения.

Наташа слушала и соображала.

— Ну, так что ж? — сказала она.

— Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебе нельзя выйти за него замуж.

— Отчего? — не переменяя положения, сказала Наташа.

— Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня... оттого, что ты и сама не любишь его.

— А почему вы знаете?

— Я знаю. Это нехорошо, мой дружок.

— А если я хочу... — сказала Наташа.

— Перестань говорить глупости, — сказала графиня.

— А если я хочу...

— Наташа, я серьезно...

Наташа не дала ей договорить, притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом в ладонь, потом опять перевернула и стала целовать ее в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шепотом приговаривая: «Январь, февраль, март, апрель, май».

— Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, — сказала она, оглядываясь на мать, которая нежным взглядом смотрела на дочь и из-за этого созерцания, казалось, забыла все, что она хотела сказать.

— Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, и, главное, напрасно мучает его. Он, может

быть, нашел себе партию по себе, богатую; а теперь он с ума сходит.

— Сходит? — повторила Наташа.

— Я тебе про себя скажу. У меня был один cousin...

— Знаю — Кирила Матвеич, да ведь он старик?

— Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить...

— Отчего же не надо, коли ему хочется?

— Оттого, что я знаю, что это ничем не кончится.

— Почему вы знаете? Нет, мама, вы не говорите ему. Не смейте говорить ему. Что за глупости! — говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность. — Ну, не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. — Наташа, улыбаясь, глядела на мать.

— Не замуж, а *так,* — повторила она.

— Как же это, мой друг?

— Да *так*. Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а... *так*.

— Так, так, — повторяла графиня и, трясясь всем телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом.

— Полноте смеяться, перестаньте, — закричала Наташа. — Всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья... Постойте... — Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца — июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. — Мама, а он очень влюблен? Как, на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе — он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый...

— Что ты врешь? — сказала графиня.

Наташа продолжала:

— Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухов — тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный.

— Ты и с ним кокетничаешь, — смеясь, сказала графиня.

— Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно-синий с красным, как вам растолковать...

— Графинюшка, — послышался голос графа из-за двери. — Ты не спишь? — Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.

Она долго не могла заснуть. Она все думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть.

«Соня? — подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. — Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... она мила», — продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина... «Все, все в ней есть, — продолжал этот мужчина, — умна необыкновенно, мила и, потом, хороша, необыкновенно хороша, ловка — плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где все было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по-другому.

На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.

XIV

31-го декабря, накануне нового 1810 года, le réveillon [1], был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым под-

[1] сочельник.

ножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки.

— Государь?.. Нет, министр... принц... посланник... Разве не видишь перья?.. — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний.

Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно.

Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.

В десять часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все: она, мама, Соня — были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака́ бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны a la grecque.

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким паль-

цем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.

— Не так, не так, Соня! — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная.— Не так бант, поди сюда. — Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.

— Позвольте, барышня, нельзя так, — говорила горничная, державшая волоса Наташи.

— Ах, боже мой, ну после! Вот так, Соня.

— Скоро ли вы? — послышался голос графини. — Уж десять сейчас.

— Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?

— Только току приколоть.

— Не делайте без меня, — крикнула Наташа, — вы не сумеете!

— Да уж десять.

На бале решено было быть в половине одиннадцатого, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.

Окончив прическу, Наташа, в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материной кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять подбежала к девушкам, подшивавшим ее юбку.

Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье.

— Мавруша, скорее, голубушка!

— Дайте наперсток оттуда, барышня.

— Скоро ли, наконец? — сказал граф, входя из-за двери. — Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

— Готово, барышня, — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.

Наташа стала надевать платье.

— Сейчас, сейчас, не ходи, папа! — крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту

графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.

— Папа, ты как хорош, прелесть! — сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.

— Позвольте, барышня, позвольте,— говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.

— Воля твоя,— с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, — воля твоя, опять длинно!

Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.

— Ей-богу, сударыня, ничего не длинно, — сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.

— Ну, длинно, так заметаем, в одну минуту заметаем, — сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.

В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.

— Уу! моя красавица! — закричал граф. — Лучше вас всех!.. — Он хотел обнять ее, но она, краснея, отстранилась, чтобы не измяться.

— Мама, больше набок току,— проговорила Наташа.— Я переколю, — и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.

— Боже мой! Что ж это такое? Я, ей-богу, не виновата...

— Ничего, заметаю, не видно будет, — говорила Дуняша.

— Красавица, краля-то моя! — сказала из-за двери вошедшая няня. — А Сонюшка-то, ну красавицы!..

В четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.

Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, так же старательно промыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром

вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.

Ростовы похвалили ее вкус и туалет и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.

XV

Наташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, — музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «Charmé de vous voir» [1], — так же встретили и Ростовых с Перонской.

---

[1] Очень, очень рады вас видеть.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь?

— Charmante! [1] — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.

В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.

«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она.

Перонская называла графине самых значительных из лиц, бывших на бале.

— Вот это голландский посланник, видите, седой, — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться.

— А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, — говорила она, указывая на входившую Элен.

— Как хороша! Не уступит Марье Антоновне; смотрите, как за ней увиваются и старые и молодые. И хороша и умна. Говорят, принц... без ума от нее. А вот эти две хоть и не хороши, да еще больше окружены.

Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью.

— Это миллионерка-невеста, — сказала Перонская. — А вот и женихи.

— Это брат Безуховой — Анатоль Курагин, — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы, через дам глядя куда-то. — Как хорош! не правда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то cousin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. — Как же, это сам французский посланник, — отвечала она о Коленкуре на

---

[1] Прелесть!

вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья-то Антоновна! И как просто одета. Прелесть!

— А этот-то, толстый, в очках, фармазон всемирный,— сказала Перонская, указывая на Безухова. — С женою-то его рядом поставьте: то-то шут гороховый!

Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого-то.

Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.

Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.

— Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном.

— А, вы его знаете? — сказала Перонская. — Терпеть не могу. Il fait à présent la pluie et le beau temps [1]. И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, коли б он со мной так поступил, как с этими дамами.

XVI

Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться

[1] По нем теперь все с ума сходят.

от этой первой минуты встречи. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского.

Все расступились, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых, не умолкая, называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская,— у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А! это не она, так и не́чего смотреть!» Нет, это не может быть! — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною».

Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустно — воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец

Анатоль, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним.

Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцевал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута — никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развеваясь, бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.

Князь Андрей в своем полковничьем, белом мундире (по кавалерии), в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании Государственного совета. Князь Андрей, как человек, близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцевать кавалеров, не решавшихся вступить в круг.

Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными.

Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.

— Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegée, Ростова молодая, пригласите ее, — сказал он.

— Где? — спросил Болконский. — Виноват, — сказал он, обращаясь к барону, — этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцевать. — Он вышел вперед, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

— Позвольте вас познакомить с моей дочерью, — сказала графиня, краснея.

— Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.

«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.

Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу потому, что на нее указал ему Пьер, и потому, что она

первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.

XVII

После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданье в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.

Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастию. В то время как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и

запыхалась и, видимо, подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.

«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это понимаем», — и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.

«Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой», — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине.

«Какой вздор иногда приходит в голову! — подумал князь Андрей. — Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж... Это здесь редкость», — думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.

В конце котильона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: «Как можно было спрашивать об этом?»

— Так весело, как никогда в жизни! — сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтоб обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя.

Пьер на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был угрюм и рассеян. Поперек лба его была глубокая складка, и он, стоя у окна, смотрел через очки, никого не видя.

Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его.

Мрачное, несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него. Ей хотелось помочь ему, передать ему излишек своего счастия.

— Как весело, граф, — сказала она, — не правда ли?

Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно не понимая того, что ему говорили.

— Да, я очень рад, — сказал он.

«Как могут они быть недовольны чем-то, — думала Наташа. — Особенно такой хороший, как этот Безухов?» На глаза Наташи, все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.

XVIII

На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал, но ненадолго остановился на нем мыслью: «Да, очень блестящий был бал. И еще... да, Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее». Вот все, что он думал о вчерашнем бале и, напившись чаю, сел за работу.

Но от усталости или бессонницы день был нехороший для занятий, и князь Андрей ничего не мог делать, он все критиковал сам свою работу, как это часто с ним бывало, и рад был, когда услыхал, что кто-то приехал.

Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление, как платье, — по моде, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания Государственного совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. «Государь прямо сказал, что Совет и Сенат суть государственные *сословия;* он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а *твердые начала.* Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны», — рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, — заключил он.

Князь Андрей слушал рассказ об открытии Государственного совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову: «Какое дело мне и Бицкому, какое дело нам до того, что государю угодно было сказать в Сенате? Разве все это может сделать меня счастливее и лучше?»

И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Сперанского «en petit comité» [1], как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более что до сих пор он не видал Сперанского в его домашнем быту; но теперь ему не хотелось ехать.

В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный небольшой дом Сперанского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенной чистотой (напоминающею монашескую чистоту), князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в пять часов все собравшееся общество этого petit comité, интимных знакомых Сперанского. Дам не было никого, кроме маленькой дочери Сперанского (с длинным лицом, похожим на отца) и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий, отчетливый хохот — хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто-то голосом, похожим на голос Сперанского, отчетливо отбивал: ха, ха, ха. Князь Андрей никогда не слыхал смеющегося Сперанского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его.

Князь Андрей вошел в столовую. Все общество стояло между двух окон, у небольшого стола с закуской. Сперанский в сером фраке с звездой, очевидно, в том еще белом жилете и высоком белом галстуке, в которых он был в знаменитом заседании Государственного совета, с весе-

[1] в дружеском кружке.

лым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михаилу Михайловичу, рассказывал анекдот. Сперанский слушал, вперед смеясь тому, что скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, слова Магницкого опять заглушились смехом. Громко басил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром; тихим смехом шипел Жерве, и тонко, отчетливо смеялся Сперанский.

Сперанский, все еще смеясь, подал князю Андрею свою белую, нежную руку.

— Очень рад вас видеть, князь, — сказал он. — Минутку... — обратился он к Магницкому, прерывая его рассказ. — У нас нынче уговор: обед удовольствия и ни слова про дела. — И он опять обратился к рассказчику и опять засмеялся.

Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Сперанского. Это был не Сперанский, а другой человек, казалось князю Андрею. Все, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Сперанском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно.

За столом разговор ни на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магницкий не успел докончить своего рассказа, как уж кто-то другой заявил свою готовность рассказать что-то, что было еще смешнее. Анекдоты большею частью касались ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно-комическое. Сперанский рассказал, как на Совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении, сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело о ревизии, замечательное по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин, заикаясь, вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина. Жерве вставил шутку, и разговор принял опять прежнее, веселое направление.

Очевидно, Сперанский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, старались веселить его и сами ве-

селиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своею фальшивой нотой почему-то оскорблял чувство князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело.

Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды; и он не мог шутить с ними вместе.

Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, все было остроумно, и могло бы быть смешно; но чего-то того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.

После обеда дочь Сперанского с своей гувернанткой встали. Сперанский приласкал дочь своей белой рукой и поцеловал ее. И этот жест показался неестественным князю Андрею.

Мужчины, по-английски, остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Сперанский улыбнулся и, очевидно желая отклонить разговор от принятого направления, рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговору. На несколько мгновений все замолкли.

Посидев за столом, Сперанский закупорил бутылку с вином и, сказав: «Нынче хорошее винцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и, так же шумно разговаривая, пошли в гостиную. Сперанскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом.

— Ну, теперь декламация! — сказал Сперанский, выходя из кабинета. — Удивительный талант! — обратился он к князю Андрею. Магницкий тотчас же стал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей по окончании стихов подошел к Сперанскому, прощаясь с ним.

— Куда вы так рано? — спросил Сперанский.

— Я обещал на вечер...

Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, не пропускающие к себе глаза, и ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как мог он приписывать важность тому, что делал Сперанский. Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея, после того как он уехал от Сперанского.

Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что-то новое. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю; вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг; вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось все касающееся формы и процесса заседания комитета и как старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона-старосту, и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой.

XIX

На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание.

Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и все семейство

Ростовых приняли князя Андрея как старого друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, — думал Болконский, — разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!»

Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее и на окне в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение.

После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения.

Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает.

Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он

не может спать. Он то, зажегши свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет божий. Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. «Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне?» — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собой, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему; потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости, — говорил он сам себе. — Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастия, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», — думал он.

XX

В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему.

— Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена; надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее, — сказал он, улыбаясь.

— Что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам.

— Я теперь, граф, уже совершенно устроился на новой квартире, — сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно, — и потому желал сделать так, маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. (Он еще приятнее улыбнулся.) Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и... на ужин.

Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких-то Бергов, могла иметь

жестокость отказаться от такого приглашения. Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карт и для чего-нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть.

— Только не поздно, граф, ежели смею просить; так без десяти минут в восемь, смею просить. Партию составим, генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение.

Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день, вместо восьми без десяти минут, приехал к Бергам в восемь часов без четверти.

Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей.

В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками, и картинками, и новой мебелью кабинете сидел Берг с женою. Берг в новеньком застегнутом мундире сидел подле жены, объяснял ей, что всегда можно и должно иметь знакомства людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств.

— Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на вакансии полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И чем я приобрел все это? Главное уменьем выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным...

Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины, — ein Mann zu sein[1]. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины, по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу

[1] быть мужчиной *(нем.)*. — *Ред.*

и распространяя это замечание на всех, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты.

Берг встал и, обняв свою жену, осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.

— Одно только, чтоб у нас не было так скоро детей, — сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

— Да, — отвечала Вера, — я совсем этого не желаю. Надо жить для общества.

— Точно такая была на княгине Юсуповой, — сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.

В это время доложили о приезде графа Безухова. Оба супруга переглянулись самодовольной улыбкой, каждый себе приписывая честь этого посещения.

«Вот что значит уметь делать знакомства, — подумал Берг, — вот что значит уметь держать себя!»

— Только, пожалуйста, когда я занимаю гостей, — сказала Вера, — ты не перебивай меня, потому что я знаю, чем занять каждого и в каком обществе что нужно говорить.

Берг тоже улыбнулся.

— Нельзя же: иногда с мужчинами мужской разговор должен быть, — сказал он.

Пьер был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, чистоты и порядка, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя и, видимо, находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предложил решение этого вопроса выбору гостя. Пьер расстроил симметрию, подвинув себе стул, и тотчас же Берг и Вера начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя.

Вера, решив в своем уме, что Пьера надо занимать разговором о французском посольстве, тотчас же начала этот разговор. Берг, решив, что надобен и мужской разговор, перебил речь жены, затрогивая вопрос о войне с Австриею, и невольно с общего разговора соскочил на личные соображения о тех предложениях, которые ему были деланы для участия в австрийском походе, и о тех причинах, почему он не принял их. Несмотря на то, что

разговор был очень нескладный, и что Вера сердилась за вмешательство мужского элемента, оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на то, что был только один гость, *вечер* был начат очень хорошо и что вечер был как две капли воды похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами.

Вскоре приехал Борис, старый товарищ Берга. Он с некоторым оттенком превосходства и покровительства обращался с Бергом и Верой. За Борисом приехала дама с полковником, потом сам генерал, потом Ростовы, и вечер уже совершенно несомненно стал похож на все вечера. Берг с Верой не могли удерживать радостной улыбки при виде этого движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршанья платьев и поклонов. Все было, как и у всех, особенно похож был генерал, похваливший квартирку, потрепавший по плечу Берга и с отеческим самоуправством распорядившийся постановкой бостонного стола. Генерал подсел к графу Илье Андреичу, как к самому знатному из гостей после себя. Старички со старичками, молодые с молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точно такие же печенья в серебряной корзинке, какие были у Паниных на вечере, все было совершенно так же, как у других.

XXI

Пьер, как один из почетнейших гостей, должен был сесть в бостон с Ильей Андреичем, генералом и полковником. Пьеру за бостонным столом пришлось сидеть против Наташи, и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. Наташа была молчалива и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида.

«Что с ней?» — подумал Пьер, взглянув на нее. Она сидела подле сестры у чайного стола и неохотно, не глядя на него, отвечала что-то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнера пять взяток, Пьер, слышавший говор приветствий и звук чьих-то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на нее.

«Что с ней сделалось?» — еще удивленнее сказал он сам себе.

Князь Андрей с бережливо-нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что-то. Она, подняв голову, разрумянившись и, видимо, стараясь удержать порывистое дыханье, смотрела на него. И яркий свет какого-то внутреннего, прежде потушенного огня опять горел в ней. Она вся преобразилась. Из дурной опять сделалась такою же, какою она была на бале.

Князь Андрей подошел к Пьеру, и Пьер заметил новое, молодое выражение и в лице своего друга.

Пьер несколько раз пересаживался во время игры, то спиной, то лицом к Наташе, и во все продолжение шести робберов делал наблюдения над ней и своим другом.

«Что-то очень важное происходит между ними», — думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре.

После шести робберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом. Вера о чем-то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошел к своему другу и, спросив, не тайна ли то, что говорится, сел подле них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на настоящем вечере, необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства, и, улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным (каким она считала князя Андрея) гостем приложить к делу свое дипломатическое искусство.

Когда Пьер подошел к ним, он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора, князь Андрей (что с ним редко бывало) казался смущен.

— Как вы полагаете? — с тонкой улыбкой говорила Вера. — Вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характеры людей. Что вы думаете о Натали, может ли она быть постоянна в своих привязанностях, может ли она так, как другие женщины (Вера разумела себя), один раз полюбить человека и навсегда остаться ему верною? Это я считаю настоящею любовью. Как вы думаете, князь?

— Я слишком мало знаю вашу сестру, — отвечал князь Андрей с насмешливой улыбкой, под которой он хотел скрыть свое смущение, — чтобы решить такой

тонкий вопрос; и потом я замечал, что чем менее нравится женщина, тем она бывает постояннее, — прибавил он и посмотрел на Пьера, подошедшего в это время к ним.

— Да, это правда, князь; в наше время, — продолжала Вера (упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем), — в наше время девушка имеет столько свободы, что le plaisir d'être courtisée [1] часто заглушает в ней истинное чувство. Et Nathalie, il faut l'avouer, y est très sensible [2]. — Возвращение к Натали опять заставило неприятно поморщиться князя Андрея; он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной улыбкой.

— Я думаю, никто так не был courtisée, как она, — говорила Вера, — но никогда, до самого последнего времени никто серьезно ей не нравился. Вот вы знаете, граф, — обратилась она к Пьеру, — даже наш милый cousin Борис, который был, entre nous, очень и очень dans le pays du tendre... [3] — говорила она, намекая на бывшую в ходу тогда карту любви.

Князь Андрей, нахмурившись, молчал.

— Вы ведь дружны с Борисом? — сказала ему Вера.

— Да, я его знаю...

— Он, верно, вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?

— А была детская любовь? — вдруг неожиданно покраснев, спросил князь Андрей.

— Да. Vous savez entre cousin et cousine cette intimité mène quelquefois à l'amour: le cousinage est un dangereux voisinage. N'est ce pas? [4]

— О, без сомнения, — сказал князь Андрей, и вдруг, неестественно оживившись, он стал шутить с Пьером о том, как он должен быть осторожным в своем обращении с своими пятидесятилетними московскими кузинами, и в середине шутливого разговора встал и, взяв под руку Пьера, отвел его в сторону.

---

[1] удовольствие быть замеченною.

[2] И Натали, надо признаться, к этому очень чувствительна.

[3] между нами будь сказано... в стране нежного.

[4] Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Двоюродные — опасное дело. Не правда ли?

— Ну что? — сказал Пьер, с удивлением смотревший на странное оживление своего друга и заметивший взгляд, который он, вставая, бросил на Наташу.

— Мне надо, мне надо поговорить с тобой, — сказал князь Андрей. — Ты знаешь наши женские перчатки (он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине). Я... Но нет, я после поговорю с тобой... — И с странным блеском в глазах и беспокойством в движениях князь Андрей подошел к Наташе и сел подле нее. Пьер видел, как князь Андрей что-то спросил у нее, и она, вспыхнув, отвечала ему.

Но в это время Берг подошел к Пьеру, настоятельно упрашивая его принять участие в споре между генералом и полковником об испанских делах.

Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Все было похоже. И дамские тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовар, и печенье; но одного еще недоставало, того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать. Недоставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем-нибудь важном и умном. Генерал начал этот разговор, и к нему-то Берг привлек Пьера.

XXII

На другой день князь Андрей поехал к Ростовым обедать, так как его звал граф Илья Андреич, и провел у них целый день.

Все в доме чувствовали, для кого ездил князь Андрей, и он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. Не только в душе Наташи, испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем-то важным, имеющим совершиться. Графиня печальными и серьезно-строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой-нибудь ничтожный разговор, как скоро он оглядывался на нее. Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ними. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуту оставалась с ним с глазу на глаз. Князь Андрей поражал ее

своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что-то, но что он не мог на это решиться.

Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шепотом сказала:

— Ну что?

— Мама! ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить, — сказала Наташа.

Но, несмотря на то, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами лежала долго в постели матери. То она рассказывала ей, как он хвалил ее, то, как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, то, как он спрашивал ее про Бориса.

— Но такого, такого... со мной никогда не бывало! — говорила она. — Только мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем, что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?

— Нет, душа моя, мне самой страшно, — отвечала мать. — Иди.

— Все равно я не буду спать. Что за глупости спать! Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало! — говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе. — И могли ли мы думать!..

Наташе казалось, что еще когда она в первый раз увидала князя Андрея в Отрадном, она влюбилась в него. Ее как будто пугало это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала еще тогда (она твердо была уверена в этом), что тот самый теперь опять встретился ей и, как кажется, неравнодушен к ней. «И надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург. И надо было нам встретиться на этом бале. Все это судьба. Ясно, что это судьба, что все это велось к этому. Еще тогда, как только я увидала его, я почувствовала что-то особенное».

— Что ж он тебе еще говорил? Какие стихи-то эти? Прочти... — задумчиво сказала мать, спрашивая про стихи, которые князь Андрей написал в альбом Наташе.

— Мама, это не стыдно, что он вдовец?

— Полно, Наташа. Молись богу. Les mariages se font dans les cieux [1].

---

[1] Браки совершаются на небесах.

— Голубушка, мамаша, как я вас люблю, как мне хорошо! — крикнула Наташа, плача слезами счастья и волнения и обнимая мать.

В это же самое время князь Андрей сидел у Пьера и говорил ему о своей любви к Наташе и твердо взятом намерении жениться на ней.

В этот день у графини Елены Васильевны был раут, был французский посланник, был принц, сделавшийся с недавнего времени частым посетителем дома графини, и много блестящих дам и мужчин. Пьер был внизу, прошелся по залам и поразил всех гостей своим сосредоточенно-рассеянным и мрачным видом.

Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них. Со времени сближения принца с его женою Пьер неожиданно был пожалован в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете всего человеческого. В это же время замеченное им чувство между покровительствуемой им Наташей и князем Андреем, своей противоположностью между его положением и положением его друга, еще усиливало это мрачное настроение. Он одинаково старался избегать мыслей о своей жене и о Наташе и князе Андрее. Опять все ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: к чему? И он дни и ночи заставлял себя трудиться над масонскими работами, надеясь отогнать приближение злого духа. Пьер в двенадцатом часу, выйдя из покоев графини, сидел у себя наверху перед столом в накуренной низкой комнате, в затасканном халате, и переписывал подлинные шотландские акты, когда кто-то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей.

— А, это вы, — сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом. — А я вот работаю, — сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.

Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, не замечая его печального лица, с эгоизмом счастия улыбнулся ему.

— Ну, душа моя, — сказал он, — я вчера хотел сказать тебе и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг.

Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван подле князя Андрея.

— В Наташу Ростову, да? — сказал он.

— Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня?.. Я стар для нее... Что ты не говоришь?..

— Я? Я? Что я говорил вам, — вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. — Я всегда это думал... Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка... Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь, женитесь, женитесь и женитесь... И я уверен, что счастливее вас не будет человека.

— Но она?

— Она любит вас.

— Не говори вздору... — сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру.

— Любит, я знаю, — сердито закричал Пьер.

— Нет, слушай, — сказал князь Андрей, останавливая его за руку. — Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому-нибудь.

— Ну, ну, говорите, я очень рад, — говорил Пьер, и действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась и он радостно слушал князя Андрея. Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться; но зато ему он уже высказывал все, что у него было на душе. То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее, говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что-то странное, чуждое, от него не зависящее, на то чувство, которое владело им.

— Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить, — говорил князь Андрей. — Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она и там все счастье, надежда, свет; другая половина — все, где ее нет, там все уныние и темнота...

— Темнота и мрак, — повторил Пьер, — да, да, я понимаю это.

— Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня.

— Да, да, — подтверждал Пьер, умиленными и грустными глазами глядя на своего друга. Чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная.

XXIII

Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу.

Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто-нибудь хотел изменить жизнь, вносить в нее что-нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», — говорил себе старик. С сыном, однако, он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил все дело:

Во-первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во-вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В-третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В-четвертых, наконец, сказал отец, насмешливо глядя на сына, «я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца для князь Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись. И это последнее мое слово, знай, последнее...» — кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год.

Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых князь Андрей вернулся в Петербург.

На другой день после своего объяснения с матерью Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. На другой, на третий день было то же, Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла объяснить его отсутствия.

Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать и, как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя, это тщеславное горе усиливало ее несчастие.

Однажды она пришла к графине, хотела что-то сказать ей и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан.

Графиня стала успокоивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее:

— Перестаньте, мама, я и не думаю и не хочу думать! Так, поездил, и перестал, и перестал...

Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала:

— И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем успокоилась...

На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которою эти звуки, переливаясь, наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много, и так хорошо», — сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь

к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. «Вот она я! — как будто говорило выражение ее лица при виде себя. — Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».

Лакей хотел войти, чтобы убрать что-то в зале, но она не пустила его, опять, затворив за ним дверь, продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. «Что за прелесть эта Наташа! — сказала она опять про себя словами какого-то третьего, собирательного мужского лица. — Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это.

В передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил: дома ли? — и послышались чьи-то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был *он*. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.

Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.

— Мама, Болконский приехал! — сказала она.— Мама, это ужасно, это несносно! Я не хочу... мучиться! Что же мне делать?..

Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана...

— Давно уже мы не имели удовольствия... — начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и, очевидно, торопясь сказать то, что ему было нужно.

— Я не был у вас все это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, — сказал он, взглянув на Наташу. — Мне нужно переговорить с вами, графиня, — прибавил он после минутного молчания.

Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.

— Я к вашим услугам, — проговорила она.

Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что-то сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.

«Сейчас? Сию минуту!.. Нет, это не может быть!» — думала она.

Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.

— Поди, Наташа, я позову тебя, — сказала графиня шепотом.

Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать и вышла.

— Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, — сказал князь Андрей.

Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.

— Ваше предложение... — степенно начала графиня. Он молчал, глядя ей в глаза. — Ваше предложение... (она сконфузилась) нам приятно, и... я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой... я надеюсь... но от нее самой будет зависеть...

— Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие... даете ли вы мне его? — сказал князь Андрей.

— Да, — сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек.

— Я уверена, что мой муж будет согласен, — сказала графиня, — но ваш батюшка...

— Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это-то я хотел сообщить вам, — сказал князь Андрей.

— Правда, что Наташа еще молода, но — так долго!

— Это не могло быть иначе, — со вздохом сказал князь Андрей.

— Я пошлю вам ее, — сказала графиня и вышла из комнаты.

— Господи, помилуй нас, — твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати бледная, с сухими глазами, смотрела на образ и, быстро крестясь, шептала что-то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.

— Что? мама?.. Что?

— Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, — сказала графиня холодно, как показалось Наташе... — Поди... поди, — проговорила мать с грустью и укоризной вслед убегавшей дочери и тяжело вздохнула.

Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь *все* для меня?» — спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, все: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза.

— Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?

Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь».

Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал.

— Любите ли вы меня?

— Да, да, — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала.

— О чем? Что с вами?

— Ах, я так счастлива, — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.

Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее.

— Сказала ли вам maman, что это не может быть раньше года? — сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза.

«Неужели это я, та девочка-ребенок (все так говорили обо мне), — думала Наташа, — неужели я теперь с этой минуты *жена*, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить жизнию, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?»

— Нет, — отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал.

— Простите меня, — сказал князь Андрей, — но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя.

Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов, и не понимала.

— Как ни тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастие, — продолжал князь Андрей, — в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастие; но вы свободны: помолвка наша останется тайной, и ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы... — сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.

— Зачем вы это говорите? — перебила его Наташа. — Вы знаете, что с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я полюбила вас, — сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду.

— В год вы узнаете себя...

— Це-лый год! — вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, что свадьба отсрочена на год. — Да отчего ж год? Отчего ж год?.. — Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не слушала его.

— И нельзя иначе? — спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице выразил невозможность изменить это решение.

— Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! — вдруг заговорила Наташа и опять зарыдала. — Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно. — Она взглянула в лицо своего жениха и увидала в нем выражение сострадания и недоумения.

— Нет, нет, я все сделаю, — сказала она, вдруг остановив слезы, — я так счастлива!

Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту.

С этого дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым.

XXIV

Обручения не было, и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей; на этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что

он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собою разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом; но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день у Ростовых, но не как жених обращался с Наташей; он говорил ей *вы* и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие, чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. И он и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще *ничем*; теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами: тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем; он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостию уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится, и что никто не должен бояться его. После нескольких дней в семействе к нему привыкли и, не стесняясь, вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом, и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как все это случилось и как очевидны были предзнаменования этого: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805-м году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними.

В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто, сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, все так же молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Анд-

рей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними.

— Отчего? — испуганно сказала Наташа...

— Я не могу отнять его у деда и потом...

— Как бы я его любила! — сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль, — но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня.

Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя: «Что он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом? Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила в свойственное ей безумно-веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее.

Накануне своего отъезда из Петербурга князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.

— Вы ведь давно знаете Безухова? — спросил он. — Вы любите его?

— Да, он славный, но смешной очень.

И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него.

— Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, — сказал князь Андрей. — Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали, — сказал он вдруг серьезно, — я уеду. Бог знает что может случиться. Вы можете раз-

лю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, — что бы ни случилось с вами, когда меня не будет...

— Что ж случится?..

— Какое бы горе ни было, — продолжал князь Андрей, — я вас прошу, mademoiselle Sophie, что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце.

Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставанье с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку.

— Не уезжайте! — только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала; но несколько дней она, не плача, сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: «Ах, зачем он уехал!»

Но через две недели после его отъезда она, так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, но только с измененной нравственной физиономией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.

XXV

Здоровье и характер князя Николая Андреевича Болконского в этот последний год после отъезда сына очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспричинного гнева большей частью обрушивались на княжну Марью. Он как будто старательно изыскивал все самые больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У княжны Марьи были две страсти и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни говорили, он сводил разговор на суеверия старых девок или на баловство и порчу детей. «Тебе хочется его (Николушку) сделать такой же старой девкой, как сама; на-

прасно: князю Андрею нужно сына, а не девку», — говорил он. Или, обращаясь к mademoiselle Bourienne, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил...

Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог бы он быть виноват перед нею, и разве мог отец ее, который (она все-таки знала это) любил ее, быть к ней несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: справедливость. Все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе — в законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он — бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.

Зимою в Лысые Горы приезжал князь Андрей, был весел, кроток и нежен, каким его давно не видала княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним случилось что-то, но он ничего не сказал княжне Марье о своей любви. Перед отъездом князь Андрей долго беседовал о чем-то с отцом, и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом.

Вскоре после отъезда князя Андрея княжна Марья писала из Лысых Гор в Петербург своему другу Жюли Карагиной, которую княжна Марья мечтала, как мечтают всегда девушки, выдать за своего брата и которая в это время была в трауре по случаю смерти своего брата, убитого в Турции.

«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг Julie.

Ваша потеря так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенной милостью бога, который хочет испытать — любя вас — вас и вашу превосходную мать. Ах, мой друг, религия, и только одна религия, может нас уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния; одна религия может объяснить нам то, чего без ее помощи не может понять человек: для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастие в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастия других, — призываются к богу, а остаются

жить злые, бесполезные, вредные или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду, — смерть моей милой невестки, произвела на меня такое впечатление. Точно так же, как и вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу — Лизе, которая не только не сделала какого-нибудь зла человеку, но никогда, кроме добрых мыслей, не имела в своей душе. И что ж, мой друг? вот прошло с тех пор пять лет, и я, с своим ничтожным умом, уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости творца, все действия которого, хотя мы их большею частью не понимаем, суть только проявления его бесконечной любви к своему творению. Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтоб иметь силу перенести все обязанности матери. Она была безупречна как молодая жена; может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь, мало того, что она оставила нам, и в особенности князю Андрею, самое чистое сожаление и воспоминание, она там, вероятно, получит то место, которого я не смею надеяться для себя. Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня и на брата. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли прийти мне; тогда я с ужасом отогнала бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу все это вам, мой друг, только для того, чтоб убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы нашей не упадет без его воли. А воля его руководствуется только одною беспредельною любовью к нам, и потому все, что ни случается с нами, все для нашего блага. Вы спрашиваете, проведем ли мы следующую зиму в Москве? Несмотря на все желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиною тому Буонапарте. И вот почему: здоровье отца моего заметно слабеет: он не может переносить противоречий и делается раздражителен. Раздражительность эта, как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буонапарте ведет дело как с равными со всеми государями Европы, и в особенности с нашим, внуком великой Екатерины! Как вы знаете, я совершенно

равнодушна к политическим делам, но из слов моего отца и разговоров его с Михаилом Ивановичем я знаю все, что делается в мире, и в особенности все почести, воздаваемые Буонапарте, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах на всем земном шаре не признают ни великим человеком, ни еще меньше французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем, высказывать свои мнения, неохотно говорит о поездке в Москву. Все, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буонапарте, которые неминуемы. Во всяком случае, это решится очень скоро. Семейная жизнь наша идет по-старому, за исключением присутствия брата Андрея. Он, как я уже писала вам, очень изменился последнее время. После его горя он теперь только, в нынешнем году, совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком: добрым, нежным, с тем золотым сердцем, которому я не знаю равного. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена. Но вместе с этою нравственной переменой он физически очень ослабел. Он стал худее, чем прежде, нервнее. Я боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку за границу, которую доктора уже давно предписывали ему. Я надеюсь, что это поправит его. Вы мне пишете, что в Петербурге о нем говорят как об одном из самых деятельных, образованных и умных молодых людей. Простите за самолюбие родства — я никогда в этом не сомневалась. Нельзя счесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная от своих мужиков и до дворян. Приехав в Петербург, он взял только то, что ему следовало. Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из Петербурга в Москву, и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете, — слух о мнимой женитьбе брата на маленькой Ростовой. Я не думаю, чтоб Андрей когда-нибудь женился на ком бы то ни было и в особенности на ней. И вот почему: во-первых, я знаю, что хотя он и редко говорит о покойной жене, но печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда-нибудь он решился дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому ангелу. Во-вторых, потому, что, сколько я знаю, эта девушка совсем не из того разряда женщин, которые могут нравиться князю Андрею. Не думаю, чтобы князь Андрей

выбрал ее своею женою, и откровенно скажу: я не желаю этого. Но я заболталась, кончаю свой второй листок. Прощайте, мой милый друг; да сохранит вас бог под своим святым и могучим покровом. Моя милая подруга, mademoiselle Bourienne, целует вас.

Мари».

XXVI

В середине лета княжна Марья получила неожиданное письмо от князя Андрея из Швейцарии, в котором он сообщал ей странную и неожиданную новость. Князь Андрей объявлял о своей помолвке с Ростовой. Все письмо его дышало любовной восторженностью к своей невесте и нежной дружбой и доверием к сестре. Он писал, что никогда он не любил так, как любит теперь, и что теперь только понял и узнал жизнь. Он просил сестру простить его за то, что в свой приезд в Лысые Горы он ничего не сказал ей об этом решении, хотя и говорил об этом с отцом. Он не сказал ей этого потому, что княжна Марья стала бы просить отца дать свое согласие и, не достигнув бы цели, раздражила бы отца и на себе бы понесла всю тяжесть его неудовольствия. Впрочем, писал он, тогда еще дело было не так окончательно решено, как теперь. «Тогда отец назначил мне срок год, и вот уже *шесть* месяцев, половина, прошло из назначенного срока, и я остаюсь более чем когда-нибудь тверд в своем решении. Ежели бы доктора не задерживали меня здесь на водах, я бы сам был в России, но теперь возвращение мое я должен отложить еще на три месяца. Ты знаешь меня и мои отношения с отцом. Мне ничего от него не нужно, я был и буду всегда независим, но сделать противное его воле, заслужить его гнев, когда, может быть, так недолго осталось ему быть с нами, разрушило бы наполовину мое счастие. Я пишу теперь ему письмо о том же и прошу тебя, выбрав добрую минуту, передать ему письмо и известить меня о том, как он смотрит на все это и есть ли надежда на то, чтоб он согласился сократить срок на три месяца».

После многих колебаний, сомнений и молитв княжна Марья передала письмо отцу. На другой день старый князь сказал ей спокойно:

— Напиши брату, чтобы подождал, пока умру... Не долго — скоро развяжу...

Княжна хотела возразить что-то, но отец не допустил ее и стал все более и более возвышать голос.

— Женись, женись, голубчик... Родство хорошее!.. Умные люди, а? Богатые, а? Да. Хороша у Николушки мачеха будет. Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра. Мачеха Николушки будет — она, а я на Бурьенке женюсь!.. Ха, ха, ха, и ему чтобы без мачехи не быть! Только одно, в моем доме больше баб не нужно; пускай женится, сам по себе живет. Может, и ты к нему переедешь? — обратился он к княжне Марье. — С богом, по морозцу, по морозцу... по морозцу!..

После этой вспышки князь не говорил больше ни разу об этом деле. Но сдержанная досада за малодушие сына выразилась в отношениях отца с дочерью. К прежним предлогам насмешек прибавился еще новый — разговор о мачехе и любезности к m-lle Bourienne.

— Отчего же мне на ней не жениться? — говорил он дочери. — Славная княгиня будет! — И в последнее время, к недоуменью и удивленью своему, княжна Марья стала замечать, что отец ее действительно начинал больше и больше приближать к себе француженку. Княжна Марья написала князю Андрею о том, как отец принял его письмо; но утешала брата, подавая надежду примирить отца с этой мыслью.

Николушка и его воспитание, André и религия были утешениями и радостями княжны Марьи; но, кроме того, так как каждому человеку нужны свои личные надежды, у княжны Марьи была в самой глубокой тайне ее души скрытая мечта и надежда, доставлявшая ей главное утешение в ее жизни. Утешительную мечту и надежду эту дали ей божьи люди — юродивые и странники, посещавшие ее тайно от князя. Чем больше жила княжна Марья, чем больше испытывала она жизнь и наблюдала ее, тем более удивляла ее близорукость людей, ищущих здесь, на земле, наслаждений и счастья; трудящихся, страдающих, борющихся и делающих зло друг другу для достижения этого невозможного, призрачного и порочного счастия. «Князь Андрей любил жену, она умерла, ему мало этого, он хочет связать свое счастие с другой женщиной. Отец не хочет этого, потому что желает для Андрея более знатного и богатого супружества. И все они борются, и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу, для достижения благ, которым срок есть мгновенье. Мало того, что мы сами знаем это, — Христос, сын бога, сошел

на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытание, а мы всё держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого? — думала княжна Марья. — Никто, кроме этих презренных божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтобы его не ввести в грех. Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы, не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место, не делая вреда людям и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые покровительствуют: выше этой истины и жизни нет истины и жизни!»

Была одна странница, Федосьюшка, пятидесятилетняя маленькая, тихонькая, рябая женщина, ходившая уже более тридцати лет босиком и в веригах. Ее особенно любила княжна Марья. Однажды, когда в темной комнате, при свете одной лампадки, Федосьюшка рассказывала о своей жизни, княжне Марье вдруг с такой силой пришла мысль о том, что Федосьюшка одна нашла верный путь жизни, что она решилась сама пойти странствовать. Когда Федосьюшка ушла спать, княжна Марья долго думала над этим и, наконец, решила, что, как ни странно это было, ей надо было идти странствовать. Она поверила свое намерение только одному духовнику-монаху, отцу Акинфию, и духовник одобрил ее намерение. Под предлогом подарка странницам, княжна Марья припасла себе полное одеяние странницы: рубашку, лапти, кафтан и черный платок. Часто, подходя к заветному комоду, княжна Марья останавливалась в нерешительности о том, не наступило ли уже время для приведения в исполнение ее намерения.

Часто, слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми, для них механическими, а для нее полными глубокого смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить все и бежать из дому. В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам, и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство.

«Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить — пойду дальше. И буду идти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где-нибудь, и приду, наконец, в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания!..» — думала княжна Марья.

Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница: любила отца и племянника больше, чем бога.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность — было условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие все тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы.

Николай Ростов испытывал вполне это блаженство, после 1807 года продолжая служить в Павлоградском полку, в котором он уже командовал эскадроном, принятым от Денисова.

Ростов сделался загрубелым, добрым малым, которого московские знакомые нашли бы несколько mauvais genre [1], но который был любим и уважаем товарищами, подчиненными и начальством и который был доволен своею жизнью. В последнее время, т. е. в 1809 году, он чаще в письмах из дому находил сетования матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже и что пора бы ему приехать домой, обрадовать и успокоить стариков родителей.

---

[1] дурного тона.

Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести его из той среды, в которой он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с учетами управляющих, ссорами, интригами, с связями, с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Все это было страшно трудно, запутано, и он отвечал на письма матери холодными классическими письмами, начинавшимися: «Ma chère maman [1] и кончавшимися: votre obéissant fils» [2], умалчивая о том, когда он намерен приехать. В 1810 году он получил письма родных, в которых извещали его о помолвке Наташи с Болконским и о том, что свадьба будет через год, потому что старый князь не согласен. Это письмо огорчило, оскорбило Николая. Во-первых, ему жалко было потерять из дома Наташу, которую он любил больше всех из семьи; во-вторых, он с своей гусарской точки зрения жалел о том, что его не было при этом, потому что он бы показал этому Болконскому, что совсем не такая большая честь родство с ним, и что ежели он любит Наташу, то может обойтись и без разрешения сумасбродного отца. Минуту он колебался, не попроситься ли в отпуск, чтоб увидать Наташу невестой, но тут подошли маневры, пришли соображения о Соне, о путанице, и Николай опять отложил. Но весной того же года он получил письмо матери, писавшей тайно от графа, и письмо это убедило его ехать. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дело, то все имение пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что все идет хуже и хуже. «Ради бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и все твое семейство несчастными», — писала графиня.

Письмо это подействовало на Николая. У него был тот здравый смысл посредственности, который показывал ему, что было *должно*.

Теперь должно было ехать, если не в отставку, то в отпуск. Почему надо было ехать, он не знал; но выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно не езженного и страшно злого жеребца, и, вернувшись на взмыленном жеребце домой, объявил Лаврушке (лакей Денисова

---

[1] Милая матушка.
[2] ваш послушный сын.

остался у Ростова) и пришедшим вечером товарищам, что подает в отпуск и едет домой. Как ни трудно и странно было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в ротмистры или получит Анну за последние маневры; как ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых польский граф торговал у него и которых Ростов на пари бил, что продаст за две тысячи; как ни непонятно казалось, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшаздецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Боржозовской,— он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где все было вздор и путаница. Через неделю вышел отпуск. Гусары, товарищи не только по полку, но и по бригаде, дали обед Ростову, стоивший с головы по пятнадцати рублей подписки,— играли две музыки, пели два хора песенников; Ростов плясал трепака с майором Басовым; пьяные офицеры качали, обнимали и уронили Ростова; солдаты третьего эскадрона еще раз качали его и кричали ура! Потом Ростова положили в сани и проводили до первой станции.

До половины дороги, как это всегда бывает, от Кременчуга до Киева, все мысли Ростова были еще назади — в эскадроне; но перевалившись за половину, уже он начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра и панну Боржозовску и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее (как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону притяжения обратно квадратам расстояний), он думал о своем доме; на последней перед Отрадным станции дал ямщику три рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома.

После восторгов встречи и после того странного чувства неудовлетворения в сравнении с тем, чего ожидаешь (все то же, к чему же я так торопился!), Николай стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели. Новое в них было какое-то беспокойство и иногда несогласие, которого не бывало прежде и которое, как скоро узнал Николай, происходило от дурного положения дел. Соне был уже двадцатый год. Она уже остановилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было; но и этого было достаточно. Она вся дышала счастьем и любовью с тех пор, как приехал Нико-

лай, и верная, непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него. Петя и Наташа больше всех удивили Николая. Петя был уже большой, тринадцатилетний, красивый, весело и умно-шаловливый мальчик, у которого уже ломался голос. На Наташу Николай долго удивлялся и смеялся, глядя на нее.

— Совсем не та, — говорил он.

— Что ж, подурнела?

— Напротив, но важность какая-то. Княгиня? — сказал он ей шепотом.

— Да, да, да, — радостно говорила Наташа.

Наташа рассказала ему свой роман с князем Андреем, его приезд в Отрадное и показала его последнее письмо.

— Что ж, ты рад? — спрашивала Наташа. — Я так теперь спокойна, счастлива.

— Очень рад, — отвечал Николай. — Он отличный человек. Что ж, ты очень влюблена?

— Как тебе сказать, — отвечала Наташа, — я была влюблена в Бориса, в учителя, в Денисова, но это совсем не то. Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и так мне спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде...

Николай выразил Наташе свое неудовольствие в том, что свадьба была отложена на год: но Наташа с ожесточением напустилась на брата, доказывая ему, что это не могло быть иначе, что дурно бы было вступить в семью против воли отца, что она сама этого хотела.

— Ты совсем, совсем не понимаешь, — говорила она. Николай замолчал и согласился с нею.

Брат часто удивлялся, глядя на нее. Совсем не было похоже, чтобы она была влюбленная невеста в разлуке с своим женихом. Она была ровна, спокойна, весела совершенно по-прежнему. Николая это удивляло и даже заставляло недоверчиво смотреть на сватовство Болконского. Он не верил в то, что ее судьба уже решена, тем более что он не видал с нею князя Андрея. Ему все казалось, что что-нибудь не то в этом предполагаемом браке.

«Зачем отсрочка? Зачем не обручились?» — думал он. Разговорившись раз с матерью о сестре, он, к удивлению своему и удовольствию отчасти, нашел, что мать точно так же в глубине души иногда недоверчиво смотрела на этот брак.

— Вот пишет, — говорила она, показывая сыну письмо князя Андрея с тем затаенным чувством недоброжела-

тельства, которое всегда есть у матери против будущего супружеского счастия дочери, — пишет, что не приедет раньше декабря. Какое же это дело может задержать его? Верно, болезнь! Здоровье слабое очень. Ты не говори Наташе. Ты не смотри, что она весела: это уж последнее девичье время доживает, а я знаю, что с ней делается всякий раз, как письма его получает. А впрочем, бог даст, все и хорошо будет, — заключала она всякий раз, — он отличный человек.

II

Первое время своего приезда Николай был серьезен и даже скучен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего приезда он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него *счеты всего.* Что такое были эти *счеты всего,* Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, со страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал как будто все возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим.

— Разбойник! Неблагодарная тварь!.. изрублю собаку... не с папенькой... обворовал... ракалья.

Потом эти люди с не меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитыми кровью глазами, за шиворот вытащил Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул его под зад и закричал: «Вон! чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было!»

Митенька стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. (Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы.)

Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый

самовар и воздымалась приказчицкая высокая постель под стеганым одеялом, сшитым из коротких кусочков.

Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительным шагом прошел мимо их и пошел в дом.

Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, с другой стороны, она беспокоилась о том, как перенесет это ее сын. Она подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой.

На другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкой улыбкой сказал ему:

— А знаешь ли ты, моя душа, напрасно погорячился! Мне Митенька рассказал все.

«Я знал, — подумал Николай, — что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».

— Ты рассердился, что он не вписал эти семьсот рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел.

— Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему.

— Нет, моя душа. (Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал, как поправить это.) Нет, я прошу тебя заняться делами, я стар, я...

— Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное; я меньше вашего умею.

«Черт с ними, с этими мужиками, и деньгами, и транспортами по странице, — думал он. — Еще от угла на шесть кушей я понимал когда-то, но по странице транспорт — ничего не понимаю», — сказал он сам себе и с тех пор более не вступался в дела. Только однажды графиня позвала к себе сына, сообщила ему о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на две тысячи, и спросила у Николая, как он думает поступить с ним.

— А вот как, — отвечал Николай. — Вы мне сказали, что это от меня зависит; я не люблю Анну Михайловну и не люблю Бориса, но они были дружны с нами и бедны. Так вот как! — и он разорвал вексель, и этим поступком слезами радости заставил рыдать старую графиню. После этого молодой Ростов, уже не вступаясь более ни в какие

дела, с страстным увлечением занялся еще новыми для него делами псовой охоты, которая в больших размерах была заведена у старого графа.

III

Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зеленя уклочились и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами, стали золотистыми и ярко-красными островами посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затерся (перелинял), лисьи выводки начинали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время. Собаки горячего молодого охотника Ростова уже не только вошли в охотничье тело, но и подбились так, что в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам и 16 сентября идти в отъезд, начиная с Дубравы, где был нетронутый волчий выводок.

В таком положении были дела 14-го сентября.

Весь этот день охота была дома; было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать и оттеплело. 15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидал такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты: как будто небо таяло и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе, было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель мги или тумана. На оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли и падали на только что свалившиеся листья. Земля на огороде, как мак, глянцевито-мокро чернела и в недалеком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана. Николай вышел на мокрое с натасканной грязью крыльцо; пахло вянущим листом и собаками. Черно-пегая широкозадая сука Милка с большими черными навыкате глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и легла по-русачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула его прямо в нос и усы. Другая борзая собака, увидав хозяина с цветной дорожки, выгибая спину, стремительно бросилась к крыль-

цу и, подняв прави́ло (хвост), стала тереться о ноги Николая.

— О гой! — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас и самый тонкий тенор; и из-за угла вышел доезжачий и ловчий Данило, по-украински в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник, с гнутым арапником в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином и презрительно посмотрел на него. Презрение это не было оскорбительно для барина: Николай знал, что этот все презирающий и превыше всего стоящий Данило все-таки был его человек и охотник.

— Данила! — сказал Николай, робко чувствуя, что при виде этой охотничьей погоды, этих собак и охотника его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил протодиаконский, охриплый от порсканья бас, и два черные блестящие глаза взглянули исподлобья на замолчавшего барина. «Что, или не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза.

— Хорош денек, а? И гоньба и скачка, а? — сказал Николай, чеша за ушами Милку.

Данило не отвечал и помигал глазами.

— Уварку посылал послушать на заре, — сказал его бас после минутного молчанья, — сказывал, в отрадненский заказ *перевела,* там выли. (Перевела значило то, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в отрадненский лес, который был за две версты от дома и который был небольшое отъемное место.)

— А ведь ехать надо? — сказал Николай. — Приди-ка ко мне с Уваркой.

— Как прикажете!

— Так погоди же кормить.

— Слушаю.

Через пять минут Данило с Уваркой стояли в большом кабинете Николая. Несмотря на то, что Данило был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни. Данило сам это чувствовал и, как обыкновенно, стоял у самой две-

ри, стараясь говорить тише, не двигаться, чтобы не поломать как-нибудь господских покоев, и стараясь поскорее все высказать и выйти на простор из-под потолка под небо.

Окончив расспросы и выпытав сознание Данилы, что собаки ничего (Даниле и самому хотелось ехать), Николай велел седлать. Но только что Данило хотел выйти, как в комнату вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и не одетая, в большом нянином платке. Петя вбежал вместе с ней.

— Ты едешь? — сказала Наташа. — Я так и знала! Соня говорила, что не поедете. Я знала, что нынче такой день, что нельзя не ехать.

— Едем, — неохотно отвечал Николай, которому нынче, так как он намеревался предпринять серьезную охоту за волками, не хотелось брать Наташу и Петю. — Едем, да только за волками: тебе скучно будет.

— Ты знаешь, что это самое большое мое удовольствие, — сказала Наташа. — Это дурно — сам едет, велел седлать, а нам ничего не сказал.

— Тщетны россам все препоны, едем! — прокричал Петя.

— Да ведь тебе и нельзя: маменька сказала, что тебе нельзя, — сказал Николай, обращаясь к Наташе.

— Нет, я поеду, непременно поеду, — сказала решительно Наташа. — Данила, вели нам седлать, и Михайла чтобы выезжал с моей сворой, — обратилась она к ловчему.

И так-то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней — для него казалось невозможным. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь как-нибудь нечаянно не повредить барышню.

IV

Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 15-го сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать.

Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего

рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меринка, называемого Вифлянкой, вел графский стремянной; сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках.

Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников.

Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шуму и разговоров, равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшими к отрадненскому лесу.

Как по пушному ковру, шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю; в воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, не шедшей на своем месте.

Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте из тумана показались еще пять всадников с собаками. Впереди ехал свежий, красивый старик с большими седыми усами.

— Здравствуйте, дядюшка! — сказал Николай, когда старик подъехал к нему.

— Чистое дело марш!.. Так и знал, — заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых), — так и знал, что не вытерпишь, и хорошо, что едешь. Чистое дело марш! (Это была любимая поговорка дядюшки.) Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик донес, что Илагины с охотой в Корниках стоят, они у тебя — чистое дело марш! — под носом выводок возьмут.

— Туда и иду. Что же, свалить стаи? — спросил Николай. — Свалить...

Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом. Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное с блестящими глазами лицо, подскакала к ним, сопутствуемая не отстававшими от нее Петей и Михайлой-охотником и берейтором, который был приставлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил

и дергал свою лошадь. Наташа ловко и уверенно сидела на своем вороном Арабчике и верною рукой, без усилия, осадила его.

Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты.

— Здравствуйте, дядюшка, и мы едем, — прокричал Петя.

— Здравствуйте-то здравствуйте, да собак не передавите, — строго сказал дядюшка.

— Николенька, какая прелестная собака Трунила! он узнал меня, — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку.

«Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это.

— Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь, — сказала Наташа. — Мы станем на своем месте и не пошевелимся.

— И хорошее дело, графинечка, — сказал дядюшка. — Только с лошади-то не упадите, — прибавил он, — а то — чистое дело марш! — не на чем держаться-то.

Остров Отрадненского заказа виднелся саженях во ста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и, указав Наташе место, где ей стоять и где никак ничего не могло побежать, направился в заезд над оврагом.

— Ну, племянничек, на матерого становишься, — сказал дядюшка, — чур, не гладить.

— Как придется, — отвечал Ростов. — Карай, фюит! — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка. Все стали по местам.

Старый граф, зная охотничью горячность сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленям к оставленному ему лазу и, расправив шубку и надев охотничьи снаряды, взлез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, поседевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослали. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник по душе, но знавший твердо охотничьи законы, въехал в опушку кустов, от которых он стоял, разобрал

поводья, оправился на седле и, чувствуя себя готовым, оглянулся, улыбаясь.

Подле него стоял его камердинер, старинный, но отяжелевший ездок, Семен Чекмарь. Чекмарь держал на своре трех лихих, но так же зажиревших, как хозяин и лошадь, волкодавов. Две собаки, умные, старые, улеглись без свор. Шагов на сто подальше в опушке стоял другой стремянный графа, Митька, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по старинной привычке, выпил перед охотой серебряную чарку охотничьей запеканочки, закусил и запил полубутылкой своего любимого бордо.

Илья Андреич был немножко красен от вина и езды; глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, укутанный в шубку, сидя на седле, имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Худой, со втянутыми щеками Чекмарь, устроившись с своими делами, поглядывал на барина, с которым он жил тридцать лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно (видно, уже оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде, в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Ивановна.

— Ну, Настасья Ивановна, — подмигивая ему, шепотом сказал граф, — ты только оттопай зверя, тебе Данило задаст.

— Я сам... с усам, — сказал Настасья Ивановна.

— Шшшш! — зашикал граф и обратился к Семену.

— Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена. — Где она?

— Они с Петром Ильичом от Жаровых бурьянов стали, — отвечал Семен, улыбаясь. — Тоже дамы, а охоту большую имеют.

— А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? — сказал граф. — Хоть бы мужчине впору!

— Как не дивиться? Смело, ловко!

— А Николаша где? Над Лядовским верхом, что ли? — все шепотом спрашивал граф.

— Так точно-с. Уж они знают, где стать. Так тонко езду знают, что мы с Данилой другой раз диву даемся, — говорил Семен, зная, чем угодить барину.

— Хорошо ездит, а? А на коне-то каков, а?

— Картину писать! Как намеднись из Заварзинских бурьянов помкнули лису. Они перескакивать стали, от уй-

мища, страсть — лошадь тысяча рублей, а седоку цены нет! Да, уж такого молодца поискать!

— Поискать... — повторил граф, видимо, сожалея, что кончилась так скоро речь Семена. — Поискать, — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку.

— Намедни как от обедни во всей регалии вышли, так Михаил-то Сидорыч... — Семен не договорил, услыхав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. — На выводок натекли... — прошептал он, — прямо на Лядовской повели.

Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы; стая присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гона по волку. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно-тонкий. Голос Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле.

Прислушавшись несколько секунд молча, граф и его стремянный убедились, что гончие разбились на две стаи: одна, большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться, другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

— Назад! — крикнул Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку. Настасья Ивановна слез и стал поднимать ее.

Граф и Семен смотрели на него. Вдруг, как это часто бывает, звук гона мгновенно приблизился, как будто вот-вот перед ними самими были лающие рты собак и улюлюканье Данилы.

Граф оглянулся и направо увидал Митьку, который выкатывавшимися глазами смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ему вперед, на другую сторону.

— Береги! — закричал он таким голосом, что видно было, что это слово давно уже мучительно просилось у не-

го наружу. И поскакал, выпустив собак, по направлению к графу.

Граф и Семен выскакали из опушки и налево от себя увидали волка, который, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули и, сорвавшись со свор, понеслись к волку мимо ног лошадей.

Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой и, мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку. В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк. Вслед за гончими расступились кусты орешника, и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком, валясь вперед, сидел Данило, без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным, потным лицом.

— Улюлюлю, улюлю!.. — кричал он. Когда он увидал графа, в глазах его сверкнула молния.

— Ж...! — крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа.

— Про...ли волка-то!.. охотники! — И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. Но Семена уже не было: он, в объезд по кустам, заскакивал волка от засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.

V

Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих он чувствовал то, что́ совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где-нибудь травили

и что что-нибудь случилось неблагополучное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить его. Надежда сменялась отчаянием. Несколько раз он обращался к богу с мольбой о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что тебе стоит, — говорил он богу, — сделать это для меня! Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом; но, ради бога, сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо.

«Нет, не будет этого счастья, — думал Ростов, — а что бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» — думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидал, что по пустынному полю навстречу к нему бежало что-то. «Нет, это не может быть!» — подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седой спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов, не дыша, оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках.

— Улюлюлю, — шепотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай дочесал свою ляжку и встал, насторо-

жив уши, и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти.

«Пускать? не пускать?» — говорил сам себе Николай в то время, как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился — назад или вперед? «Э! все равно, вперед!..» — видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком.

— Улюлю!.. — не своим голосом закричал Николай, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины впоперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки. Николай не слыхал ни своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по лощине. Первая показалась вблизи зверя черно-пегая, широкозадая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и, вместо того, чтобы наддать, как это она всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги.

— Улюлюлюлю! — кричал Николай.

Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему.

«Уйдет! Нет, это невозможно», — думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом.

— Карай! Улюлю!.. — кричал он, отыскивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду. Карай из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело скакал в сторону от зверя, наперерез ему. Но по быстроте скока волка и медленности скока собаки было видно, что расчет Карая был ошибочен. Николай уже не далеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волк уйдет наверное. Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти навстречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругий молодой длинный кобель

чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами — и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю.

— Караюшка! Отец!.. — плакал Николай.

Старый кобель, с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног, и наддал скоку. Но тут — Николай видел только, что что-то сделалось с Караем, — он мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ними.

Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из-под которых виднелась седая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держал его за горло), — минута, когда увидал это Николай, была счастливейшею минутою его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины. Волк ляскнул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай с ощетинившейся шерстью, вероятно, ушибленный или раненый, с трудом вылез из водомоины.

— Боже мой! За что?.. — с отчаянием закричал Николай.

Охотник дядюшки с другой стороны скакал наперерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили.

Николай, его стремянной, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюка́я, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился на зад, и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале этой травли Данило, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как Карай взял волка, и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и

опять пошел наутек, Данило выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией, к засеке, так же как Карай, — наперерез зверю. Благодаря этому направлению он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки.

Данило скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого.

Николай не видал и не слыхал Данилы до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не услыхал звук паденья тела и не увидал, что Данило уже лежит в середине собак, на заду волка, стараясь поймать его за уши. Очевидно было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь все кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данило, привстав, сделал падающий шаг и всею тяжестью, как будто ложась отдыхать, повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данило прошептал: «Не надо, соструним», — и, переменив положение, наступил ногою на шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данило раза два с одного бока на другой перевалил волка.

С счастливыми, измученными лицами живого матерого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь и, сопутствуемые визжавшими на него собаками, повезли к тому месту, где должны были все собраться. Молодых двух взяли гончие и трех — борзые. Охотники съезжались с своими добычами и рассказами, и все подходили смотреть матерого волка, который, свесив лобастую голову с закушенной палкой во рту, большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех.

Граф Илья Андреич тоже подъехал и потрогал волка.

— О, материщий какой, — сказал он. — Матерый, а? — спросил он у Данилы, стоявшего подле него.

— Матерый, ваше сиятельство, — отвечал Данило, поспешно снимая шапку.

Граф вспомнил своего прозеванного волка и свое столкновение с Данилой.

— Однако, брат, ты сердит, — сказал граф. Данило ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски-кроткой и приятной улыбкой.

VI

Старый граф поехал домой. Наташа с Петей остались с охотой, обещаясь сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жнивье, видел всех своих охотников.

Насупротив от Николая были зеленя, и там стоял его охотник, один, в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих, Николай услыхал редкий гон известной ему собаки — Волторна; другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту из острова подали голос по лисе, и вся стая, свалившись, погнала по отвершку, по направлению к зеленям, прочь от Николая.

Он видел скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак и всякую секунду ждал того, что на той стороне, на зеленях, покажется лисица.

Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидал красную, низкую, странную лисицу, которая, распушив трубу, торопливо неслась по зеленям. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизились, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой (хвостом), и вот налетела чья-то белая собака, и вслед за ней черная, и все смешалось, и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки. К собакам подскакали два охотника: один в красной шапке, другой чужой, в зеленом кафтане.

«Что это такое? — подумал Николай. — Откуда взялся этот охотник? Это не дядюшкин».

Охотники отбили лисицу и долго, не тороча, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади с своими выступами седел и лежали собаки. Охотники махали руками и что-то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук рога — условленный сигнал драки.

— Это илагинский охотник что-то с нашим Иваном бунтует, — сказал стремянный Николая.

Николай послал стремянного подозвать к себе сестру и Петю и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки.

Николай, слезши с лошади, остановился подле гончих с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о

том, чем кончится дело. Из-за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тороках и подъехал к молодому барину. Он издалека снял шапку и старался говорить почтительно; но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз был у него подбит, но он, вероятно, и не знал этого.

— Что у вас там было? — спросил Николай.

— Как же, из-под наших гончих он травить будет! Да и сука-то моя мышастая поймала. Поди, судись! За лисицу хватает! Я его лисицей ну катать. Отдай, в тороках. А этого хочешь? — говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит с своим врагом.

Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная илагинская охота.

Охотник-победитель въехал в толпу охотников и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг.

Дело было в том, что Илагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах, по обычаю принадлежавших Ростовым, и теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из-под чужих гончих.

Николай никогда не видал Илагина, но, как и всегда в своих суждениях и чувствах не зная середины, по слухам о буйстве и своевольстве этого помещика, всей душой ненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он озлобленно-взволнованный ехал теперь к нему, крепко сжимая арапник в руке, в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага.

Едва он выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе, на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя стремянными.

Вместо врага Николай нашел в Илагине представительного, учтивого барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Подъехав к Ростову, Илагин приподнял бобровый картуз и сказал, что очень жалеет о том, что случилось; что велит наказать охотника, позволившего себе травить из-под чужих собак, просил графа быть знакомым и предлагал ему свои места для охоты.

Наташа, боявшаяся, что брат ее наделает что-нибудь ужасное, в волнении ехала недалеко за ним. Увидав, что

враги дружелюбно раскланиваются, она подъехала к ним. Илагин еще выше приподнял свой бобровый картуз перед Наташей и, приятно улыбнувшись, сказал, что графиня представляет Диану и по страсти к охоте, и по красоте своей, про которую он много слышал.

Илагин, чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором было, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился, и охота, еще вдвое увеличившаяся, тронулась дальше.

Идти до илагинского угоря надо было полями. Охотники разровнялись. Господа ехали вместе. Дядюшка, Ростов, Илагин поглядывали тайком на чужих собак, стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим собакам.

Ростова особенно поразила своей красотой небольшая чистопсовая, узенькая, но с стальными мышцами, тоненьким щипцом (мордой) и навыкате черными глазами, красно-пегая сучка в своре Илагина. Он слыхал про резвость илагинских собак и в этой красавице сучке видел соперницу своей Милке.

В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Илагин, Николай указал ему на его красно-пегую суку.

— Хороша у вас эта сучка! — сказал он небрежным тоном. — Резва?

— Эта? Да, это добрая собака, ловит, — равнодушным голосом сказал Илагин про свою красно-пегую Ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых. — Так и у вас, граф, умолотом не хвалятся? — продолжал он начатый разговор. И, считая учтивым отплатить тем же молодому графу, Илагин осмотрел его собак и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза своею шириной.

— Хороша у вас эта черно-пегая — ладна! — сказал он.

— Да, ничего, скачет, — отвечал Николай. «Вот только бы побежал в поле русак матерый, я бы тебе показал, какая это собака!» — подумал он. И, обернувшись к стремянному, сказал, что даст рубль тому из охотников, кто подозрит, то есть найдет лежачего зайца.

— Я не понимаю, — продолжал Илагин, — как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться; вот съедешься с такой компанией... уже чего же лучше (он снял

опять свой бобровый картуз перед Наташей); а это, чтобы шкуры считать, сколько привез, — мне все равно!

— Ну да.

— Или чтобы мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя, — мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф? Потом я сужу...

— Ату — его! — послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре жнивья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно: — А — ту — его! (Звук этот и поднятый арапник означали то, что он видит перед собой лежачего зайца.)

— А, подозрил, кажется, — сказал небрежно Илагин. — Что же, потравим, граф.

— Да, подъехать надо... да что ж, вместе? — отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в красного Ругая дядюшки, в двух своих соперников, с которыми еще ни разу ему не удалось поравнять своих собак. «Ну что как с ушей оборвут мою Милку!» — думал он, рядом с дядюшкой и Илагиным подвигаясь к зайцу.

— Матерый? — спрашивал Илагин, подвигаясь к подозрившему охотнику и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу...

— А вы, Михаил Никанорыч? — обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.

— Что мне соваться! Ведь ваши — чистое дело марш! — по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померяйте своих, а я посмотрю!

— Ругай! На, на! — крикнул он. — Ругаюшка! — прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала скрываемое этими двумя стариками и ее братом волнение и сама волновалась.

Охотник на полугорке стоял с поднятым арапником, господа шагом подъезжали к нему; гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца; охотники, не господа, тоже отъезжали. Все двигалось медленно и степенно.

— Куда головой лежит? — спросил Николай, подъезжая шагов на сто к подозрившему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил. Стая гончих, на смычках, с ревом понеслась под гору за зайцем; со всех сторон борзые, не бывшие на сворах, бросились на гончих и к зайцу.

Все эти медленно двигавшиеся охотники-выжлятники с криком: «стой!», сбивая собак, борзятники с криком: «ату!», направляя собак, — поскакали по полю. Спокойный Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матерый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздавшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленя, по которым было топко. Две собаки подозрившего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем; но еще далеко не подвинулись к нему, как из-за них вылетела илагинская красно-пегая Ерза, приблизилась на собаку расстояния, с страшной быстротой наддала, нацелившись на хвост зайца, и думая, что она схватила его, покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из-за Ерзы вынеслась широкозадая черно-пегая Милка и быстро стала спеть к зайцу.

— Милушка, матушка! — послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять насела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку.

— Ерзынька! сестрица! — послышался плачущий, не свой голос Илагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жнивьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу; на рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему.

— Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш! — закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, наддал со страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колена, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все

стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что. «Вот это дело марш... вот собак... вот вытянул всех, и тысячных и рублевых — чистое дело марш!» — говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. «Вот вам и тысячные — чистое дело марш!»

— Ругай, ná пазанку — говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей. — Заслужил, чистое дело марш!

— Она вымахалась, три угонки дала одна, — говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет.

— Да это что же впоперечь! — говорил илагинский стремянный.

— Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает, — говорил в то же время Илагин, красный, насилу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время. Дядюшка сам второчил русака, ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего каурого и поехал прочь. Все, кроме его, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще они поглядывали на красного Ругая, который с испачканной грязью, горбатой спиной, побрякивая железкой, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки.

«Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись!» — казалось Николаю, что говорил вид этой собаки.

Когда, долго после, дядюшка подъехал к Николаю и заговорил с ним, Николай был польщен тем, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.

VII

Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту, ночевать у него (у дядюшки) в его деревне Михайловке.

— И если бы заехали ко мне — чистое дело марш! — сказал дядюшка, — еще бы того лучше; видите, погода мокрая, — говорил дядюшка, — отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. — Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное; а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке.

Человек пять, больших и малых, дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слышать и понимать, что говорят о нем.

— Аринка, глянь-ка, на бочкю сидит. Сама сидит, а подол болтается... Вишь, и рожок!

— Батюшки-светы, ножик-то!..

— Вишь, татарка!

— Как же ты не перекувырнулась-то? — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе.

Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного, заросшего садом домика и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано все нужное для приема гостей и охоты.

Всё разбежалось. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким дощатым ступеням крыльца. В доме, не оштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто, — не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры.

Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его

самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак.

В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками. Из-за ширм слышался женский смех и шепот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул; Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своей сестрой); Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха.

Немного погодя дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, — был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка был тоже весел; он не только не обиделся смеху брата и сестры (ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнию), а сам присоединился к их беспричинному смеху.

— Вот так графиня молодая — чистое дело марш — другой такой не видывал! — сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий, обрезанный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев.

— День отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало!

Скоро после дядюшки отворила дверь по звуку ног, очевидно, босая девка, и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет сорока, с двойным подбородком и полными, румяными губами. Она с гостеприимной представительностью и приветливостью в глазах и каждом движенье оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину больше чем обыкновенную, заставлявшую ее выставлять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) ступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми, пухлыми руками сняла и расста-

вила по столу бутылки, закуски и угощенья. Окончив это, она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. «Вот она и я! Теперь понимаешь дядюшку?» — сказало Ростову ее появление. Как не понимать: не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей и счастливой, самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисья Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная.

Все это было хозяйства, сбора и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой.

— Покушайте, барышня-графинюшка, — приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге, с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей:

— Так-то вот и доживаю свой век... Умрешь — чистое дело марш! — ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это. Ростов невольно вспомнил при этом все, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но от общественной службы он всегда упорно отказывался, осень и весну проводя в полях на

своем кауром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду.

— Что же вы не служите, дядюшка?

— Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш,— я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, — это чистое дело марш! Отворите-ка дверь-то, — крикнул он. — Что ж затворили! — Дверь в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в холостую охотническую: так называлась людская для охотников. Босые ноги быстро зашлепали, и невидимая рука отворила дверь в охотническую. Из коридора ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл, очевидно, какой-нибудь мастер этого дела. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

— Это у меня мой Митька-кучер... Я ему купил хорошую балалайку, люблю, — сказал дядюшка. У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостой охотнической Митька играл на балалайке. Дядюшка любил слушать эту музыку.

— Как хорошо! Право, отлично, — сказал Николай с некоторым невольным пренебрежением, как будто ему совестно было признаться в том, что ему очень были приятны эти звуки.

— Как отлично? — с упреком сказала Наташа, чувствуя тон, которым сказал это брат. — Не отлично, а это прелесть что такое! — Ей так же как грибки, мед и наливки дядюшки казались лучшими в мире, так и эта песня казалась ей в эту минуту верхом музыкальной прелести.

— Еще, пожалуйста еще, — сказала Наташа в дверь, как только замолкла балалайка. Митька настроил и опять задребезжал *Барыню* с переборами и перехватами. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову набок с чуть заметной улыбкой. Мотив *Барыни* повторился раз сто. Несколько раз балалайку настраивали, и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту игру. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолоке.

— Изволите слушать, графинечка, — сказала она Наташе с улыбкой, чрезвычайно похожей на улыбку дядюшки. — Он у нас славно играет, — сказала она.

— Вот в этом колене не то делает, — вдруг с энергическим жестом сказал дядюшка. — Тут рассыпать надо — чистое дело марш — рассыпать.

— А вы разве умеете? — спросила Наташа. Дядюшка, не отвечая, улыбнулся.

— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы, что ль, на гитаре-то? Давно уж в руки не брал, чистое дело марш! забросил.

Анисья Федоровна охотно пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего господина и принесла гитару.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не *Барыню,* а взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню «По у-ли-и-ице мостовой». Враз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, смеясь, вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделывать песню, изменившимся вдохновенным взглядом глядя на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны под седым усом, особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, ускорялся темп и в местах переборов отрывалось что-то.

— Прелесть, прелесть, дядюшка! еще, еще! — закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. — Николенька, Николенька! — говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая: что же это такое?

Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях, и из-за ней еще другие лица.

За холодной ключевой,
Кричит, девица, постой! —

играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка, — таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два чело-

века — один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской.

— Ну, племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что́ было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графинечка, чистое дело марш! — радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. — Ай да племянница! Вот только бы муженька тебе молодца выбрать, чистое дело марш!

— Уж выбран, — сказал, улыбаясь, Николай.

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.

— Еще какой! — сказала она. Но как только она сказала это, другой, новый строй мыслей и чувств поднялся в ней. «Что́ значила улыбка Николая, когда он сказал: «уж выбран»? Рад он этому или не рад? Он как будто думает, что мой Болконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы все понял. Где он теперь?» — подумала Наташа, и лицо ее вдруг стало серьезно. Но это продолжалось только одну секунду. «Не думать, не сметь думать об этом», — сказала она себе и, улыбаясь,

подсела опять к дядюшке, прося его сыграть еще что-нибудь.

Дядюшка сыграл еще песню и вальс; потом помолчав, прокашлялся и запел свою любимую охотницкую песню:

Как со вечера пороша
Выпадала хороша...

Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была в восторге от пения дядюшки. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а будет играть только на гитаре. Она попросила у дядюшки гитару и тотчас же подобрала аккорды к песне.

В десятом часу за Наташей и Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых, посланных отыскивать их. Граф и графиня не знали, где они, и очень беспокоились, как сказал посланный.

Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку; Наташа с Николаем сели в дрожки. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новой нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать вброд, и велел с фонарями ехать вперед охотникам.

— Прощай, племянница дорогая! — крикнул из темноты его голос, не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел: «Как со вечера пороша».

В деревне, которую проезжали, были красные огоньки и весело пахло дымом.

— Что за прелесть этот дядюшка! — сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу.

— Да, — сказал Николай. — Тебе не холодно?

— Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, — с недоумением даже сказала Наташа. Они долго молчали.

Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи.

Что делалось в этой детски восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоившей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это все укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она

вдруг запела мотив песни: «Как со вечера пороша», мотив, который она ловила всю дорогу и, наконец, поймала.

— Поймала?— сказал Николай.

— Ты о чем думал теперь, Николенька? — спросила Наташа. Они любили это спрашивать друг у друга.

— Я? — сказал Николай, вспоминая. — Вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку, и что ежели бы он был человек, то он дядюшку все бы держал у себя, ежели не за скачку, так за лады, все бы держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли? Ну, а ты?

— Я? Постой, постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы бог знает куда едем в этой темноте, и вдруг приедем и увидим, что мы не в Отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала... Нет, ничего больше.

— Знаю, верно, про *него* думала, — сказал Николай, улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса.

— Нет, — отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. — А еще я все повторяю, всю дорогу повторяю: как Анисьюшка хорошо выступала, хорошо... — сказала Наташа. И Николай услыхал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех.

— А знаешь, — вдруг сказала она, — я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

— Вот вздор, глупости, вранье, — сказал Николай и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа! Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж? Всё бы с ней ездили!»

«Экая прелесть этот Николай!» — думала Наташа.

— А! еще огонь в гостиной, — сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой, бархатной темноте ночи.

VIII

Граф Илья Андреич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами. Но дела его все не поправлялись. Часто Наташа и Николай видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого родового ростовского дома и подмосковной. Без предводительства

не нужно было иметь такого большого приема, и отрадненская жизнь велась тише, чем в прежние года; но огромный дом и флигель все-таки были полны народом, за стол все так же садилось больше двадцати человек. Всё это были свои, обжившиеся в доме люди, почти члены семейства, или такие, которые, казалось, необходимо должны были жить в доме графа. Такие были Диммлер — музыкант с женой, Иогель — танцевальный учитель с семейством, старушка барышня Белова, жившая в доме, и еще многие другие: учителя Пети, бывшая гувернантка барышень и просто люди, которым лучше или выгоднее было жить у графа, чем дома. Не было такого большого приезда, как прежде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Николаем, охота, те же пятьдесят лошадей и пятнадцать кучеров на конюшне; те же дорогие друг другу подарки в именины и торжественные, на весь уезд, обеды; те же графские висты и бостоны, за которыми он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреича, как на самую выгодную аренду.

Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом все более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, опутавшие его, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать их. Графиня любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть не таким, какой он есть, что он сам страдает (хотя и скрывает это) от сознания своего и детского разорения, и искала средств помочь делу. С ее женской точки зрения представлялось только одно средство — женитьба Николая на богатой невесте. Она чувствовала, что это была последняя надежда и что, если Николай откажется от партии, которую она нашла ему, надо будет навсегда проститься с возможностью поправить дела. Партия эта была Жюли Карагина, дочь прекрасных, добродетельных матери и отца, с детства известная Ростовым, и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев.

Графиня писала прямо к Карагиной в Москву, предлагая ей брак ее дочери с своим сыном, и получила от нее благоприятный ответ. Карагина отвечала, что она с своей стороны согласна, что все будет зависеть от склонности

ее дочери. Карагина приглашала Николая приехать в Москву.

Несколько раз, со слезами на глазах, графиня говорила сыну, что теперь, когда обе дочери ее пристроены, — ее единственное желание состоит в том, чтобы видеть его женатым. Она говорила, что легла бы в гроб спокойно, ежели бы это было. Потом говорила, что у нее есть прекрасная девушка на примете, и выпытывала его мнение насчет женитьбы.

В других разговорах она хвалила Жюли и советовала Николаю съездить в Москву на праздники повеселиться. Николай догадывался, к чему клонились разговоры его матери, и в один из таких разговоров вызвал ее на полную откровенность. Она высказала ему, что вся надежда поправления дела основана теперь на его женитьбе на Карагиной.

— Что ж, ежели бы я любил девушку без состояния, неужели вы потребовали бы, maman, чтоб я пожертвовал чувством и честью для состояния? — спросил он у матери, не понимая жестокости своего вопроса и желая только выказать свое благородство.

— Нет, ты меня не понял, — сказала мать, не зная, как оправдаться. — Ты меня не понял, Николенька. Я желаю твоего счастья, — прибавила она и почувствовала, что она говорит неправду, что она запуталась. Она заплакала.

— Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, все отдам для того, чтобы вы были спокойны, — сказал Николай. — Я всем пожертвую для вас, даже своим чувством.

Но графиня не так хотела поставить вопрос: она не хотела жертвы от своего сына, она сама бы хотела жертвовать ему.

— Нет, ты меня не понял, не будем говорить, — сказала она, утирая слезы.

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку, — говорил сам себе бедный Николай, — что ж, мне пожертвовать чувством и честью для состояния? Удивляюсь, как маменька могла сказать мне это. Оттого что Соня бедна, — думал он, — так я и не могу любить ее, не могу отвечать на ее верную, преданную любовь? А уж наверное я с нею буду счастливее, чем с какой-нибудь куклой Жюли. Я не могу приказывать своему чувству, — говорил он сам себе. — Ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня».

Николай не поехал в Москву, графиня не возобновляла с ним разговора о женитьбе и с грустью, а иногда и с озлоблением видела признаки все большего и большего сближения между своим сыном и бесприданной Соней. Она упрекала себя за то, но не могла не ворчать, не придираться к Соне, часто без причины останавливая ее, ворча на нее и называя ее «вы, моя милая». Более всего добрая графиня за то и сердилась на Соню, что эта бедная черноглазая племянница была так кротка, так добра, так преданно-благодарна своим благодетелям и так верно, неизменно, с самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя было ни в чем упрекнуть ее.

Николай доживал у родных свой срок отпуска. От жениха князя Андрея получено было четвертое письмо, из Рима, в котором он писал, что он уже давно бы был на пути в Россию, ежели бы неожиданно в теплом климате не открылась его рана, что заставляет его отложить свой отъезд до начала будущего года. Наташа была так же влюблена в своего жениха, так же успокоена этою любовью и так же восприимчива ко всем радостям жизни; но в конце четвертого месяца разлуки с ним на нее начали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала все это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой.

В доме Ростовых было невесело.

IX

Пришли святки, и, кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме надетых на всех новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки, а в безветренном двадцатиградусном морозе, в ярком, ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени.

На третий день праздника, после обеда, все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, ездивший утром к соседям, заснул в диванной. Старый граф отдыхал в своем кабинете. В гостиной за круглым столом сидела Соня, срисовывая узор. Графиня раскладывала карты. Настасья Ивановна, шут, с печальным

лицом сидел у окна с двумя старушками. Наташа вошла в комнату, подошла к Соне, посмотрела, что она делает, потом подошла к матери и молча остановилась.

— Что ты ходишь, как бесприютная? — сказала ей мать. — Что тебе надо?

— *Его* мне надо... сейчас, сию минуту мне *его* надо,— сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. Графиня подняла голову и пристально посмотрела на дочь.

— Не смотрите на меня, мама, не смотрите, я сейчас заплачу.

— Садись, посиди со мной, — сказала графиня.

— Мама, мне *его* надо. За что я так пропадаю, мама?.. — Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни.

— Будет играть-то, — говорила старуха, —на все время есть.

— Пусти ее, Кондратьевна, — сказала Наташа. — Иди, Мавруша, иди.

И, отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» — подумала Наташа.

— Да, Никита, сходи, пожалуйста... — «куда бы мне его послать?» — Да, сходи на дворню и принеси, пожалуйста, петуха; да, а ты, Миша, принеси овса.

— Немного овса прикажете? — весело и охотно сказал Миша.

— Иди, иди скорее, — подтвердил старик.

— Федор, а ты мелу мне достань.

Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время.

Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли?

— Уж эта барышня! — сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу.

Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда-нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них, но ничьих приказаний люди не

любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» — думала Наташа, медленно идя по коридору.

— Настасья Ивановна, что от меня родится? — спросила она шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей.

— От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, — отвечал шут.

«Боже мой, боже мой, все одно и то же! Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?» И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Иогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Иогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным, задумчивым лицом и встала.

— Остров Мадагаскар, — проговорила она, — Ма-да-гас-кар, — повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты.

Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью.

— Петя! Петька! — закричала она ему. — Вези меня вниз. — Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. — Нет, не надо... остров Мадагаскар, — проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз.

Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что все-таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у нее на гитаре выходило что-то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания.

Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери, и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет и что Соня прошла с рюмкой. «Да и это было точь-в-точь так же», — подумала Наташа.

— Соня, что это? — крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне.

— Ах, ты тут! — вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. — Не знаю. Буря? — сказала она робко, боясь ошибиться.

«Ну, вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уж было, — подумала Наташа, — и точно так же... я подумала, что в ней чего-то недостает».

— Нет, это хор из Водоноса, слышишь? — И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне.

— Ты куда ходила? — спросила Наташа.

— Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор.

— Ты всегда занята, а я вот не умею, — сказала Наташа. — А Николенька где?

— Спит, кажется.

— Соня, ты поди разбуди его, — сказала Наташа. — Скажи, что я его зову петь. — Она посидела, подумала о том, что это значит, что все это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе и он влюбленными глазами смотрел на нее.

«Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я старею, вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть, он приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уж за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, — а князя Андрея не было, и была все прежняя привычная жизнь.

— А, вот она, — сказал Илья Андреич, увидав вошедшую Наташу. — Ну, садись ко мне. — Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего-то.

— Мама! — проговорила она. — Дайте мне *его,* дайте, мама, скорее, скорее, — и опять она с трудом удержала рыдания.

Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, боже мой, те же лица, те же разговоры, так же папа держит чашку и дует точно так же!» — думала Наташа,

с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были всё те же.

После чаю Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.

X

— Бывает с тобой, — сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, — бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет — ничего; что все, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно?

— Еще как! — сказал он. — У меня бывало, что все хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что все это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка... и так мне вдруг скучно стало...

— Ах, я это знаю. Знаю, знаю, — подхватила Наташа. — Я еще маленькая была, так со мной это было. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех-всех жалко. И главное, я не виновата была, — сказала Наташа, — ты помнишь?

— Помню, — сказал Николай. — Я помню, что я к тебе пришел потом и мне хотелось тебя утешить, и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка-болванчик, и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?

— А помнишь ты, — сказала Наташа с задумчивой улыбкой, — как давно, давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было — мы пришли, и вдруг там стоит...

— Арап, — докончил Николай с радостной улыбкой, — как же не помнить. Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.

— Он серый был, помнишь, и белые зубы — стоит и смотрит на нас...

— Вы помните, Соня? — спросил Николай.

— Да, да, я тоже помню что-то, — робко отвечала Соня.

— Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и у мама, — сказала Наташа. — Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь!

— Как же, как теперь помню его зубы.

— Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

— А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг — две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было или нет? Помнишь, как хорошо было...

— Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? — Они перебирали, улыбаясь, с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то.

Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.

Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.

Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.

— А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, — сказала Наташа, — и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это неправда, и так мне неловко было.

Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной.

— Барышня, петуха принесли, — шепотом сказала девушка.

— Не надо, Поля, вели отнести, — сказала Наташа.

В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

— Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый Nocturne мосье Фильда, — сказал голос старой графини из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал:

— Молодежь как смирно сидит!

— Да мы философствуем, — сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.

Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.

— Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и все сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности оставить или начать что-нибудь новое, — что когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.

— Это метампсикоза, — сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. — Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, — сказала Наташа тем же шепотом, хотя и музыка кончилась, — а я знаю наверное, что мы были ангелами там где-то и здесь были, и от этого всё помним...

— Можно мне присоединиться к вам? — сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? — сказал Николай. — Нет, это не может быть!

— Не ниже, кто ж тебе сказал, что ниже?.. Почему я знаю, чем я была прежде, — с убеждением возразила Наташа. — Ведь душа бессмертна... стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила.

— Да, но трудно нам представить вечность, — сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.

— Отчего же трудно представить вечность? — сказала Наташа. — Нынче будет, завтра будет, всегда будет, и вчера было, и третьего дня было...

— Наташа! теперь твой черед. Спой мне что-нибудь, — послышался голос графини. — Что вы уселись, точно заговорщики.

— Мама! мне так не хочется, — сказала Наташа, но вместе с тем встала.

Всем им, даже и немолодому Диммлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из диванной, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорд. Как всегда, став на середину залы и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери.

Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пенье и, как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему, и, наконец, замолчал, и Митенька, тоже слушая, молча, с улыбкой, стоял перед графом. Николай не спускал глаз с сестры и вместе с нею переводил дыханье. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом и как невозможно было ей хоть насколько-нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала и о Наташе, и о своей молодости, и о том, как что-то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем.

Диммлер, подсев к графине и закрыв глаза, слушал.

— Нет, графиня, — сказал он, наконец, — это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы...

— Ах! как я боюсь за нее, как я боюсь, — сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего-то слишком много в Наташе и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые.

Наташа вдруг остановилась.

— Дурак! — закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться. — Ничего, маменька, право, ничего, так: Петя испугал меня, — говорила она, стараясь улыбаться, но слезы все текли и всхлипывания сдавливали горло.

Наряженные дворовые: медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и

веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснились в залу; и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда-то.

Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах — это был Николай. Турчанка был Петя. Паяс — это был Диммлер, гусар — Наташа и черкес — Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями.

После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны ненаряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь.

Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек десять наряженных, ехать к дядюшке.

— Нет, ну что вы его, старика, расстроите! — сказала графиня. — Да и негде повернуться у него. Уж ехать, так к Мелюковым.

Мелюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в четырех верстах от Ростовых.

— Вот, ma chère, умно, — подхватил расшевелившийся старый граф. — Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я Пашету расшевелю.

Но графиня не согласилась отпустить графа: у него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, а что ежели Луиза Ивановна (m-me Schoss) поедет, то барышням можно ехать к Мелюковой. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им.

Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленно-энергическом настроении. Какой-то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса четыре тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа

и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу.

Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.

Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа, с орловским рысаком в корню; четвертая — собственная Николая, с его низеньким вороным косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи.

Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда.

В сани Николая сели Наташа, Соня, m-me Schoss и две девушки. В сани старого графа сели Диммлер с женой и Петя; в остальные расселись наряженные дворовые.

— Пошел вперед, Захар! — крикнул Николай кучеру отца, чтоб иметь случай перегнать его на дороге.

Тройка старого графа, в которую сел Диммлер и другие ряженые, визжа полозьями, как будто примерзая к снегу, и побрякивая густым колокольцом, тронулась вперед. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.

Николай тронулся за первой тройкой; сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз толкнул ухаб в передних санях; точно так же толкнуло следующие сани и следующие, и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.

— След заячий, много следов! — прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.

— Как видно, Nicolas! — сказал голос Сони. Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое лицо, с черными

бровями и усами, в лунном свете близко и далеко, выглядывало из соболей.

«Это прежде была Соня», — подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.

— Вы что, Nicolas?

— Ничего, — сказал он и повернулся опять к лошадям.

Выехав на торную большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая: «Начинать? Или рано еще?» Впереди, уже далеко отделившись и звеня удаляющимся густым колокольцом, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикиванье, и хохот, и голоса наряженных.

— Ну ли вы, разлюбезные! — крикнул Николай, с одной стороны поддергивая вожжу и отводя с кнутом руку. И только по усилившемуся как будто навстречу ветру и по подергиванью натягивающих и все прибавляющих скоку пристяжных заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад. С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится.

Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой-то горы, въехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки.

«Где это мы едем? — подумал Николай. — По Косому лугу, должно быть. Но нет, это что-то новое, чего я никогда не видал. Это не Косой луг и не Дёмкина гора, а это бог знает что такое! Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» — И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.

Захар сдержал лошадей и обернул свое уже обындевевшее до бровей лицо.

Николай пустил своих лошадей. Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.

— Ну, держись, барин, — проговорил он. Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги ска-

чущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.

— Врешь, барин, — прокричал он Николаю. Николай в скок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпа́ли мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.

Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами.

«Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? — думал Николай. — Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы бог знает где едем, и бог знает что́ с нами делается — и очень странно и хорошо то, что́ с нами делается». — Он оглянулся в сани.

— Посмотри, у него и усы и ресницы — все белое, — сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.

«Этот, кажется, была Наташа, — подумал Николай, — а эта m-me Schoss; а может быть, и нет, а этот черкес с усами — не знаю кто, но я люблю ее».

— Не холодно ли вам? — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что-то кричал, вероятно, смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.

— Да, да, — смеясь, отвечали голоса.

Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали бог знает где и приехали в Мелюковку», — думал Николай.

Действительно, это была Мелюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами.

— Кто такой? — спрашивали с подъезда.

— Графские наряженные, по лошадям вижу, — отвечали голоса.

XI

Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих.

Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяс Диммлер с барыней Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.

— Ах, узнать нельзя! А Наташа-то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого-то. Эдуард-то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой-то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто! Ну, утешили! Столы-то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели!

— Ха-ха-ха!.. Гусар-то, гусар-то! Точно мальчик, и ноги!.. Я видеть не могу... — слышались голоса.

Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.

Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.

— А это чья такая? — говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. — Кажется, из Ростовых кто-то. Ну, а вы, господин гусар, в каком полку служите? — спрашивала она Наташу. — Турке-то, турке пастилы подай, — говорила она обносившему буфетчику, — это их законом не запрещено.

Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает, и потому не конфузившиеся, — Пелагея Даниловна закрывалась платком, и все тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго старушечьего смеха.

— Сашинет-то моя, Сашинет-то! — говорила она.

После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры.

Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых.

— Нет, в бане гадать, вот это страшно! — говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых.

— Отчего же? — спросила старшая дочь Мелюковых.

— Да не пойдете, тут надо храбрость...

— Я пойду, — сказала Соня.

— Расскажите, как это было с барышней? — сказала вторая Мелюкова.

— Да вот так-то, пошла одна барышня, — сказала старая девушка, — взяла петуха, два прибора — как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет... с колокольцами, с бубенцами, подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.

— А! А!.. — закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.

— Да как же он, так и говорит?

— Да, как человек, все как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали...

— Ну, что пугать их! — сказала Пелагея Даниловна.

— Мамаша, ведь вы сами гадали... — сказала дочь.

— А как это в амбаре гадают? — спросила Соня.

— Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит — дурно, а пересыпает хлеб — это к добру; а то бывает...

— Мама, расскажите, что с вами было в амбаре?

Пелагея Даниловна улыбнулась.

— Да что, я уж забыла... — сказала она. — Ведь вы никто не пойдете?

— Нет, я пойду; Пелагея Даниловна, пустите меня, я пойду, — сказала Соня.

— Ну, что ж, коли не боишься.

— Луиза Ивановна, можно мне? — спросила Соня.

Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.

«Так вот она какая, а я-то дурак!» — думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из-под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде.

— Я ничего не боюсь, — сказала Соня. — Можно сейчас? — Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.

«Что за прелесть эта девочка! — подумал он. — И о чем я думал до сих пор!»

Соня вышла в коридор, чтоб идти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно, в доме было душно от столпившегося народа.

На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак! Чего я ждал до сих пор?» — подумал Николай, и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажнями дрова, на них был снег, от них падала тень; через них и сбоку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка

вела к амбару. Рубленая стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченные из какого-то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять все совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой-то вечно молодой силой и радостью.

С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:

— Прямо, прямо вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться!

— Я не боюсь, — отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.

Соня шла, закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье с спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.

«Совсем другая и все та же», — думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

— Соня!.. Nicolas!.. — только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

XII

Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда все видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.

Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь и, все вглядываясь в этом странном лунном свете в Соню, отыскивал при этом все переменяющем свете из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и, когда узнавал все ту же и другую и

вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух; и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.

— Соня, *тебе* хорошо? — изредка спрашивал он.

— Да, — отвечала Соня. — А *тебе?*

На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.

— Наташа, — сказал он ей шепотом по-французски, — знаешь, я решился насчет Сони.

— Ты ей сказал? — спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.

— Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

— Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas, как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно быть одной счастливой, без Сони, — продолжала Наташа. — Теперь я так рада, ну, беги к ней.

— Нет, постой, ах, какая ты смешная! — сказал Николай, все всматриваясь в нее и в сестре тоже находя что-то новое, необыкновенное и обворожительно-нежное, чего он прежде не видал в ней. — Наташа, что-то волшебное. А?

— Да, — отвечала она, — ты прекрасно сделал.

«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, — думал Николай, — я бы давно спросил, что сделать, и сделал бы все, что бы она ни велела, и все бы было хорошо».

— Так ты рада, и я хорошо сделал?

— Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить! Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

— Так хорошо? — сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрипя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Все тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.

Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастье. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы. На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала.

— Только когда все это будет? Я боюсь, что никогда... Это было бы слишком хорошо! — сказала Наташа, вставая и подходя к зеркалам.

— Садись, Наташа, может быть, ты увидишь его, — сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села.

— Какого-то с усами вижу, — сказала Наташа, видевшая свое лицо.

— Не надо смеяться, барышня, — сказала Дуняша.

Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит *его,* князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.

— Отчего другие видят, а я ничего не вижу? — сказала она. — Ну, садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, — сказала она. — Только за меня... Мне так страшно нынче!

Соня села за зеркало, устроила положение и стала смотреть.

— Вот Софья Александровна непременно увидят, — шепотом сказала Дуняша, — а вы все смеетесь.

Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шепотом сказала:

— И я знаю, что увидит; она и прошлого года видела.

Минуты три все молчали. «Непременно!» — прошептала Наташа и не докончила... Вдруг Соня отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.

— Ах, Наташа! — сказала она.

— Видела? Видела? Что видела? — крикнула Наташа.

— Вот я говорила, — сказала Дуняша, поддерживая зеркало.

Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи,

сказавшей «непременно»... Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у ней вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой.

— Его видела? — спросила Наташа, хватая ее за руку.

— Да. Постой... я... видела его, — невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом *его*: *его* — Николая или *его* — Андрея.

«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» — мелькнуло в голове Сони.

— Да, я его видела, — сказала она.

— Как же? Как же? Стоит или лежит?

— Нет, я видела... То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.

— Андрей лежит? Он болен? — испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.

— Нет, напротив, напротив — веселое лицо, и он обернулся ко мне, — и в ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.

— Ну а потом, Соня?

— Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...

— Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой! как я боюсь за него и за себя, и за все мне страшно... — заговорила Наташа и, не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный лунный свет сквозь замерзшие окна.

XIII

Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что, несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присут-

ствии Николая сообщить ему, в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув, и, очевидно, смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, — он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.

Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманиванье сына и в неблагодарности. Соня молча, с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.

Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту *интриганку* своей дочерью.

Взорванный словом *интриганка,* Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтоб она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит... Но он не успел сказать

того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое, может быть, навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.

— Николенька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. — почти кричала она, чтобы заглушить его голос.

— Мама, голубчик, это совсем не оттого... душечка моя, бедная, — обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.

— Николенька, я тебе растолкую, ты уйди... Вы послушайте, мама-голубушка, — говорила она матери.

Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.

Графиня, тяжело захлипав, спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.

Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.

С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но, как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.

После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее, чем когда-нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.

Соня была печальна и от разлуки с Николаем, и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда-нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких-нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.

Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том,

что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда, как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически-однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.

Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.

Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно было ему то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, — после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женою, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер, почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.

В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал — проехав по городу — эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, увидал эту площадь Кремлевскую с незаезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша, доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и

московский Английский клуб, — он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.

Московское общество все, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, приняло Пьера. Для московского света Пьер был самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.

Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги — никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы все роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он — одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой — мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.

Когда после холостого ужина он с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцевал, если недоставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de sexe» [1], — говорили про него.

Пьер был тем отставным, добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни.

Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из-за границы, кто-нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита и определена предвечно и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому. Разве не он всей душой желал то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род

[1] Он прелестен, он не имеет пола.

человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал школы, больницы и отпускал крестьян на волю?

А вместо всего этого — вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство, член московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.

Иногда он утешал себя мыслью, что это только так, покамест он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили из нее без одного зуба и волоса.

В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь все не доволен, все мне хочется сделать что-то для человечества, — говорил он себе в минуты гордости. — А может быть, и все те мои товарищи, точно так же как и я, бились, искали какой-то новой, своей дороги в жизни и, так же как и я, силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», — говорил он себе в минуты скромности, и, поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.

На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» — спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.

«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая, кроме своего тела, и одна из самых глупых женщин

в мире, — думал Пьер, — представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом — император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14-го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14-го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы для бедных и интригуют Астрея против Ищущих Манны и хлопочут о настоящем шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему — закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что-то новое, всякий раз изумляла его. «Я понимаю эту ложь и путаницу, — думал он, — но как мне рассказать им все, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть *ее*. Стало быть, так надо! Но мне-то, мне куда деваться?» — думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, — способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда, в глазах его, соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался — зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное, читал.

Он читал и читал все, что попадалось под руку, и читал так, что, приехав домой, когда лакеи еще разде-

вали его, он, уже взяв книгу, читал — и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось все больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой-нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю — вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, — я после обдумаю все это!» Но это *после* никогда не приходило.

Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходил к нему.

Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, все равно; только бы спастись от нее, как умею! — думал Пьер. — Только бы не видать *ее*, эту страшную *ее*».

II

В начале зимы князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаб-

лению на ту пору восторга к царствованию императора Александра I и по тому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству.

Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудреном парике и начинал, затронутый кем-нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял величественно-приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что, кроме этих двух-трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще двадцать два часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.

В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей — бесед с божьими людьми и уединения, которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях: m-lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна, и она, по некоторым причинам, стала отдаляться от нее; Жюли, которая была в Москве и к которой

княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чуждой ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев, сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, потому что он, женившись, не знал бы, где проводить свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело, напротив, казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот-вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за ручку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своею злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее

время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду — ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, — самый жестокий оттого, что он любил и за то мучил себя и ее, — умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью, — это было его большее сближение с m-lle Bourienne. Пришедшая ему в первую минуту по получении известия о намерении своего сына мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, видимо, понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье), только для того, чтоб ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m-lle Bourienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.

Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), старый князь поцеловал у m-lle Bourienne руку и, притянув ее к себе, обнял, лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m-lle Bourienne вошла к княжне Марье, улыбаясь и что-то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Bourienne и, видимо, сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса начала кричать на француженку:

— Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью... — Она не договорила. — Уйдите вон из моей комнаты, — прокричала она и зарыдала.

На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с m-lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты...

— Не слышат... два раза сказал!.. не слышат! Она — первый человек в этом доме; она — мой лучший друг, — кричал князь. — И ежели ты позволишь себе, — закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, — еще раз, как вчера ты осмелилась... забыться перед ней,

то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! чтоб я не видал тебя; проси у нее прощенья!

Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгениевны и у отца за себя и за Филиппа-буфетчика, который просил заступы.

В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие-то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» — думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.

III

В 1811-м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз, и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства — Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный.

Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m-lle Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя.

В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.

Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора нашел приличным de forcer la consigne [1], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро устало ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья слишком твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как пе-

[1] силою нарушить приказ.

ред заряженным, с взведенным курком ружьем ходила все это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать все то, что происходило в кабинете.

Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца; потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась, и на пороге показалась испуганная красивая фигура Метивье с его черным хохлом и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.

— Не понимаешь? — кричал князь. — А я понимаю! Французский шпион! Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома — вон, я говорю! — И он захлопнул дверь.

Метивье, пожимая плечами, подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.

— Князь не совсем здоров, — la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez-vous, je repasserai demain [1], — сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.

За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»

После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь, и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. «С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно», — говорил он.

— Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, — сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: — Не думайте, чтоб я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет, — разойтись, поищите себе места!.. — Но он не выдержал, и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо, сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:

---

[1] желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я заеду завтра.

— И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж! — Он хлопнул дверью, позвал к себе m-lle Bourienne и затих в кабинете.

В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости — известный граф Растопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый боевой товарищ князя, из молодых Пьер и Борис Друбецкой — ждали его в гостиной.

На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.

Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Растопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:

— В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.

— Ах, да, да, — отвечал главнокомандующий. — Что он?..

Небольшое общество, собравшееся в старомодной высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся торжественный совет судилища. Все молчали, и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Растопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.

Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка мычанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что все шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался

или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где осуждение могло относиться к лицу государя императора.

За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской, враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.

— Бонапарт поступает с Европой, как пират на завоеванном корабле, — сказал граф Растопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. — Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт, уже не стесняясь, хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат. Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то... — Граф Растопчин замолчал, чувствуя, что̀ он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.

— Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, — сказал князь Николай Андреич. — Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские, так и он герцогов.

— Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable [1], — сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое-что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.

— Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, — сказал граф Растопчин небрежным тоном человека, судящего о деле, ему хорошо знакомом.

Пьер с наивным удивлением посмотрел на Растопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.

— Разве не все равно, как написана нота, граф? — сказал он, — ежели содержание ее сильно.

— Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style [2], — сказал граф

---

[1] Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с удивительною силой характера и спокойствием.

[2] Мой милый, с 500 тысячами войска было бы легко иметь хороший слог.

Растопчин. Пьер понял, почему графа Растопчина беспокоила редакция ноты.

— Кажется, писак довольно развелось, — сказал старый князь, — там в Петербурге все пишут, не только ноты — новые законы все пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Ныне все пишут! — И он неестественно засмеялся.

Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя внимание.

— Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? Как себя новый французский посланник показал!

— Что? Да, я слышал что-то; он что-то неловко сказал при его величестве.

— Его величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш, — продолжал генерал, — и будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.

Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.

— Дерзки! — сказал князь. — Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, — сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не возражал.

За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему.

Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную, выбритую щеку. Все выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решенье его осталось в прежней силе и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь.

Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе.

Князь Николай Андреич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны.

Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать. Наша политика вся на Востоке, а в отношении Бонапарта одно — вооружение на границе и твердость в политике, и никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в седьмом году.

— И где нам, князь, воевать с французами! — сказал граф Растопчин. — Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж.

Он стал говорить громче, очевидно, для того, чтоб его слышали все.

— Костюмы французские, мысли французские, чувства французские! Вы вот Метивье взашеи выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из пяти барынь три католички и, по разрешению папы, в воскресенье по канве шьют. А сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволенья сказать. Эх, поглядишь на нашу молодежь, князь, взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры да по-русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила!

Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Растопчина и одобрительно покачивал головой.

— Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, — сказал Растопчин, с свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю.

— Прощай, голубчик, — гусли, всегда заслушаюсь его! — сказал старый князь, удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку. С Растопчиным поднялись и другие.

IV

Княжна Марья, сидя в гостиной и слушая эти толки и пересуды стариков, ничего не понимала из того, что она слышала, она думала только о том, не замечают ли все гости враждебных отношений ее отца к ней. Она

даже не заметила особенного внимания и любезностей, которые ей во все время этого обеда оказывал Друбецкой, уже третий раз бывший в их доме.

Княжна Марья с рассеянным, вопросительным взглядом обратилась к Пьеру, который, последний из гостей, с шляпой в руке и с улыбкой на лице, подошел к ней после того, как князь вышел, и они одни оставались в гостиной.

— Можно еще посидеть? — сказал он, своим толстым телом валясь в кресло подле княжны Марьи.

— Ах да, — сказала она. «Вы ничего не заметили?» — сказал ее взгляд.

Пьер находился в приятном послеобеденном состоянии духа. Он глядел перед собою и тихо улыбался.

— Давно вы знаете этого молодого человека, княжна? — сказал он.

— Какого?

— Друбецкого.

— Нет, недавно...

— Что, он вам нравится?

— Да, он приятный молодой человек... Отчего вы у меня это спрашиваете? — сказала княжна Марья, продолжая думать о своем утреннем разговоре с отцом.

— Оттого, что я сделал наблюдение: молодой человек обыкновенно из Петербурга приезжает в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой невесте.

— Вы сделали это наблюдение? — сказала княжна Марья.

— Да,— продолжал Пьер с улыбкой,— и этот молодой человек теперь себя так держит, что, где есть богатые невесты — там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин. Il est très assidu auprès d'elle [1].

— Он ездит к ним?

— Да, очень часто. И знаете вы новую манеру ухаживать? — с веселой улыбкой сказал Пьер, видимо находясь в том веселом духе добродушной насмешки, за который он так часто в дневнике упрекал себя.

— Нет, — сказала княжна Марья.

— Теперь, чтобы понравиться московским девицам,

---

[1] Он к ней очень внимателен.

il faut être mélancolique. Et il est très mélancolique auprès de m-lle Карагин[1], — сказал Пьер.

— Vraiment?[2] — сказала княжна Марья, глядя в доброе лицо Пьера и не переставая думать о своем горе. «Мне бы легче было, — думала она, — ежели бы я решилась поверить кому-нибудь все, что я чувствую. И я бы желала именно Пьеру сказать все. Он так добр и благороден. Мне бы легче стало. Он мне подал бы совет!»

— Пошли бы вы за него замуж? — спросил Пьер.

— Ах, боже мой, граф! есть такие минуты, что я пошла бы за всякого, — вдруг неожиданно для самой себя, со слезами в голосе, сказала княжна Марья. — Ах, как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что... ничего (продолжала она дрожащим голосом) не можешь для него сделать, кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно — уйти, а куда мне уйти?

— Что вы, что с вами, княжна?

Но княжна, не договорив, заплакала.

— Я не знаю, что со мной нынче. Не слушайте меня, забудьте, что я вам сказала.

Вся веселость Пьера исчезла. Он озабоченно расспрашивал княжну, просил ее высказать все, поверить ему свое горе; но она только повторяла, что просит его забыть то, что она сказала, что она не помнит, что она сказала, и что у нее нет горя, кроме того, которое он знает, — горя о том, что женитьба князя Андрея угрожает поссорить отца с сыном.

— Слышали ли вы про Ростовых? — спросила она, чтобы переменить разговор. — Мне говорили, что они скоро будут. André я тоже жду каждый день. Я бы желала, чтоб они увиделись здесь.

— А как он смотрит теперь на это дело? — спросил Пьер, под *он* разумея старого князя. Княжна Марья покачала головой.

— Но что же делать? До года остается только несколько месяцев. И это не может не быть. Я бы только желала избавить брата от первых минут. Я желала бы, чтоб они скорее приехали. Я надеюсь сойтись с нею... Вы их давно знаете, — сказала княжна Марья, — скажите мне, положа руку на сердце, всю истинную правду, что

[1] надо быть меланхоличным. Он очень меланхоличен при ней.
[2] Правда?

это за девушка и как вы находите ее? Но всю правду; потому что, вы понимаете, Андрей так много рискует, делая это против воли отца, что я бы желала знать...

Неясный инстинкт сказал Пьеру, что в этих оговорках и повторяемых просьбах сказать *всю правду* выражалось недоброжелательство княжны Марьи к своей будущей невестке, что ей хотелось, чтобы Пьер не одобрил выбора князя Андрея; но Пьер сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал.

— Я не знаю, как отвечать на ваш вопрос, — сказал он, покраснев, сам не зная отчего. — Я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот все, что можно про нее сказать. — Княжна Марья вздохнула, и выражение ее лица сказало: «Да, я этого ожидала и боялась».

— Умна она? — спросила княжна Марья. Пьер задумался.

— Я думаю, нет, — сказал он, — а впрочем — да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего. — Княжна Марья опять неодобрительно покачала головой...

— Ах, я так желаю любить ее! Вы ей это скажите, ежели увидите ее прежде меня.

— Я слышал, что они на днях будут, — сказал Пьер.

Княжна Марья сообщила Пьеру свой план о том, как она, только что приедут Ростовы, сблизится с будущей невесткой и постарается приучить к ней старого князя.

V

Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису, и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами — Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость, и казалась ему привлекательнее Жюли, ему почему-то неловко было ухаживать за Болконской. В последнее свое свидание с ней, в именины старого князя, на все его попытки заговорить с ней о чувствах она отвечала ему невпопад и, очевидно, не слушала его.

Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживанье.

Жюли было двадцать семь лет. После смерти своих братьев она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что, во-первых, она стала очень богатой невестой, а во-вторых, то, что чем старее она становилась, чем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который десять лет тому назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была семнадцатилетняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней-невестой, а как с знакомой, не имеющей пола.

Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званых вечеров и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в двенадцатом часу ночи и засиживавшихся до третьего часа. Не было бала, театра, гулянья, который бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные. Но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем, говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни и ожидает успокоения только *там*. Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарование, девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случалось, на нее смотрели, как на таковую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешала бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского и им откры-

вала свои альбомы, исполненные грустных изображений, изречений и стихов.

Жюли была особенно ласкова к Борису; жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбоме два дерева и написал: «Arbres rustiques, vos sombres rameaux secouent sur moi les ténèbres et la mélancolie» [1].

В другом месте он нарисовал гробницу и написал:

La mort est secourable et la mort est tranquille.
Ah! contre les douleurs il n'y a pas d'autre asile [2].

Жюли сказала, что это прелестно.

— Il y a quelque chose de si ravissant dans le sourire de la mélancolie! [3] — сказала она Борису слово в слово выписанное ею место из книги.

— C'est un rayon de lumière dans l'ombre, une nuance entre la douleur et le désespoir, qui montre la consolation possible [4].

На это Борис написал ей стихи:

Aliment de poison d'une âme trop sensible,
Toi, sans qui le bonheur me serait impossible,
Tendre mélancolie, ah! viens me consoler,
Viens calmer les tourments de ma sombre retraite
Et mêle une douceur secrète
A ces pleurs, que je sens couler [5].

Жюли играла Борису на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух «Бедную Лизу» и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыханье. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис

---

[1] «Сельские деревья, ваши темные сучья стряхивают на меня мрак и меланхолию».

[2] Смерть спасительна, и смерть спокойна.
О! против страданий нет другого убежища.

[3] Есть что-то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии.

[4] Это луч света в тени, оттенок между печалью и отчаянием, который указывает на возможность утешения.

[5] Ядовитая пища слишком чувствительной души,
Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно,
Нежная меланхолия, о, приди меня утешить,
Приди, утиши муки моего мрачного уединения
И присоедини тайную сладость
К этим слезам, которых я чувствую течение.

смотрели друг на друга как на единственных людей в море равнодушных, понимавших один другого.

Анна Михайловна, часто ездившая к Карагиным, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли (отдавались оба пензенские имения и нижегородские леса). Анна Михайловна с преданностью воле провидения и умиления смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли.

— Toujours charmante et mélancolique, cette chère Julie [1], — говорила она дочери. — Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. Он так много понес разочарований и так чувствителен, — говорила она матери.

— Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время, — говорила она сыну, — не могу тебе описать! Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо! Ах, Борис, Борис! — Она замолкала на минуту. — И как мне жалко ее maman, — продолжала она, — нынче она показывала мне отчеты и письма из Пензы (у них огромное имение), и она, бедная, все сама одна: ее так обманывают!

Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях.

Жюли уже давно ожидала предложенья от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже кончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагиных, и каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастия, Борис не мог произнести решительного слова; несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распреде-

---

[1] Все так же прелестна и меланхолична, наша милая Жюли.

лял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса, и иногда ей приходила мысль, что она противна ему; но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее, однако, начинала переходить в раздражительность, и незадолго перед отъездом Бориса она предприняла решительный план. В то самое время, как кончался срок отпуска Бориса, в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагиных появился Анатоль Курагин, и Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна к Курагину.

— Mon cher, — сказала Анна Михайловна сыну, — je sais de bonne source que le prince Basile envoie son fils à Moscou pour lui faire épouser Julie [1]. Я так люблю Жюли, что мне жалко бы было ее. Как ты думаешь, мой друг? — сказала Анна Михайловна.

Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого — в особенности в руках глупого Анатоля — оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его с веселым и беззаботным видом, небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве: о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что все одно и то же надоест каждому.

— Для этого я бы советовал вам... — начал было Борис, желая сказать ей колкость; но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды (чего с ним никогда ни в чем не бывало). Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтобы не ви-

---

[1] Мой милый, я знаю из верных источников, что князь Василий присылает сына затем, чтобы женить его на Жюли.

дать ее неприятно-раздраженного и нерешительного лица, и сказал: — Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами, приехал сюда. Напротив... — Он взглянул на нее, чтоб увериться, можно ли продолжать. Все раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные, просящие глаза были с жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее, — подумал Борис. — А дело начато и должно быть сделано!» Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: — Вы знаете мои чувства к вам! — Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; но она заставила Бориса сказать ей все, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, что требовала.

Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали все для блестящей свадьбы.

VI

Граф Илья Андреич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня все была нездорова и не могла ехать, — а нельзя было ждать ее выздоровления: князя Андрея ждали в Москву каждый день; кроме того, нужно было закупать приданое, нужно было продавать подмосковную и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был нетоплен; кроме того, они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреич решился остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно предлагавшей графу свое гостеприимство.

Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в Старой Конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе.

Она держалась все так же прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем свое мнение и всем своим существом как будто упрекала других людей за

всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала. С раннего утра — в куцавейке, она занималась домашним хозяйством, потом ездила по праздникам к обедне и от обедни в остроги и тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила, а по будням, одевшись, дома принимала просителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней, и потом обедала; за обедом, сытным и вкусным, всегда бывало человека три-четыре гостей; после обеда делала партию в бостон; на ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов, и ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе.

Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы и в передней завизжала дверь на блоке, пропуская входивших с холода Ростовых и их прислугу. Марья Дмитриевна, с очками, спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях залы и с строгим, сердитым видом смотрела на входящих. Можно бы было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливых приказаний людям о том, как разместить гостей и их вещи.

— Графские? Сюда неси, — говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. — Барышни, сюда налево. Ну, вы что лебезите! — крикнула она на девок. — Самовар чтобы согреть! Пополнела, похорошела, — проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. — Фу, холодная! Да раздевайся же скорее, — крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. — Замерз небось. Рому к чаю подать! Сонюшка, bonjour, — сказала она Соне, этим французским приветствием оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне.

Когда все, раздевшись и оправившись с дороги, пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех.

— Душой рада, что приехали и что у меня остановились, — говорила она. — Давно пора, — сказала она, значительно взглянув на Наташу... — Старик здесь, и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. Ну, да об этом после поговорим, — прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывавшим, что она при ней не желает говорить об этом. — Теперь слушай, — обратилась

она к графу, — завтра что же тебе надо? За кем пошлешь? Шиншина? — она загнула один палец, — плаксу Анну Михайловну — два. Она здесь с сыном. Женится сын-то! Потом Безухова, что ль? И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. Он обедал у меня в середу. Ну, а их, — она указала на барышень, — завтра свожу к Иверской, а потом и к Обер-Шельме заедем. Ведь небось все новое делать будете? С меня не берите, нынче рукава — вот что! Намедни княжна Ирина Васильевна молодая ко мне приехала: страх глядеть, точно два бочонка на руки надела. Ведь нынче что день — новая мода. Да у тебя-то у самого какие дела? — обратилась она строго к графу.

— Все вдруг подошло, — отвечал граф. — Тряпки покупать, а тут еще покупатель на подмосковную и на дом. Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Марьинское на денек, вам девчат моих прикину.

— Хорошо, хорошо, у меня целы будут. У меня как в Опекунском совете. Я их и вывезу куда надо, и побраню, и поласкаю, — сказала Марья Дмитриевна, дотрогиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи.

На другой день утром Марья Дмитриевна свозила барышень к Иверской и m-me Обер-Шальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти все приданое. Вернувшись, она выгнала всех, кроме Наташи, из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу.

— Ну, теперь поговорим. Поздравляю тебя с женихом. Подцепила молодца! Я рада за тебя; и его с таких лет знаю (она указала на аршин от земли). — Наташа радостно краснела. — Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик князь Николай очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик! Оно, разумеется, князь Андрей не дитя и без него обойдется, да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись, как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет.

Наташа молчала, как думала Марья Дмитриевна, от застенчивости, но, в сущности, Наташе было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое

представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по ее понятиям, не мог понимать его. Она любила и знала одного князя Андрея, он любил ее и должен был приехать на днях и взять ее. Больше ей ничего не нужно было.

— Ты видишь ли, я его давно знаю, и Машеньку, твою золовку, люблю. Золовки — колотовки, ну а уж эта мухи не обидит. Она меня просила ее с тобой свести. Ты завтра с отцом к ней поедешь, да приласкайся хорошенько: ты моложе ее. Как твой-то приедет, а уж ты и с сестрой и с отцом знакома и тебя полюбили. Так или нет? Ведь лучше будет?

— Лучше, — неохотно отвечала Наташа.

VII

На другой день, по совету Марьи Дмитриевны, граф Илья Андреич поехал с Наташей к князю Николаю Андреичу. Граф с невеселым духом собирался на этот визит: в душе ему было страшно. Последнее свидание во время ополчения, когда граф в ответ на свое приглашение к обеду выслушал горячий выговор за недоставление людей, было памятно графу Илье Андреичу. Наташа, одевшись в свое лучшее платье, была, напротив, в самом веселом расположении духа. «Не может быть, чтоб они не полюбили меня, — думала она, — меня все всегда любили. И я так готова сделать для них все, что они пожелают, так готова полюбить его — за то, что он отец, а ее за то, что она сестра, что не за что им не полюбить меня!»

Они подъехали к старому, мрачному дому на Вздвиженке и вошли в сени.

— Ну, господи благослови, — проговорил граф полушутя, полусерьезно; но Наташа заметила, что отец ее заторопился, входя в переднюю, и робко, тихо спросил, дома ли князь и княжна. После доклада о их приезде между прислугой князя произошло смятение. Лакей, побежавший докладывать о них, был остановлен другим лакеем в зале, и они шептали о чем-то. В залу выбежала горничная девушка и торопливо тоже говорила что-то, упоминая о княжне. Наконец один старый, с сердитым видом лакей вышел и доложил Ростовым, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу

гостям вышла m-lle Bourienne. Она особенно учтиво встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым красными пятнами лицом выбежала, тяжело ступая, навстречу к гостям и тщетно пыталась казаться свободной и радушной. Наташа с первого взгляда не понравилась княжне Марье. Она ей показалась слишком нарядной, легкомысленно-веселой и тщеславной. Княжна Марья не знала, что прежде, чем она увидала свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастию и по ревности к любви своего брата. Кроме этого непреодолимого чувства антипатии к ней, княжна Марья в эту минуту была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтобы к нему их не пускали. Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку, так как он казался очень взволнованным приездом Ростовых.

— Ну вот, я вам, княжна милая, привез мою певунью, — сказал граф, расшаркиваясь и беспокойно оглядываясь, как будто он боялся, не взойдет ли старый князь. — Уж как я рад, что вы познакомитесь. Жаль жаль, что князь все нездоров, — и, сказав еще несколько общих фраз, он встал. — Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил, тут два шага, на Собачью Площадку, к Анне Семеновне, и заеду за ней.

Илья Андреич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой (как он сказал это после дочери), и еще для того, чтоб избежать возможности встречи с князем, которого он боялся. Он не сказал этого дочери, но Наташа поняла этот страх и беспокойство своего отца и почувствовала себя оскорбленною. Она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что покраснела, и смелым, вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну. Княжна сказала графу, что очень рада и просит его только пробыть подольше у Анны Семеновны, и Илья Андреич уехал.

M-lle Bourienne, несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, желавшей с глазу на

глаз поговорить с Наташей, не выходила из комнаты и держала твердо разговор о московских удовольствиях и театрах. Наташа была оскорблена замешательством, происшедшим в передней, беспокойством своего отца и неестественным тоном княжны, которая — ей казалось — делала милость, принимая ее. И потому все ей было неприятно. Княжна Марья ей не нравилась. Она казалась ей очень дурной собой, притворной и сухою. Наташа вдруг нравственно съежилась и приняла невольно такой небрежный тон, который еще более отталкивал от нее княжну Марью. После пяти минут тяжелого, притворного разговора послышались приближающиеся быстрые шаги в туфлях. Лицо княжны Марьи выразило испуг, дверь комнаты отворилась, и вошел князь в белом колпаке и халате.

— Ах, сударыня, — заговорил он, — сударыня, графиня... графиня Ростова, коли не ошибаюсь... прошу извинить, извинить... не знал, сударыня. Видит бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением, к дочери зашел в таком костюме. Извинить прошу... видит бог, не знал, — повторил он так ненатурально, ударяя на слово бог, и так неприятно, что княжна Марья стояла, опустив глаза, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу. Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна m-lle Bourienne приятно улыбалась.

— Прошу извинить! прошу извинить! Видит бог, не знал, — пробурчал старик и, осмотрев с головы до ног Наташу, вышел. M-lle Bourienne первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя. Наташа и княжна Марья молча смотрели друг на друга, и чем дольше они молча смотрели друг на друга, не высказывая того, что им нужно было высказать, тем недоброжелательнее они думали друг о друге.

Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать: она почти ненавидела в эту минуту эту старую сухую княжну, которая могла поставить ее в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав о князе Андрее. «Ведь я не могла же начать первая говорить о нем при этой французенке», — думала Наташа. Княжна Марья между тем мучилась тем же самым. Она знала, что ей надо было сказать Наташе, но она не могла этого сделать и потому, что m-lle Bourienne мешала ей, и потому, что она сама не знала, отчего ей так тяжело было начать говорить

об этом браке. Когда уже граф выходил из комнаты, княжна Марья быстрыми шагами подошла к Наташе, взяла ее за руки и, тяжело вздохнув, сказала: «Постойте, мне надо...» Наташа насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну Марью.

— Милая Натали, — сказала княжна Марья, — знайте, что я рада тому, что брат мой нашел счастье... — Она остановилась, чувствуя, что она говорит неправду. Наташа заметила эту остановку и угадала причину ее.

— Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом, — сказала Наташа с внешним достоинством и холодностью и с слезами, которые она чувствовала в горле.

«Что я сказала, что я сделала!» — подумала она, как только вышла из комнаты.

Долго ждали в этот день Наташу к обеду. Она сидела в своей комнате и рыдала, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. Соня стояла над ней и целовала ее в волоса.

— Наташа, о чем ты? — говорила она. — Что тебе за дело до них? Все пройдет, Наташа.

— Нет, ежели бы ты знала, как это обидно... точно я...

— Не говори, Наташа, ведь ты не виновата, так что тебе за дело? Поцелуй меня, — сказала Соня.

Наташа подняла голову и, в губы поцеловав свою подругу, прижала к ней свое мокрое лицо.

— Я не могу сказать, я не знаю. Никто не виноват, — говорила Наташа, — я виновата. Но все это больно ужасно. Ах, что он не едет!..

Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи, и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями.

VIII

В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет.

Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для

нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно.

«Боже мой! ежели бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его — как я вижу эти глаза! — думала Наташа. — И что мне за дело до его отца и сестры: я люблю его одного, его, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской... Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю, — и она отошла от зеркала, делая над собой усилия, чтобы не заплакать. — И как может Соня так ровно, спокойно любить Николеньку и ждать так долго и терпеливо! — подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню. — Нет, она совсем другая. Я не могу!»

Наташа чувствовала себя в эту минуту такою размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее и забыла, с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу, карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья; вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши все трое пошли в коридор бенуара. Из-за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.

— Nathalie, vos cheveux [1], — прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно боком проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна, в дверь блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам и шумящий и блестя-

---

[1] Наташа, твои волосы.

щий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась, и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противуположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений.

Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того, все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России.

Наташа похорошела в деревне, как все ей говорили, а в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно бессознательно, в такт увертюры, сжималась и разжималась, комкая афишу.

— Посмотри, вот Аленина, — говорила Соня, — с матерью, кажется.

— Батюшки! Михаил Кирилыч-то еще потолстел! — говорил старый граф.

— Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой!

— Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой.

— Друбецкой сделал предложение! Как же, нынче узнал, — сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых.

Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая с жемчугами на толстой красной шее (Наташа знала, обсыпанной пудрой) сидела с счастливым видом рядом с матерью. Позади их, с улыбкой, наклоненная ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причесанная, красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то своей невесте.

«Они говорят про нас, про меня с ним! — подумала Наташа. — И он, верно, успокоивает ревность ко мне своей невесты. Напрасно беспокоятся! Ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела».

Сзади сидела в зеленой токе, с преданным воле божией и счастливым, праздничным лицом, Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера — жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась, и вдруг все, что было унизительного в ее утреннем посещении, вспомнилось ей.

«Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство? Ах, лучше не думать об этом, не думать до его приезда!» — сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в партере. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он, видимо, первенствовал между ними.

Граф Илья Андреич, смеясь, подтолкнул краснеющую Соню, указывая ей на прежнего обожателя.

— Узнала? — спросил он. — И откуда он взялся, — обратился граф к Шиншину, — ведь он пропадал куда-то?

— Пропадал, — отвечал Шиншин. — На Кавказе был, а там бежал и, говорят, у какого-то владетельного князя был министром в Персии, убил там брата шахова; ну, с ума все и сходят московские барыни! Dolochoff le Persan[1], да и кончено. У нас теперь нет слова без Долохова: им клянутся, на него зовут, как на стерлядь, — говорил Шиншин. — Долохов да Курагин Анатоль — всех у нас барынь с ума свели.

В соседний бенуар вошла высокая красивая дама, с огромной косой и очень оголенными белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем.

Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время как Наташа второй раз вглядыва-

---

[1] Персиянин Долохов.

лась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреич, знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил.

— Давно пожаловали, графиня? — заговорил он. — Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет, — говорил Илья Андреич. — Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал. Он здесь?

— Да, он хотел зайти, — сказала Элен и внимательно посмотрела на Наташу.

Граф Илья Андреич опять сел на свое место.

— Ведь хороша? — шепотом сказал он Наташе.

— Чудо! — сказала Наташа. — Вот влюбиться можно! — В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В партер прошли на места запоздавшие мужчины, и поднялась занавесь.

Как только поднялась занавесь, в ложах и партере все замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины, в драгоценных каменьях на голом теле, с жадным любопытством устремили все внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть.

IX

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.

Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем,

и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться.

После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть, это так надобно!» — думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый, толпою согретый воздух. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она и что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно, без связи, мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и защекотать ее.

В одну из минут, когда на сцене все затихло, ожидая начала арии, скрипнула входная дверь, и по ковру партера на той стороне, на которой была ложа Ростовых, зазвучали шаги запоздавшего мужчины. «Вот он, Курагин!» — прошептал Шиншин. Графиня Безухова обернулась, улыбаясь, к входящему. Наташа посмотрела по направлению глаз графини Безуховой и увидала необыкновенно красивого адъютанта, с самоуверенным и вместе учтивым видом подходящего к их ложе. Это был Анатоль Курагин, которого она давно видела и заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одной эполетой и эксельбантом. Он шел сдержанной

молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на его прекрасном лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Несмотря на то, что действие шло, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шел по наклонному ковру коридора. Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитой перчатке на край ее ложи, тряхнул ей головой и, наклонясь, спросил что-то, указывая на Наташу.

— Mais charmante![1] — сказал он, очевидно, про Наташу, как не столько слышала она, сколько поняла по движению его губ. Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова, дружески и небрежно толкнув локтем того Долохова, с которым так заискивающе обращались другие. Он, весело подмигнув, улыбнулся ему и уперся ногой в рампу.

— Как похожи брат с сестрой! — сказал граф. — И как хороши оба.

Шиншин вполголоса начал рассказывать графу какую-то историю интриги Курагина в Москве, к которой Наташа прислушалась именно потому, что он сказал про нее charmante.

Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались и стали ходить и выходить.

Борис пришел в ложу Ростовых, очень просто принял поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой, передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были на ее свадьбе, и вышел. Наташа с веселой и кокетливой улыбкой разговаривала с ним и поздравляла с женитьбой того самого Бориса, в которого она была влюблена прежде. В том состоянии опьянения, в котором она находилась, все казалось просто и естественно.

Голая Элен сидела подле нее и одинаково всем улыбалась; и точно так же улыбнулась Наташа Борису.

Ложа Элен наполнилась и окружилась со стороны партера самыми знатными и умными мужчинами, которые, казалось, наперерыв желали показать всем, что они знакомы с ней.

Курагин весь этот антракт стоял с Долоховым впереди у рампы, глядя на ложу Ростовых. Наташа знала, что он говорил про нее, и это доставляло ей удовольствие.

[1] Очень, очень мила!

Она даже повернулась так, чтоб ему виден был ее профиль, по ее понятиям, в самом выгодном положении. Перед началом второго акта в партере показалась фигура Пьера, которого еще с приезда не видали Ростовы. Лицо его было грустно, и он еще потолстел, с тех пор как его последний раз видела Наташа. Он, никого не замечая, прошел в первые ряды. Анатоль подошел к нему и стал что-то говорить ему, глядя и указывая на ложу Ростовых. Пьер, увидав Наташу, оживился и поспешно, по рядам, пошел к их ложе. Подойдя к ним, он облокотился и, улыбаясь, долго говорил с Наташей. Во время своего разговора с Пьером Наташа услыхала в ложе графини Безуховой мужской голос и почему-то узнала, что это был Курагин. Она оглянулась и встретилась с ним глазами. Он, почти улыбаясь, смотрел ей прямо в глаза таким восхищенным, ласковым взглядом, что казалось, странно быть от него так близко, так смотреть на него, быть так уверенной, что нравишься ему, и не быть с ним знакомой.

Во втором акте были картоны, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то железное, и все стали на колена и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.

Во время этого акта Наташа всякий раз, как взглядывала в партер, видела Анатоля Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла и смотревшего на нее. Ей приятно было видеть, что он так пленен ею, и не приходило в голову, чтобы в этом было что-нибудь дурное.

Когда второй акт кончился, графиня Безухова встала, повернулась к ложе Ростовых (грудь ее совершенно была обнажена), пальчиком в перчатке поманила к себе старого графа и, не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.

— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми, — сказала она. — Весь город про них кричит, а я их не знаю.

Наташа встала и присела великолепной графине. Наташе так приятна была похвала этой блестящей красавицы, что она покраснела от удовольствия.

— Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой, — говорила Элен. — И как вам не совестно зарыть такие перлы в деревне!

Графиня Безухова по справедливости имела репутацию обворожительной женщины. Она могла говорить то, чего не думала, и в особенности льстить, совершенно просто и натурально.

— Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я хоть теперь здесь ненадолго. И вы тоже. Я постараюсь повеселить ваших. Я еще в Петербурге много слышала о вас и хотела вас узнать, — сказала она Наташе с своей однообразно красивой улыбкой. — Я слышала о вас и от моего пажа — Друбецкого, — вы слышали, он женится, — и от друга моего мужа — Болконского, князя Андрея Болконского, — сказала она с особенным ударением, намекая этим на то, что она знала отношения его к Наташе. Она попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из барышень посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла к ней.

В третьем акте был на сцене представлен дворец, в котором горело много свечей и повешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правою рукой и, видимо робея, дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке, с распущенными волосами, и стояла около трона. Она о чем-то горестно пела, обращаясь к царице; но царь строго махнул рукой, и с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело. Одна из девиц, с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали браво. Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы,

и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. (Мужчина этот был Duport, получавший шестьдесят тысяч рублей серебром за это искусство.) Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать из всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться на все стороны. Потом танцевали еще другие, с голыми ногами, мужчины и женщины, потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и все стали петь. Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась. Опять между зрителями поднялся страшный шум и треск, и все с восторженными лицами стали кричать:

— Дюпора! Дюпора! Дюпора!

Наташа уже не находила этого странным. Она с удовольствием, радостно улыбаясь, смотрела вокруг себя.

— N'est ce pas qu'il est admirable — Duport? [1] — сказала Элен, обращаясь к ней.

— Oh, oui [2], — отвечала Наташа.

X

В антракте в ложе Элен пахнуло холодом, отворилась дверь и, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, вошел Анатоль.

— Позвольте мне вам представить брата, — беспокойно перебегая глазами с Наташи на Анатоля, сказала Элен. Наташа через голое плечо оборотила к красавцу свою хорошенькую головку и улыбнулась. Анатоль, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие, еще с нарышкинского бала, на котором имел удовольствие, которое он не забыл, видеть ее. Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто, и Наташу странно и приятно поразило то, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много

---

[1] Не правда ли, что Дюпор восхитителен?

[2] О, да.

рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно-веселая и добродушная улыбка.

Анатоль Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова, играя, упала.

— А знаете, графиня, — сказал он, вдруг обращаясь к ней, как к старой, давнишней знакомой, — у нас устраивается карусель в костюмах; вам бы надо участвовать в нем: будет очень весело. Все собираются у Архаровых. Пожалуйста, приезжайте, право, а? — проговорил он.

Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташа несомненно знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно, жарко и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Наташа оглядывалась на Элен и на отца, как будто спрашивая их, что такое это значило; но Элен была занята разговором с каким-то генералом и не ответила на ее взгляд, а взгляд отца ничего не сказал ей, как только то, что он всегда говорил: «Весело, ну я и рад».

В одну из минут неловкого молчания, во время которых Анатоль своими выпуклыми глазами спокойно и упорно смотрел на нее, Наташа, чтобы прервать это молчание, спросила его, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатоль улыбнулся, как бы ободряя ее.

— Сначала мне мало нравилась, потому что что́ делает город приятным? Ce sont les jolies femmes[1], не прав-

---

[1] Это хорошенькие женщины.

да ли? Ну а теперь очень нравится, — сказал он, значительно глядя на нее. — Поедете на карусель, графиня? Пожалуйста, поезжайте, — сказал он и, протянув руку к ее букету и понижая голос, сказал: — Vous serez la plus jolie. Venez, chère comtesse, et comme gage donnez moi cette fleur [1].

Наташа не поняла того, что он сказал, так же как он сам, но она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел. Она не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слыхала того, что он сказал. Но только что она отвернулась, она подумала, что он тут сзади, так близко от нее.

«Что он теперь? Он сконфужен? Рассержен? Надо поправить это?» — спрашивала она сама себя. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Она прямо в глаза взглянула ему, и его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась тоже, так же, как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

Опять поднялась занавесь. Анатоль вышел из ложи, спокойный и веселый. Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед нею, уже казалось ей вполне естественным; но зато все прежние мысли ее о женихе, о княжне Марье, о деревенской жизни ни разу не пришли ей в голову, как будто все то было давно, давно прошедшее.

В четвертом акте был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда. Наташа только это и видела из четвертого акта: что-то волновало и мучило ее, и причиной этого волнения был Курагин, за которым она невольно следила глазами. Когда они выходили из театра, Анатоль подошел к ним, вызвал их карету и подсаживал их. Подсаживая Наташу, он пожал ей руку выше кисти. Наташа, взволнованная, красная и счастливая, оглянулась на него. Он, блестя своими глазами и нежно улыбаясь, смотрел на нее.

---

[1] Вы будете самая хорошенькая. Поезжайте, милая графиня, и в залог дайте мне этот цветок.

Только приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было, и, вдруг вспомнив о князе Андрее, она ужаснулась и при всех, за чаем, за который все сели после театра, громко ахнула и, раскрасневшись, выбежала из комнаты. «Боже мой! Я погибла! — сказала она себе. — Как я могла допустить до этого?» — думала она. Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с ней было, ни того, что она чувствовала. Все казалось ей темно, неясно и страшно. Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Duport в курточке с блестками, и девицы, и старики, и голая, с спокойной и гордой улыбкой Элен в восторге кричали браво, — там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто; но теперь одной, самой с собой, это было непонятно. «Что это такое? Что такое этот страх, который я испытывала к нему? Что такое эти угрызения совести, которые я испытываю теперь?» — думала она.

Одной старой графине Наташа в состоянии была бы ночью в постели рассказать все, что она думала. Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом, или ничего бы не поняла, или ужаснулась бы ее признанию. Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило.

«Погибла ли я для любви князя Андрея или нет?» — спрашивала она себя и с успокоительной усмешкой отвечала себе: «Что я за дура, что я спрашиваю это? Что ж со мной было? Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. Никто не узнает, и я его больше не увижу никогда, — говорила она себе. — Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и *такою*. Но какою *такою?* Ах боже, боже мой! Зачем его нет тут!» Наташа успокоивалась на мгновенье, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда и хотя ничего не было, — инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла. И она опять в своем воображении повторяла весь свой разговор с Курагиным и представляла себе лицо, жест и нежную улыбку этого красивого и смелого человека, в то время как он пожал ее руку.

XI

Анатоль Курагин жил в Москве, потому что отец отослал его из Петербурга, где он проживал более двадцати тысяч в год деньгами и столько же долгами, которых кредиторы требовали у отца.

Отец объявил сыну, что он в последний раз платит половину его долгов; но только с тем, чтоб он ехал в Москву в должность адъютанта главнокомандующего, которую он ему выхлопотал, и постарался бы там, наконец, сделать хорошую партию. Он указал ему на княжну Марью и Жюли Карагину.

Анатоль согласился и поехал в Москву, где остановился у Пьера. Пьер принял Анатоля сначала неохотно, но потом привык к нему, иногда ездил с ним на его кутежи и, под предлогом займа, давал ему деньги.

Анатоль, как справедливо говорил про него Шиншин, с тех пор как приехал в Москву, сводил с ума всех московских барынь в особенности тем, что он пренебрегал ими и, очевидно, предпочитал им цыганок и французских актрис, с главою которых, с mademoiselle Georges, как говорили, он был в близких сношениях. Он не пропускал ни одного кутежа у Долохова и других весельчаков Москвы, напролет пил целые ночи, перепивая всех, и бывал на всех вечерах и балах высшего света. Рассказывали про несколько интриг его с московскими дамами, и на балах он ухаживал за некоторыми. Но с девицами, в особенности с богатыми невестами, которые были большей частью дурны, он не сближался, тем более что Анатоль, чего никто не знал, кроме самых близких друзей его, был два года тому назад женат. Два года тому назад, во время стоянки его полка в Польше, один польский небогатый помещик заставил Анатоля жениться на своей дочери.

Анатоль весьма скоро бросил свою жену и за деньги, которые он условился высылать тестю, выговорил себе право слыть за холостого человека.

Анатоль был всегда доволен своим положением, собою и другими. Он был инстинктивно, всем существом своим убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем так, как он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отзываться на других, ни того, что может выйти из такого или такого его поступка. Он был убежден, что как утка сотворена так, что она всегда

должна жить в воде, так и он сотворен богом так, что должен жить в тридцать тысяч дохода и занимать всегда высшее положение в обществе. Он так твердо верил в это, что, глядя на него, и другие были убеждены в этом и не отказывали ему ни в высшем положении в свете, ни в деньгах, которые он, очевидно без отдачи, занимал у встречного и поперечного.

Он не был игрок, по крайней мере, никогда не желал выигрыша, даже не жалел проигрыша. Он не был тщеславен. Ему было совершенно все равно, что бы о нем ни думали. Еще менее он мог быть повинен в честолюбии. Он несколько раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями. Он был не скуп и не отказывал никому, кто просил у него. Одно, что он любил, — это было веселье и женщины; и так как, по его понятиям, в этих вкусах не было ничего неблагородного, а обдумать то, что выходило для других людей из удовлетворения его вкусов, он не мог, то в душе своей он считал себя безукоризненным человеком, искренно презирал подлецов и дурных людей и с спокойной совестью высоко носил голову.

У кутил, у этих мужских магдалин, есть тайное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин-женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей все простится, потому что она много любила; и ему все простится, потому что он много веселился».

Долохов, в этом году появившийся опять в Москве после своего изгнания и персидских похождений и ведший роскошную игорную и кутежную жизнь, сблизился с старым петербургским товарищем Курагиным и пользовался им для своих целей.

Анатоль искренно любил Долохова за его ум и удальство; Долохов, которому были нужны имя, знатность, связи Анатоля Курагина для приманки в свое игорное общество богатых молодых людей, не давая ему этого чувствовать, пользовался и забавлялся Курагиным. Кроме расчета, по которому ему был нужен Анатоль, самый процесс управления чужою волей был наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова.

Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживания — Анатоль не мог обду-

мать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого его поступка.

— Хороша, брат, да не про нас, — сказал ему Долохов.

— Я скажу сестре, чтоб она позвала ее обедать, — сказал Анатоль. — А?

— Ты подожди лучше, как замуж выйдет...

— Ты знаешь, — сказал Анатоль, — j'adore les petites filles:[1] сейчас потеряется.

— Ты уж попался раз на petite fille, — сказал Долохов, знавший про женитьбу Анатоля. — Смотри.

— Ну, уж два раза нельзя! А? — сказал Анатоль, добродушно смеясь.

XII

Следующий после театра день Ростовы никуда не ездили, и никто не приезжал к ним. Марья Дмитриевна о чем-то, скрывая от Наташи, переговаривалась с ее отцом. Наташа догадывалась, что они говорили о старом князе и что-то придумывали, и ее беспокоило и оскорбляло это. Она всякую минуту ждала князя Андрея и два раза в этот день посылала дворника на Вздвиженку узнавать, не приехал ли он. Он не приезжал. Ей было теперь тяжелее, чем первые дни своего приезда. К нетерпению и грусти ее о нем присоединились неприятное воспоминание о свидании с княжной Марьей и с старым князем и страх и беспокойство, которым она не знала причины. Ей все казалось, что или он никогда не приедет, или что, прежде чем он приедет, с ней случится что-нибудь. Она не могла, как прежде, спокойно и продолжительно, одна сама с собой, думать о нем. Как только она начинала думать о нем, к воспоминанию о нем присоединялось воспоминание о старом князе, о княжне Марье, и о последнем спектакле, и о Курагине. Ей опять представлялся вопрос, не виновата ли она, не нарушена ли уже ее верность князю Андрею, и опять она заставала себя до малейших подробностей воспоминающею каждое слово, каждый жест, каждый оттенок игры выражения на лице этого человека, умевшего возбудить в ней непонятное для нее и страшное чувство. На взгляд домашних, Наташа

[1] я обожаю девочек.

казалась оживленнее обыкновенного, но она далеко была не так спокойна и счастлива, как была прежде.

В воскресенье утром Марья Дмитриевна пригласила своих гостей к обедне в свой приход Успения на Могильцах.

— Я этих модных церквей не люблю, — говорила она, видимо гордясь своим свободомыслием. — Везде бог один. Поп у нас прекрасный, служит прилично, так это благородно, и дьякон тоже. Разве от этого святость какая, что концерты на клиросе поют? Не люблю, одно баловство!

Марья Дмитриевна любила воскресные дни и умела праздновать их. Дом ее бывал весь вымыт и вычищен в субботу; люди и она не работали, все были празднично разряжены, и все бывали у обедни. К господскому обеду прибавлялись кушанья, и людям давалась водка и жареный гусь или поросенок. Но ни на чем во всем доме так не бывал заметен праздник, как на широком, строгом лице Марьи Дмитриевны, в этот день принимавшем неизменяемое выражение торжественности.

Когда напились кофе после обедни, в гостиной с снятыми чехлами, Марье Дмитриевне доложили, что карета готова, и она с строгим видом, одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, поднялась и объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Болконскому, чтоб объясниться с ним насчет Наташи.

После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовым приехала модистка от мадам Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, очень довольная развлечением, занялась примериваньем новых платьев. В то время как она, надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и загибая голову, гляделась в зеркало, как сидит спинка, она услыхала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого, женского голоса, который заставил ее покраснеть. Это был голос Элен. Не успела Наташа снять примериваемый лиф, как дверь отворилась и в комнату вошла графиня Безухова, сияющая добродушной и ласковой улыбкой, в темно-лиловом, с высоким воротом, бархатном платье.

— Ah, ma délicieuse! [1] — сказала она красневшей Наташе. — Charmante! [2] Нет, это ни на что не похоже, мой

---

[1] О, моя восхитительная!
[2] Прелесть!

милый граф, — сказала она вошедшему за ней Илье Андреичу. — Как жить в Москве и никуда не ездить? Нет, я от вас не отстану! Нынче вечером у меня m-lle Georges декламирует и соберутся кое-кто; и ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше m-lle Georges, то я вас знать не хочу. Мужа нет, он уехал в Тверь, а то бы я его за вами прислала. Непременно приезжайте, непременно, в девятом часу. — Она кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платья и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем en gaz métallique [1], которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же.

— Впрочем, вам все идет, моя прелестная, — говорила она.

С лица Наташи не сходила улыбка удовольствия. Она чувствовала себя счастливой и расцветающей под похвалами этой милой графини Безуховой, казавшейся ей прежде такой неприступной и важной дамой и бывшей теперь такою доброй с ней. Наташе стало весело, и она чувствовала себя почти влюбленной в эту такую красивую и такую добродушную женщину. Элен с своей стороны искренно восхищалась Наташей и желала повеселить ее. Анатоль просил ее свести его с Наташей, и для этого она приехала к Ростовым. Мысль свести брата с Наташей забавляла ее.

Несмотря на то, что прежде у нее была досада на Наташу за то, что она в Петербурге отбила у нее Бориса, она теперь и не думала об этом и всей душой, по-своему, желала добра Наташе. Уезжая от Ростовых, она отозвала в сторону свою protégée.

— Вчера брат обедал у меня — мы помирали со смеха — ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chère [2].

Наташа багрово покраснела, услыхав эти слова.

— Как краснеет, как краснеет, ma délicieuse! [3] — проговорила Элен. — Непременно приезжайте. Si vous aimez

---

[1] из металлического газа.
[2] Он без ума, ну истинно без ума влюблен в вас.
[3] моя прелесть!

quelqu'un, ma délicieuse, ce n'est pas une raison pour se cloitrer. Si même vous êtes promise, je suis sûre que votre promis aurait désiré que vous alliez dans le monde en son absence plutôt que de dépérir d'ennui [1].

«Стало быть, она знает, что я невеста, стало быть, и они с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером, — думала Наташа, — говорили и смеялись про это. Стало быть, это ничего». И опять, под влиянием Элен, то, что прежде представлялось страшным, показалось простым и естественным. «И она такая grande dame [2], такая милая и так, видно, всей душой любит меня, — думала Наташа. — И отчего не веселиться?» — думала Наташа, удивленными, широко раскрытыми глазами глядя на Элен.

К обеду вернулась Марья Дмитриевна, молчаливая, серьезная, очевидно, понесшая поражение у старого князя. Она была еще слишком взволнована от происшедшего столкновения, чтобы быть в силах спокойно рассказать дело. На вопрос графа она отвечала, что все хорошо и что она завтра расскажет. Узнав о посещении графини Безуховой и приглашении на вечер, Марья Дмитриевна сказала:

— С Безуховой водиться я не люблю и не посоветую; ну, да уж если обещала, поезжай, рассеешься, — прибавила она, обращаясь к Наташе.

XIII

Граф Илья Андреич повез своих девиц к графине Безуховой. На вечере было довольно много народу. Но все общество было почти незнакомо Наташе. Граф Илья Андреич с неудовольствием заметил, что все это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения. M-lle Georges, окруженная молодежью, стояла в углу гостиной. Было несколько французов и между ними Метивье, бывший, со времени приезда Элен, домашним человеком у нее. Граф Илья Андреич решился не садиться за карты, не отходить от

[1] Если вы кого-нибудь любите, моя прелестная, это еще не причина, чтобы запереть себя. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених желал бы скорее, чтобы вы ездили в свет, чем пропадали со скуки.

[2] важная барыня.

дочерей и уехать, как только кончится представление Georges.

Анатоль, очевидно, у двери ожидал входа Ростовых. Он тотчас же, поздоровавшись с графом, подошел к Наташе и пошел за ней. Как только Наташа его увидала, то же, как и в театре, чувство тщеславного удовольствия, что она нравится ему, и страха от отсутствия нравственных преград между ею и им охватило ее.

Элен радостно приняла Наташу и громко восхищалась ее красотой и туалетом. Вскоре после их приезда m-lle Georges вышла из комнаты, чтобы одеться. В гостиной стали расстанавливать стулья и усаживаться. Анатоль подвинул Наташе стул и хотел сесть подле, но граф, не спускавший глаз с Наташи, сел подле нее. Анатоль сел сзади.

M-lle Georges, с оголенными, с ямочками, толстыми руками, в красной шали, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе. Послышался восторженный шепот.

M-lle Georges строго и мрачно оглянула публику и начала говорить по-французски какие-то стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну. Она местами возвышала голос, местами шептала, торжественно поднимая голову, местами останавливалась и хрипела, выкатывая глаза.

— Adorable, divin, délicieux! [1] — слышалось со всех сторон. Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не слышала, не видела и не понимала ничего из того, что делалось перед ней; она только чувствовала себя опять вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел Анатоль, и она, чувствуя его близость, испуганно ждала чего-то.

После первого монолога все общество встало и окружило m-lle Georges, выражая ей свой восторг.

— Как она хороша! — сказала Наташа отцу, который вместе с другими встал и сквозь толпу подвигался к актрисе.

— Я не нахожу, глядя на вас, — сказал Анатоль, следуя за Наташей. Он сказал это в такое время, когда она

[1] Восхитительно, божественно, чудесно!

одна могла его слышать. — Вы прелестны... с той минуты, как я увидал вас, я не переставал...

— Пойдем, пойдем, Наташа, — сказал граф, возвращаясь за дочерью. — Как хороша!

Наташа, ничего не говоря, подошла к отцу и вопросительно-удивленными глазами смотрела на него.

После нескольких приемов декламации m-lle Georges уехала, и графиня Безухова попросила общество в залу.

Граф хотел уехать, но Элен умоляла не испортить ее импровизированного бала. Ростовы остались. Анатоль пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая ее стан и руку, сказал ей, что она ravissante [1] и что он любит ее. Во время экосеза, который она опять танцевала с Курагиным, когда они остались одни, Анатоль ничего не говорил ей и только смотрел на нее. Наташа была в сомнении, не во сне ли она видела то, что он сказал ей во время вальса. В конце первой фигуры он опять пожал ей руку. Наташа подняла на него испуганные глаза, но такое самоуверенно-нежное выражение было в его ласковом взгляде и улыбке, что она не могла, глядя на него, сказать того, что она имела сказать ему. Она опустила глаза.

— Не говорите мне таких вещей, я обручена и люблю другого, — проговорила она быстро... Она взглянула на него. Анатоль не смутился и не огорчился тем, что она сказала.

— Не говорите мне про это. Что мне за дело? — сказал он. — Я говорю, что безумно, безумно влюблен в вас. Разве я виноват, что вы восхитительны?.. Нам начинать.

Наташа, оживленная и тревожная, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее, чем обыкновенно. Она почти ничего не помнила из того, что было в этот вечер. Танцевали экосез и гросфатер, отец приглашал ее уехать, она просила остаться. Где бы она ни была, с кем бы ни говорила, она чувствовала на себе его взгляд. Потом она помнила, что попросила у отца позволения выйти в уборную оправить платье, что Элен вышла за ней, говорила ей, смеясь, о любви ее брата и что в маленькой диванной ей опять встретился Анатоль, что Элен куда-то исчезла, они оста-

---

[1] обворожительна.

лись вдвоем, и Анатоль, взяв ее за руку, нежным голосом сказал:

— Я не могу к вам ездить, но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно люблю вас. Неужели никогда?.. — И он, заслоняя ей дорогу, приближал свое лицо к ее лицу.

Блестящие большие мужские глаза его так близки были от ее глаз, что она не видела ничего, кроме этих глаз.

— Натали?! — прошептал вопросительно его голос, и кто-то больно сжимал ее руки. — Натали?!

«Я ничего не понимаю, мне нечего говорить», — сказал ее взгляд.

Горячие губы прижались к ее губам, и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободною, и в комнате послышался шум шагов и платья Элен. Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая, взглянула на него испуганно-вопросительно и пошла к двери.

— Un mot, un seul, au nom de dieu [1], — говорил Анатоль.

Она остановилась. Ей так нужно было, чтоб он сказал это слово, которое бы объяснило ей то, что случилось, и на которое она бы ему ответила.

— Nathalie, un mot, un seul [2], — все повторял он, видимо, не зная, что сказать, и повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен.

Элен вместе с Наташей опять вышла в гостиную. Не оставшись ужинать, Ростовы уехали.

Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь; ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея? Князя Андрея она любила — она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля она любила тоже, это было несомненно. «Иначе, разве все это могло бы быть? — думала она. — Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, могла улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то значит, что я с первой минуты полюбила его. Значит, он добр, благороден и прекрасен, и нельзя было не полюбить его. Что же мне делать, когда я люблю его и люблю другого?» — говорила она себе, не находя ответов на эти страшные вопросы.

---

[1] Одно слово, только одно, ради бога.

[2] Натали, одно слово, одно.

XIV

Пришло утро с его заботами и суетой. Все встали, задвигались, заговорили, опять пришли модистки, опять вышла Марья Дмитриевна и позвали к чаю. Наташа широко раскрытыми глазами, как будто она хотела перехватить всякий устремленный на нее взгляд, беспокойно оглядывалась на всех и старалась казаться такою же, какою она была всегда.

После завтрака Марья Дмитриевна (это было лучшее время ее), сев на свое кресло, подозвала к себе Наташу и старого графа.

— Ну-с, друзья мои, теперь я все дело обдумала, и вот вам мой совет, — начала она. — Вчера, как вы знаете, была я у кнезь Николая; ну-с и поговорила с ним... Он кричать вздумал. Да меня не перекричишь! Я все ему выпела!

— Да что же он? — спросил граф.

— Он-то что? сумасброд... слышать не хочет; ну, да что говорить, и так мы бедную девочку измучили, — сказала Марья Дмитриевна. — А совет мой вам, чтобы дела покончить и ехать домой, в Отрадное... и там ждать...

— Ах, нет! — вскрикнула Наташа.

— Нет, ехать, — сказала Марья Дмитриевна. — И там ждать. Если жених теперь сюда приедет — без ссоры не обойдется, а он тут один на один с стариком все переговорит и потом к вам приедет.

Илья Андреич одобрил это предложение, тотчас поняв всю разумность его. Ежели старик смягчится, то тем лучше будет приехать к нему в Москву или Лысые Горы уже после; если нет, то венчаться против его воли можно будет только в Отрадном.

— И истинная правда, — сказал он. — Я и жалею, что к нему ездил и ее возил, — сказал старый граф.

— Нет, чего ж жалеть? Бывши здесь, нельзя было не сделать почтения. Ну, а не хочет, его дело, — сказала Марья Дмитриевна, что-то отыскивая в ридикюле. — Да и приданое готово, чего вам еще ждать, а что не готово, я вам перешлю. Хоть и жалко мне вас, а лучше с богом поезжайте. — Найдя в ридикюле то, что она искала, она передала Наташе. Это было письмо от княжны Марьи. — Тебе пишет. Как мучается, бедняжка! Она боится, чтоб ты не подумала, что она тебя не любит.

— Да она и не любит меня, — сказала Наташа.

— Вздор не говори, — крикнула Марья Дмитриевна.

— Никому не поверю: я знаю, что не любит, — смело сказала Наташа, взяв письмо, и в лице ее выразилась сухая и злобная решительность, заставившая Марью Дмитриевну пристальнее посмотреть на нее и нахмуриться.

— Ты, матушка, так не отвечай, — сказала она. — Что я говорю, то правда. Напиши ответ.

Наташа не отвечала и пошла в свою комнату читать письмо княжны Марьи.

Княжна Марья писала, что она была в отчаянии от происшедшего между ними недоразумения. Какие бы ни были чувства отца, писала княжна Марья, она просила Наташу верить, что она не могла не любить ее как ту, которую выбрал ее брат, для счастия которого она всем готова была пожертвовать.

«Впрочем, — писала она, — не думайте, чтобы отец мой был дурно расположен к вам. Он больной и старый человек, которого надо извинять; но он добр, великодушен и будет любить ту, которая сделает счастье его сына». Княжна Марья просила далее, чтобы Наташа назначила время, когда она может опять увидаться с ней.

Прочтя письмо, Наташа села к письменному столу, чтобы написать ответ. «Chère princesse!» [1] — быстро механически написала она и остановилась. Что ж дальше могла написать она после всего того, что было вчера? «Да, да, все это было, и теперь уже все другое, — думала она, сидя над начатым письмом. — Надо отказать ему? Неужели надо? Это ужасно!..» И, чтобы не думать этих страшных мыслей, она пошла к Соне и с ней вместе стала разбирать узоры.

После обеда Наташа ушла в свою комнату и опять взяла письмо княжны Марьи. «Неужели все уже кончено? — думала она. — Неужели так скоро все это случилось и уничтожило все прежнее?» Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе

---

[1] Милая княжна!

столько раз повторенную ее воображением картину счастия с ним и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолем.

«Отчего же бы это не могло быть вместе? — иногда, в совершенном затмении, думала она. — Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбрать, и ни без одного из обоих я не могу быть счастлива. Одно, — думала она, — сказать то, что было, князю Андрею или скрыть — одинаково невозможно. А с *этим* ничего не испорчено. Но неужели расстаться навсегда с этим счастьем любви к князю Андрею, которым я жила так долго?»

— Барышня, — шепотом, с таинственным видом сказала девушка, входя в комнату. — Мне один человек велел передать. — Девушка подала письмо. — Только ради Христа, барышня... — говорила еще девушка, когда Наташа, не думая, механическим движением сломала печать и читала любовное письмо Анатоля, из которого она, не понимая ни слова, понимала только одно, что это письмо было от него, от того человека, которого она любит. «Да, она любит, иначе разве могло бы случиться то, что случилось? Разве могло бы быть в ее руке любовное письмо от него?»

Трясущимися руками Наташа держала это страстное, любовное письмо, сочиненное для Анатоля Долоховым, и, читая его, находила в нем отголоски всего того, что, ей казалось, она сама чувствовала.

«Со вчерашнего вечера участь моя решена: быть любимым вами или умереть. Мне нет другого выхода», — начиналось письмо. Потом он писал, что знает про то, что родные ее не отдадут ему, что на это есть тайные причины, которые он ей одной может открыть, но что ежели она его любит, то ей стоит сказать это слово *да*, и никакие силы людские не помешают их блаженству. Любовь победит все. Он похитит и увезет ее на край света.

«Да, да, я люблю его!» — думала Наташа, перечитывая двадцатый раз письмо и отыскивая какой-то особенный глубокий смысл в каждом его слове.

В этот вечер Марья Дмитриевна ехала к Архаровым и предложила барышням ехать с нею. Наташа под предлогом головной боли осталась дома.

XV

Вернувшись поздно вечером, Соня вошла в комнату Наташи и, к удивлению своему, нашла ее не раздетою, спящею на диване. На столе подле нее лежало открытое письмо Анатоля. Соня взяла письмо и стала читать его.

Она читала и взглядывала на спящую Наташу, на лице ее отыскивая объяснения того, что она читала, и не находила его. Лицо было тихое, кроткое и счастливое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться, Соня, бледная и дрожащая от страха и волнения, села на кресло и залилась слезами.

«Как я не видала ничего? Как могло это зайти так далеко? Неужели она разлюбила князя Андрея? И как могла она допустить до этого Курагина? Он обманщик и злодей, это ясно. Что будет с Nicolas, с милым, благородным Nicolas, когда он узнает про это? Так вот что значило ее взволнованное, решительное и неестественное лицо третьего дня, и вчера, и нынче, — думала Соня. — Но не может быть, чтоб она любила его! Вероятно, не зная от кого, она распечатала это письмо. Вероятно, она оскорблена. Она не может этого сделать!»

Соня утерла слезы и подошла к Наташе, опять вглядываясь в ее лицо.

— Наташа! — сказала она чуть слышно.

Наташа проснулась и увидала Соню.

— А, вернулась?

И с решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения, она обняла подругу. Но, заметив смущение на лице Сони, лицо Наташи выразило смущение и подозрительность.

— Соня, ты прочла письмо? — сказала она.

— Да, — тихо сказала Соня.

Наташа восторженно улыбнулась.

— Нет, Соня, я не могу больше! — сказала Наташа. — Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга!.. Соня, голубушка, он пишет... Соня...

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

— А Болконский? — сказала она.

— Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива! — сказала Наташа. — Ты не знаешь, что такое любовь...

— Но, Наташа, неужели *то* все кончено?

Наташа большими, открытыми глазами смотрела на Соню, как будто не понимая ее вопроса.

— Что ж, ты отказываешь князю Андрею? — сказала Соня.

— Ах, ты ничего не понимаешь, ты не говори глупости, ты слушай, — с мгновенной досадой сказала Наташа.

— Нет, я не могу этому верить, — повторила Соня. — Я не понимаю. Как же ты год целый любила одного человека и вдруг... Ведь ты только три раза видела его. Наташа, я тебе не верю, ты шутишь. В три дня забыть все и так...

— Три дня, — сказала Наташа. — Мне кажется, я сто лет люблю его. Мне кажется, что я никого никогда не любила прежде его. Да и не любила никого так, как его. Ты этого не можешь понять, Соня, постой, садись тут. — Наташа обняла и поцеловала ее. — Мне говорили, что это бывает, и ты, верно, слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде. Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его и что я не могу не любить его. Да, раба! Что он мне велит, то я и сделаю. Ты не понимаешь этого. Что ж мне делать? Что ж мне делать, Соня? — говорила Наташа с счастливым и испуганным лицом.

— Но ты подумай, что ты делаешь, — говорила Соня, — я не могу этого так оставить. Эти тайные письма... Как ты могла его допустить до этого? — говорила она с ужасом и с отвращением, которое она с трудом скрывала.

— Я тебе говорила, — отвечала Наташа, — что у меня нет воли, как ты не понимаешь этого: я его люблю!

— Так я не допущу до этого, я расскажу, — с прорвавшимися слезами вскрикнула Соня.

— Что ты, ради бога... Ежели ты расскажешь, ты мой враг, — заговорила Наташа. — Ты хочешь моего несчастия, ты хочешь, чтобы нас разлучили...

Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу.

— Но что было между вами? — спросила она. — Что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом?

Наташа не отвечала на ее вопрос.

— Ради бога, Соня, никому не говори, не мучай меня, — упрашивала Наташа. — Ты помни, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла...

— Но зачем эти тайны? Отчего же он не ездит

в дом? — спрашивала Соня. — Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе полную свободу, ежели уж так; но я не верю этому. Наташа, ты подумала, какие могут быть *тайные причины?*

Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос, и она не знала, что отвечать на него.

— Какие причины, не знаю. Но, стало быть, есть причины!

Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой.

— Ежели бы были причины... — начала она. Но Наташа, угадывая ее сомнения, испуганно перебила ее.

— Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя, ты понимаешь ли? — прокричала она.

— Любит ли он тебя?

— Любит ли? — повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. — Ведь ты прочла письмо, ты видела его?

— Но если он неблагородный человек?

— *Он* — неблагородный человек? Коли бы ты знала! — говорила Наташа.

— Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой; и ежели ты не хочешь этого сделать, то я сделаю это, я напишу ему и скажу папа, — решительно сказала Соня.

— Да я жить не могу без него! — закричала Наташа.

— Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об отце, о Nicolas.

— Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? — кричала Наташа. — Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, уйди, ради бога уйди: ты видишь, как я мучаюсь, — злобно кричала Наташа сдержанно-раздраженным и отчаянным голосом. Соня разрыдалась и выбежала из комнаты.

Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразумения их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая, дал ей свободу, она просит ее забыть все и простить ее, ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Все это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.

В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную.

В день отъезда графа Соня с Наташей были званы на большой обед к Курагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолем, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что-то, желая не быть услышанной, и все время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первая с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.

— Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него, — начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтобы их похвалили. — Мы объяснились с ним нынче.

— Ну, что же, что? Ну что ж он сказал? Наташа, как я рада, что ты не сердишься на меня. Говори мне все, всю правду. Что же он сказал?

Наташа задумалась.

— Ах, Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал... Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому. Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.

Соня грустно вздохнула.

— Но ведь ты не отказала Болконскому? — сказала она.

— А может быть, я и отказала! Может быть, с Болконским все кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?

— Я ничего не думаю, я только не понимаю этого...

— Подожди, Соня, ты все поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.

— Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что ж мне делать?

Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.

— Наташа, — сказала она, — ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?

— Опять, опять! — перебила Наташа.

— Наташа, я боюсь за тебя.
— Чего бояться?
— Я боюсь, что ты погубишь себя, — решительно сказала Соня, сама испугавшись того, что она сказала.
Лицо Наташи опять выразило злобу.
— И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.
— Наташа! — испуганно взывала Соня.
— Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!
Наташа выбежала из комнаты.
Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.
Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.
Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела все утро у окна гостиной, как будто ожидая чего-то, и что она сделала какой-то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.
Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была все время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).
После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо.
И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой-нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.
«Она убежит с ним! — думала Соня. — Она на все способна. Нынче в лице ее было что-то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, — вспоминала Соня. — Да, это верно, она бежит с ним, — но что мне делать? — думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали ей, что у Наташи было какое-то страшное намерение. — Графа нет. Что мне делать? Написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить мне? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастия?.. Но, может

быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!»

Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно.

«Но так или иначе, — думала Соня, стоя в темном коридоре, — теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора, и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», — думала она.

XVI

Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за шестьдесят верст от Москвы, в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу, и там на почтовых они должны были скакать за границу.

У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятых у сестры, и десять тысяч, занятых через посредство Долохова.

Два свидетеля — Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов, и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину, — сидели в первой комнате за чаем.

В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов, в дорожном бешмете и сапогах, перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей-француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал.

— Ну, — сказал он. — Хвостикову надо дать две тысячи.

— Ну и дай, — сказал Анатоль.

— Макарка (они так звали Макарина), этот бескорыстно за тебя в огонь и в воду. Ну вот, и кончены счеты, — сказал Долохов, показывая ему записку. — Так?

— Да, разумеется, так, — сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший вперед себя.

Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.

— А знаешь что — брось все это: еще время есть! — сказал он.

— Дурак! — сказал Анатоль. — Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал... Это черт знает что такое!

— Право, брось, — сказал Долохов. — Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?

— Ну, опять, опять дразнить? Пошел к черту! А?.. — сморщившись, сказал Анатоль. — Право, не до твоих дурацких шуток. — И он ушел из комнаты.

Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел.

— Ты постой, — сказал он вслед Анатолю, — я не шучу, а дело говорю, поди, поди сюда.

Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно, невольно покоряясь ему.

— Ты меня слушай, я тебе последний раз говорю. Что мне с тобой шутить? Разве я тебе перечил? Кто тебе все устроил, кто попа нашел, кто паспорт взял, кто денег достал? Все я.

— Ну и спасибо тебе. Ты думаешь, я тебе не благодарен? — Анатоль вздохнул и обнял Долохова.

— Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать: дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Ведь разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут...

— Ах! глупости, глупости! — опять сморщившись, заговорил Анатоль. — Ведь я тебе толковал. А? — И Анатоль с тем особенным пристрастием, которое бывает у людей тупых к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто

повторял Долохову. — Ведь я тебе толковал, я решил: ежели этот брак будет недействителен, — сказал он, загибая палец, — значит, я не отвечаю; ну а ежели действителен, все равно: за границей никто этого не будет знать, ну, ведь так? И не говори, не говори, не говори!

— Право, брось! Ты только себя свяжешь...

— Убирайся к черту, — сказал Анатоль и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. — Это черт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! — Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. — Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une déesse!! [1] А?

Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо, желая еще повеселиться над ним.

— Ну, деньги выйдут, тогда что?

— Тогда что? А? — повторил Анатоль с искренним недоуменьем перед мыслью о будущем. — Тогда что? Там я не знаю что... Ну что глупости говорить! — Он посмотрел на часы. — Пора!

Анатоль пошел в заднюю комнату.

— Ну, скоро ли вы? Копаетесь тут! — крикнул он на слуг.

Долохов убрал деньги и, крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вышел в ту комнату, где сидели Макарин и Хвостиков.

Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что-то нежно про себя шептал.

— Иди съешь что-нибудь. Ну выпей! — кричал ему из другой комнаты Долохов.

— Не хочу! — ответил Анатоль, все продолжая улыбаться.

— Иди, Балага приехал.

Анатоль встал и вышел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой

---

[1] Какая ножка, любезный друг, какой взгляд! Богиня!!

давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Не одну лошадь он загнал под ними. Не раз был бит ими, не раз напаиван ими шампанским и мадерой, которую он любил, и не одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью, и своей шкурой и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду, по восемнадцати верст в час, любил перекувырнуть извозчика, и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов: «Пошел! пошел!», тогда как уж и так нельзя было ехать шибче; любил вытянуть больно по шее мужика, который и так, ни жив ни мертв, сторонился от него. «Настоящие господа!» — думал он.

Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье, и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый, и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа.

— Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иваныч, или ваше сиятельство, — говорил он. — Обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать, уж ссудите, что можете.

И Анатоль и Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысяче и по две рублей.

Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной толстой шеей, приземистый курносый мужик, лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке.

Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную небольшую руку.

— Федору Ивановичу! — сказал он, кланяясь.

— Здорово, брат. Ну вот и он.

— Здравствуй, ваше сиятельство, — сказал он входившему Анатолю и тоже протянул руку.

— Я тебе говорю, Балага, — сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, — любишь ты меня или нет? А? Теперь службу сослужи... На каких приехал? А?

— Как посол приказал, на ваших, на зверьях,— сказал Балага.

— Ну, слышишь, Балага! Зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать. А?

— Как зарежешь, на чем поедем? — сказал Балага, подмигивая.

— Ну, я тебе морду разобью, ты не шути! — вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль.

— Что ж шутить, — посмеиваясь, сказал ямщик. — Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.

— А! — сказал Анатоль. — Ну садись.

— Что ж, садись! — сказал Долохов.

— Постою, Федор Иванович.

— Садись, врешь, пей, — сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.

— Что ж, когда ехать-то, ваше сиятельство?

— Да вот... (Анатоль посмотрел на часы) сейчас и ехать. Смотри же, Балага. А? Поспеешь?

— Да как выезд — счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть? — сказал Балага. — Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь небось, ваше сиятельство.

— Ты знаешь ли, на рождество из Твери я раз ехал, — сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. — Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два воза перескочили. А?

— Уж лошади ж были! — продолжал рассказ Балага. — Я тогда молодых пристяжных к каурому запрег, — обратился он к Долохову, — так веришь ли, Федор Иваныч, шестьдесят верст звери летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи —

держи, мол, ваше сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать нельзя. В три часа донесли, черти. Издохла левая только.

XVII

Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцевато надетой набекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.

— Ну, Федя, прощай, спасибо за все, прощай, — сказал Анатоль. — Ну, товарищи, друзья... — он задумался... — молодости... моей, прощайте, — обратился он к Макарину и другим.

Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль, видимо, хотел сделать что-то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и, выставив грудь, покачивал одной ногой.

— Все возьмите стаканы; и ты, Балага. Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь, когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. — сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.

— Будь здоров, — сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля.

— Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, — проговорил он.

— Ехать, ехать! — закричал Анатоль.

Балага было пошел из комнаты.

— Нет, стой, — сказал Анатоль. — Затвори двери, сесть надо. Вот так. — Затворили двери, и все сели.

— Ну, теперь марш, ребята! — сказал Анатоль, вставая.

Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.

— А шуба где? — сказал Долохов. — Эй, Игнашка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, — сказал Долохов, подмигнув. —

Ведь она выскочит ни жива ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкался — тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад, — а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.

Лакей принес женский лисий салоп.

— Дурак, я тебе сказал соболий. Эй, Матрешка, соболий! — крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос.

Красивая, худая и бледная цыганка, с блестящими, черными глазами и с черными курчавыми, сизого отлива, волосами, в красной шали, выбежала с собольим салопом на руке.

— Что ж, мне не жаль, ты возьми, — сказала она, видимо робея перед своим господином и жалея салопа.

Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на Матрешу и закутал ее.

— Вот так, — сказал Долохов. — И потом вот так, — сказал он и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. — Потом вот так, видишь? — и он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка Матреши.

— Ну, прощай, Матреша, — сказал Анатоль, целуя ее. — Эх, кончена моя гульба здесь! Стешке кланяйся. Ну, прощай! Прощай, Матреша; ты мне пожелай счастья.

— Ну, дай-то вам бог, князь, счастья большого, — сказала Матреша Анатолю с своим цыганским акцентом.

У крыльца стояли две тройки, двое молодцов ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал вожжи. Анатоль и Долохов сели к нему. Макарин, Хвостиков и лакей сели в другую тройку.

— Готовы, что ль? — спросил Балага.

— Пущай! — крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару.

— Тпрру! Поди, эй!.. Тпрру! — только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах. На Арбатской площади тройка зацепила карету, что-то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату.

Дав два конца по Подновинскому, Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка Старой Конюшенной.

Молодец соскочил держать под уздцы лошадей, Анатоль с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему, и вслед за тем выбежала горничная.

— На двор войдите, а то видно, сейчас выйдет, — сказала она.

Долохов остался у ворот. Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.

Гаврило, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля.

— К барыне пожалуйте, — басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.

— К какой барыне? Да ты кто? — запыхавшимся шепотом спрашивал Анатоль.

— Пожалуйте, приказано привесть.

— Курагин! назад! — кричал Долохов. — Измена! Назад!

Долохов у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть за вошедшим Анатолем калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и, схватив за руку выбежавшего Анатоля, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.

XVIII

Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе.

— Мерзавка, бесстыдница, — сказала она ей. — Слышать ничего не хочу! — Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и, приказав дворнику пропустить в ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей.

Когда Гаврило пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она, нахмурившись, встала и, заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В двенадцатом часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре.

— Марья Дмитриевна, пустите меня к ней, ради бога! — сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. «Гадко, скверно... в моем доме, мерзавка девчонка... только отца жалко! — думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. — Как ни трудно, уж велю всем молчать и скрою от графа». Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна.

— Хороша, очень хороша! — сказала Марья Дмитриевна. — В моем доме любовникам свиданья назначать! Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. — Марья Дмитриевна тронула ее за руку. — Ты слушай, когда я говорю. Ты себя осрамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то́ сделала, да мне твоего отца жалко. Я скрою. — Наташа не переменила положения, но только все тело ее стало вскидываться от беззвучных, судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи.

— Счастье его, что он от меня ушел; да я найду его, — сказала она своим грубым голосом. — Слышишь ты, что ли, что я говорю? — Она поддела своею большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящие и сухие, губы поджаты, щеки опустились.

— Оставь... те... что мне... я... умру... — проговорила она, злым усилием вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение.

— Наталья!.. — сказала Марья Дмитриевна. — Я тебе добра желаю. Ты лежи, ну лежи так, я тебя не трону, и слушай... Уж я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра приедет, что я скажу ему? А?

Опять тело Наташи заколебалось от рыданий.

— Ну, узнает он, ну брат твой, жених!

— У меня нет жениха, я отказала, — прокричала Наташа.

— Все равно, — продолжала Марья Дмитриевна. — Ну, они узнают, что ж, они так оставят? Ведь он, отец твой, я его знаю, ведь он его на дуэль вызовет, хорошо это будет? А?

— Ах, оставьте меня, зачем вы всему помешали! Зачем? зачем? кто вас просил? — кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну.

— Да чего ж ты хотела? — вскрикнула, опять горячась, Марья Дмитриевна. — Что ж, тебя запирали, что ль? Ну кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить?.. Ну, увез бы он тебя, что ж ты думаешь, его бы не нашли? Твой отец, или брат, или жених? А он мерзавец, негодяй, вот что!

— Он лучше всех вас, — вскрикнула Наташа, приподнимаясь. — Если бы вы не мешали... Ах, боже мой, что это, что это! Соня, за что? Уйдите!.. — И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала было опять говорить; но Наташа закричала: «Уйдите, уйдите, вы все меня ненавидите, презираете!» И опять бросилась на диван.

Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что все это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя все забыть и не показывать ни перед кем вида, что что-нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей.

— Ну, пускай спит, — сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала, и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшей и подходившей к ней.

На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреич, он приехал из подмосковной. Он был очень весел: дело с покупщиком ладилось и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми растрескавшимися губами, сухими остановившимися глазами, она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо

оглядывалась на входивших в комнату. Она, очевидно, ждала известий о нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей.

Когда граф взошел к ней, она беспокойно оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась навстречу ему.

— Что с тобой, мой ангел, больна? — спросил граф.

Наташа помолчала.

— Да, больна, — отвечала она.

На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая и не случилось ли чего-нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверения Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что-нибудь случиться; но ему так страшно было думать, что что-нибудь постыдное случилось с его любимой дочерью, он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было, и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.

XIX

Со дня приезда своей жены в Москву Пьер сбирался уехать куда-нибудь, только чтобы не быть с ней. Вскоре после приезда Ростовых в Москву впечатление, которое производила на него Наташа, заставило его поторопиться исполнить свое намерение. Он поехал в Тверь ко вдове Иосифа Алексеевича, которая обещала давно передать ему бумаги покойного.

Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи. Ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая-то судьба постоянно сводила его с нею.

«Что такое случилось? И какое им до меня дело? — думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марье Дмитриевне. — Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней!» — думал Пьер дорогой к Ахросимовой.

На Тверском бульваре кто-то окликнул его.

— Пьер! Давно приехал? — прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. В парных санях, на двух серых рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль с своим всегдашним товарищем Макариным. Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяно и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета набок, открывая завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы.

«И право, вот настоящий мудрец! — подумал Пьер, — ничего не видит дальше настоящей минуты удовольствия, ничего не тревожит его, — и оттого всегда весел, доволен и спокоен. Что бы я дал, чтобы быть таким, как он!» — с завистью подумал Пьер.

В передней Ахросимовой лакей, снимая с Пьера его шубу, сказал, что Марья Дмитриевна просят к себе в спальню.

Отворив дверь в залу, Пьер увидал Наташу, сидевшую у окна, с худым, бледным и злым лицом. Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты.

— Что случилось? — спросил Пьер, входя к Марье Дмитриевне.

— Хорошие дела, — отвечала Марья Дмитриевна. — Пятьдесят восемь лет прожила на свете, такого сраму не видала. — И, взяв с Пьера честное слово молчать обо всем, что он узнает, Марья Дмитриевна сообщила ему, что Наташа отказала своему жениху без ведома родителей, что причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера и с которым Наташа хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем чтобы тайно обвенчаться.

Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташе Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого (Пьер знал тайну его женитьбы), и так влюбиться в него, чтобы согласиться бе-

жать с ним! — этого Пьер не мог понять и не мог себе представить.

Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», — сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной. Но ему все-таки до слез жалко было князя Андрея, жалко было его гордости. И чем больше он жалел своего друга, тем с бо́льшим презрением и даже отвращением думал об этой Наташе, с таким выражением холодного достоинства сейчас прошедшей мимо него по зале. Он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость.

— Да как обвенчаться! — проговорил Пьер на слова Марьи Дмитриевны. — Он не мог обвенчаться: он женат.

— Час от часу не легче, — проговорила Марья Дмитриевна. — Хорош мальчик! То-то мерзавец! А она ждет, второй день ждет. По крайней мере, ждать перестанет, надо сказать ей.

Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Марья Дмитриевна боялась, чтобы граф или Болконский, который мог всякую минуту приехать, узнав дело, которое она намерена была скрыть от них, не вызвали на дуэль Курагина, и потому просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер обещал ей исполнить ее желание, только теперь поняв опасность, которая угрожала и старому графу, и Николаю, и князю Андрею. Кратко и точно изложив ему свои требования, она выпустила его в гостиную.

— Смотри же, граф ничего не знает. Ты делай, как будто ничего не знаешь, — сказала она ему. — А я пойду сказать ей, что ждать нечего! Да оставайся обедать, коли хочешь, — крикнула Марья Дмитриевна Пьеру.

Пьер встретил старого графа. Он был смущен и расстроен. В это утро Наташа сказала ему, что она отказала Болконскому.

— Беда, беда, mon cher[1], — говорил он Пьеру, — беда с этими девками без матери; уж я так тужу, что приехал. Я с вами откровенен буду. Слышали, отказала жениху, ни у кого не спросивши ничего. Оно, положим, я никогда этому браку очень не радовался. Положим, он хороший человек, но что ж, против воли отца счастья бы не было, и Наташа без женихов не останется. Да все-таки долго уже так продолжалось, да и как же это без отца, без матери, такой шаг! А теперь больна и бог знает что! Плохо, граф, плохо с дочерьми без матери... — Пьер видел, что граф был очень расстроен, старался перевести разговор на другой предмет, но граф опять возвращался к своему горю.

Соня с встревоженным лицом вошла в гостиную.

— Наташа не совсем здорова; она в своей комнате и желала бы вас видеть. Марья Дмитриевна у нее и просит вас тоже.

— Да, ведь вы очень дружны с Болконским, верно, что-нибудь передать хочет, — сказал граф. — Ах, боже мой, боже мой! Как все хорошо было! — И, взявшись за редкие виски седых волос, граф вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна объявила Наташе о том, что Анатоль был женат. Наташа не хотела верить ей и требовала подтверждения этого от самого Пьера. Соня сообщила это Пьеру в то время, как она через коридор провожала его в комнату Наташи.

Наташа, бледная, строгая, сидела подле Марьи Дмитриевны и от самой двери встретила Пьера лихорадочно-блестящим, вопросительным взглядом. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой, она только упорно смотрела на него, и взгляд ее спрашивал его только про то: друг ли он или такой же враг, как и все другие, по отношению к Анатолю? Сам по себе Пьер, очевидно, не существовал для нее.

— Он все знает, — сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь к Наташе. — Он пускай тебе скажет, правду ли я говорила.

Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на ту, то на другого.

— Наталья Ильинична, — начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней и отвращения к той

[1] дружок.

операции, которую он должен был делать, — правда это или не правда, это для вас должно быть все равно, потому что...

— Так это не правда, что он женат?

— Нет, это правда.

— Он женат был, и давно? — спросила она. — Честное слово?

Пьер дал ей честное слово.

— Он здесь еще? — спросила она быстро.

— Да, я его сейчас видел.

Она, очевидно, была не в силах говорить и делала руками знаки, чтоб оставили ее.

XX

Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу и он испытывал затруднение переводить дыхание. На горах, у цыган, у Comoneno — его не было. Пьер поехал в клуб. В клубе все шло своим обыкновенным порядком: гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Лакей, поздоровавшись с ним, доложил ему, зная его знакомство и привычки, что место ему оставлено в маленькой столовой, что князь Михаил Захарыч в библиотеке, а Павел Тимофеич не приезжали еще. Один из знакомых Пьера между разговором о погоде спросил у него, слышал ли он о похищении Курагиным Ростовой, про которое говорят в городе, правда ли это? Пьер, засмеявшись, сказал, что это вздор, потому что он сейчас только от Ростовых. Он спрашивал у всех про Анатоля; ему сказал один, что не приезжал еще, другой — что он будет обедать нынче. Пьеру странно было смотреть на эту спокойную, равнодушную толпу людей, не знавшую того, что делалось у него в душе. Он прошелся по залам, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатоля, не стал обедать и поехал домой.

Анатоль, которого он искал, в этот день обедал у Долохова и совещался с ним о том, как поправить испорченное дело. Ему казалось необходимо увидаться с Росто-

вой. Вечером он поехал к сестре, чтобы переговорить с ней о средствах устроить это свидание. Когда Пьер, тщетно объездив всю Москву, вернулся домой, камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини. Гостиная графини была полна гостей.

Пьер, не здороваясь с женою, которой он не видал после приезда (она больше чем когда-нибудь ненавистна была ему в эту минуту), вошел в гостиную и, увидав Анатоля, подошел к нему.

— Ah, Pierre, — сказала графиня, подходя к мужу. — Ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль... — Она остановилась, увидав в опущенной голове, в лице мужа, в его блестящих глазах, в его решительной походке то страшное выражение бешенства и силы, которое она знала и испытала на себе после дуэли с Доловым.

— Где вы — там разврат, зло, — сказал Пьер жене. — Анатоль, пойдемте, мне надо поговорить с вами, — сказал он по-французски.

Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.

Пьер, взяв его за руку, дернул к себе и пошел из комнаты.

— Si vous vous permettez dans mon salon... [1] — шепотом проговорила Элен; но Пьер, не отвечая ей, вышел из комнаты.

Анатоль шел за ним обычной, молодцеватой походкой. Но на лице его было заметно беспокойство.

Войдя в свой кабинет, Пьер затворил дверь и обратился к Анатолю, не глядя на него.

— Вы обещали графине Ростовой жениться на ней? хотели увезти ее?

— Мой милый, — отвечал Анатоль по-французски (как и шел весь разговор), — я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне.

Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга.

— Когда я говорю, что *мне надо* говорить с вами... — повторял Пьер.

---

[1] Ежели вы позволите себе в моей гостиной...

— Ну что, это глупо. А? — сказал Анатоль, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника.

— Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим, — говорил Пьер, выражаясь так искусственно потому, что он говорил по-французски. Он взял в руку тяжелое пресс-папье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место.

— Обещали вы ей жениться?

— Я, я, я не думал; впрочем, я никогда не обещался, потому что...

Пьер перебил его.

— Есть у вас письма ее? Есть у вас письма? — повторил Пьер, подвигаясь к Анатолю.

Анатоль взглянул на него и тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.

Пьер взял подаваемое ему письмо и, оттолкнув стоявший на дороге стол, повалился на диван.

— Je ne serai pas violent, ne craignez rien [1], — сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля. — Письма — раз, — сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. — Второе, — после минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить, — вы завтра должны уехать из Москвы.

— Но как же я могу...

— Третье, — не слушая его, продолжал Пьер, — вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого, я знаю, я не могу запретить вам, но ежели в вас есть искра совести... — Пьер несколько раз молча прошел по комнате. Анатоль сидел у стола и, нахмурившись, кусал себе губы.

— Вы не можете не понять наконец, что, кроме вашего удовольствия, есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге, — с этими вы в своем праве, они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата; но обещать девушке жениться на ней... обмануть, украсть... Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка!..

[1] Я ничего не сделаю, не бойтесь.

Пьер замолчал и взглянул на Анатоля уже не гневным, но вопросительным взглядом.

— Этого я не знаю. А? — сказал Анатоль, ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев. — Этого я не знаю и знать не хочу, — сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти, — но вы сказали мне такие слова: подло и тому подобное, которые я, comme un homme d'honneur[1], никому не позволю.

Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно.

— Хотя это и было с глазу на глаз, — продолжал Анатоль, — но я не могу...

— Что ж, вам нужно удовлетворение? — насмешливо сказал Пьер.

— По крайней мере, вы можете взять назад свои слова. А? Ежели вы хотите, чтоб я исполнил ваши желанья. А?

— Беру, беру назад, — проговорил Пьер, — и прошу вас извинить меня. — Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. — И денег, ежели вам нужно на дорогу. — Анатоль улыбнулся.

Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.

— О, подлая, бессердечная порода! — проговорил он и вышел из комнаты.

На другой день Анатоль уехал в Петербург.

XXI

Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желанья — об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Вовремя были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности; но все-таки слаба так, что нельзя было думать везти ее в деревню, и по-

[1] как честный человек.

слано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи.

Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть все дело и восстановить репутацию Ростовой.

Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю.

Князь Николай Андреич знал через m-lle Bourienne все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына.

Чрез несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему.

Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху (записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю m-lle Bourienne), и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи.

Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге. Старый князь и другой чей-то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо желая выразить свое сочувствие к его горю; но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.

— Он сказал, что ожидал этого, — сказала она, — я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть...

— Но неужели совершенно все кончено? — сказал Пьер.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой, поперечной морщиной между бровей, в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты.

Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.

— Теперь судят и обвиняют его (Сперанского) все те, которые месяц тому назад восхищались им, — говорил князь Андрей, — и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им — им одним... — Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло и тотчас же приняло злое выражение. — И потомство отдаст ему справедливость, — договорил он и тотчас же обратился к Пьеру.

— Ну, ты как? Все толстеешь, — говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже врезалась на его лбу. — Да, я здоров, — отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила: «Здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине Десале, которого он воспитателем для сына привез из-за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Сперанском, продолжавшийся между двумя стариками.

— Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы, — с горячностью и поспешностью говорил он. — Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость. — Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли.

Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате видна была разбитая кровать

и раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он все делал молча и очень быстро. Он приподнялся и прокашлялся. Лицо его было нахмурено и губы поджаты.

— Прости меня, ежели я тебя утруждаю... — Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея; он решительно, звонко и неприятно продолжал: — Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли это?

— И правда и неправда, — начал Пьер; но князь Андрей перебил его.

— Вот ее письма, — сказал он, — и портрет. — Он взял связку со стола и передал Пьеру.

— Отдай графине... ежели ты увидишь ее.

— Она очень больна, — сказал Пьер.

— Так она здесь еще? — сказал князь Андрей. — А князь Курагин? — спросил он быстро.

— Он давно уехал. Она была при смерти...

— Очень сожалею об ее болезни, — сказал князь Андрей. Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.

— Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову? — сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз.

— Он не мог жениться, потому что он был женат, — сказал Пьер.

Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца.

— А где же он теперь находится, ваш шурин, могу ли я узнать? — сказал он.

— Он уехал в Петер... впрочем, я не знаю, — сказал Пьер.

— Ну, да это все равно, — сказал князь Андрей. — Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна и что я желаю ей всего лучшего.

Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что-нибудь, или ожидая, не скажет ли чего-нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него.

— Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге, — сказал Пьер, — помните о...

— Помню, — поспешно отвечал князь Андрей, — я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.

— Разве можно это сравнивать?.. — сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал:

— Да, опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное?.. Да, это очень благородно, но я не способен идти sur les brisées de monsieur[1]. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь?..

Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье.

Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из-за сочувствия к брату Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, и понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея.

За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. Князь Андрей не умолкая говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем-воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного — тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.

XXII

В этот вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через десять минут Соня вошла к Марье Дмитриевне.

— Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, — сказала она.

— Да как же, к ней, что ли, его свести? Там у вас не прибрано, — сказала Марья Дмитриевна.

— Нет, она оделась и вышла в гостиную, — сказала Соня.

---

[1] по следам этого господина.

Марья Дмитриевна только пожала плечами.

— Когда это графиня приедет, измучила меня совсем. Ты, смотри ж, не говори ей всего, — обратилась она к Пьеру. — И бранить-то ее духу не хватает, так жалка, так жалка!

Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом (совсем не пристыженная, какою ее ожидал Пьер), стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его.

Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.

— Петр Кирилыч, — начала она быстро говорить, — князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг, — поправилась она (ей казалось, что все только было и что теперь все другое). — Он говорил мне тогда, чтоб обратиться к вам...

Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее; но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.

— Он теперь здесь, скажите ему... чтоб он прост... простил меня. — Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.

— Да... я скажу ему, — говорил Пьер, — но... — Он не знал, что сказать.

Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру.

— Нет, я знаю, что все кончено, — сказала она поспешно. — Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все... — Она затряслась всем телом и села на стул.

Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.

— Я скажу ему, я все еще раз скажу ему, — сказал Пьер, — но... я бы желал знать одно...

«Что знать?» — спросил взгляд Наташи.

— Я бы желал знать, любили ли вы... — Пьер не знал,

как назвать Анатоля, и покраснел при мысли о нем, — любили ли вы этого дурного человека?

— Не называйте его дурным, — сказала Наташа. — Но я ничего, ничего не знаю... — Она опять заплакала.

И еще больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят.

— Не будем больше говорить, мой друг, — сказал Пьер.

Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.

— Не будем говорить, мой друг, — я все скажу ему; но об одном прошу вас — считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь — не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, — вспомните обо мне. — Он взял и поцеловал ее руку. — Я счастлив буду, ежели в состоянии буду... — Пьер смутился.

— Не говорите со мной так: я не стою этого! — вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.

— Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас, — сказал он ей.

— Для меня? Нет! Для меня все пропало, — сказала она со стыдом и самоунижением.

— Все пропало? — повторил он. — Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.

Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты.

Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.

— Теперь куда прикажете? — спросил кучер.

«Куда? — спросил себя Пьер. — Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?» Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал; в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него.

— Домой, — сказал Пьер, несмотря на десять градусов мороза распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди.

Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812-го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая как будто, с невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 13. *Знаменитого Дюпора, танцовщика...* — Парижский балетмейстер Луи Дюпор (1782—1853), переселившийся в 1803 г. в Петербург. Он же упоминается в гл. IX пятой части второго тома, при описании оперного представления в Москве.

Стр. 15. *...на бале у Архаровых...* — Богатая московская семья, славившаяся своим хлебосольством. С. П. Жихарев писал в «Дневнике студента»: «От Ивана Петровича Архарова и его семейства просто в восхищении. Пусть толкуют, что хотят, а без сердечной доброты невозможно так радушно и ласково принимать людей маловажных и ни на что не нужных» (запись 18 апреля 1805 г.).

...с фельдмаршалом Каменским... — О фельдмаршале М. Ф. Каменском см. прим. к стр. 103.

...в Английском клубе... — Английский клуб существовал в Москве со времен Екатерины II. В начале XIX в. клуб находился в доме князя Гагарина на Страстном (Нарышкинском) бульваре у Петровских ворот (дом выстроен архитектором Казаковым в 1775 г., сохранился до нашего времени). Это был клуб высшей дворянской знати, напоминавший аристократические клубы Англии. Здесь узнавались и обсуждались политические новости, формировалось общественное мнение Москвы, порою оппозиционное по отношению к правительственно-чиновному Петербургу.

Стр. 17. *Ильюшку-цыгана...* — И. О. Соколов, управлявший в Москве около сорока лет знаменитым цыганским хором.

Стр. 18. *Люди, дававшие направление разговорам...* — Далее названы действительные лица, принадлежавшие к старой московской знати: граф Ф. В. Ростопчин (1763—1826), будущий военный губернатор и главнокомандующий в Москве, в 1806 г. находившийся в отставке; князь Ю. В. Долгоруков (1740—1830), московский главнокомандующий при Павле I; археолог П. С. Валуев (1743—1814), заведовавший Кремлевской экспедицией и Оружейной палатой; граф И. И. Марков (1753—1828), генерал екатеринин-

ского времени; отец будущего поэта, князь А. И. Вяземский (1754—1807), действительный тайный советник, завсегдатай Английского клуба.

Стр. 19. *...измена австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пржибышевского и француза Ланжерона...* — За исключением дурного продовольствия войска, все остальные причины поражения под Аустерлицем названы членами Английского клуба неверно. Об измене И. Я. Пржибышевского говорили потому, что в начале Аустерлицкого сражения он с колонной русских войск сдался в плен французам. Французский эмигрант на русской службе А. Ф. Ланжерон не был изменником. Не было прямой измены и со стороны австрийского командования, бездарность, трусость, легкомыслие и нераспорядительность которого привели, однако, к поражению под Аустерлицем.

...связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суворова. — В Итальянском и Швейцарском походах 1799 г. Багратион был ближайшим помощником Суворова. Командуя авангардом русских войск, он штурмом овладел городами Брешиа и Лекко и выполнял наиболее ответственные задачи в сражениях у Треббии и Нови; вел отважные авангардные и арьергардные бои в Швейцарском походе.

Ежели бы не было Багратиона, il faudrait d'inventer. — Шиншин перефразирует слова Вольтера: «Если бы не было бога, его надо было выдумать».

Стр. 22. *...сочинитель взял стихи и стал читать.* — Цитируемые стихи принадлежат Н. П. Николеву, поэту и драматургу, довольно известному в XVIII в. своими комическими операми и трагедией «Сорена и Замир». На склоне лет (умер в 1815 г.) Николев писал преимущественно оды, направленные, по его же словам, к «прославлению царского дома». Первоначально в этом эпизоде назывался Николев, но П. И. Бартенев, державший корректуры романа, написал Толстому: «Вместо Николева, который не мог читать своих стихов в клубе, потому что был слепец, поставил просто сочинитель» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 61, с. 175[1]). Цитата из оды Николева и подробное описание обеда 3 марта 1806 г. в честь Багратиона приводятся в «Дневнике студента» С. П. Жихарева, откуда Толстой взял многие детали, в частности, фамилии действительных лиц, бывших на обеде. Распорядителем обеда, пишет Жихарев, был «дежурный старшина, бригадир граф Толстой» — то есть И. А. Толстой, дед писателя, послуживший прототипом старого графа Ростова.

---

[1] В дальнейшем ссылки на это издание даются лишь с указанием тома и страницы.

Стр. 23. *...между двух Александров — Беклешова и Нарышкина...* — А. А. Беклешов (1745—1808) был в то время московским генерал-губернатором; А. Л. Нарышкин (1760—1826) — директором императорских театров.

Стр. 24. *...кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова.* — На обеде действительно исполнялась эта кантата на стихи П. И. Голенищева-Кутузова, и автор раздавал гостям экземпляры своего сочинения.

Стр. 33—34. *Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник... Робеспьера казнили за то, что он был деспот...* — Людовик XVI был казнен в 1793 г. по приговору революционного Конвента; контрреволюционный переворот 1794 г. привел к падению якобинской диктатуры, ее руководитель Робеспьер и его ближайшие соратники были гильотинированы.

Стр. 34. *...Мольерово mais que diable...* — Слова Жеронта из комедии Мольера «Проделки Скапена», ставшие поговоркой.

Стр. 49. *С осени 1806 года опять все заговорило о войне с Наполеоном...* — Летом 1806 г. в Париже был подготовлен франко-русский мирный договор. Но к тому времени, как договор поступил на ратификацию в Петербург, Александр I уже договорился с прусским королем о войне против Франции. Создавалась новая, четвертая антинаполеоновская коалиция. В августе закрытое совещание Государственного совета отклонило ратификацию договора (см. подробнее: А. З. Манфред. Наполеон Бонапарт. М., «Мысль», 1971, с. 488—490). Со своей стороны в течение всего 1806 г. Наполеон вел подготовку к новой войне. Первым объектом нападения должна была стать Пруссия. Союзники Пруссии, Англия и Россия, после смерти в сентябре 1806 г. британского министра иностранных дел, поборника мирного договора с Францией — Фокса, стали поддерживать Пруссию в ее намерении первой начать войну. 8 октября (26 сентября) 1806 г. Наполеон отдал приказ о вторжении в Саксонию, где уже стояла прусская армия.

Стр. 52. *...Иогель... принимал билетики за уроки от всех своих гостей...* — Устраивая балы, Иогель засчитывал их всем своим ученикам как урок, который сперва оплачивался именным билетиком, обменивавшимся потом на деньги.

Стр. 62. *...сочиненное им стихотворение «Волшебница»...* — Среди сочинений поэта и партизана Отечественной войны 1812 г. Дениса Давыдова, отчасти послужившего прототипом Василия Денисова, нет стихотворения с таким названием.

Стр. 70. *...книгу романа в письмах m-me Suza... какой-то Amée de Mansfeld.* — Роман французской писательницы А. Суза (1761—1836) «Амалия Мансфельд». В одном из черновых начал «Войны и мира» романы Суза называются в числе характерных

признаков времени: «Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, о времени, когда матери наши в робах с короткими талиями при свете восковых и спермацетовых свеч танцевали матрадуры и менуэты, восхищались романами мадам Радклиф и мадам Суза и знали наизусть тирады Расина, Буало и Корнеля, когда отцы наши восхищались мыслями Руссо и Вольтером, и еще помнили Екатерин, Фридрихов, Суворовых и Потемкиных так, как мы помним Александров, Наполеонов, Мюратов и Кутузовых» (т. 13, с. 75). Романы Суза читает Пьер Безухов и критикует Андрей Болконский: «...все это для дамских альбомов» (там же, с. 231).

Стр. 73. *...я принадлежу к братству свободных каменщиков...* — Масоны называли себя «свободными каменщиками» (от французских слов: franc — вольный; maçon — каменщик). Своею целью масоны считали сооружение невидимого духовного «храма», основанного на общечеловеческой любви и братстве. Не только название, но и формы организации они заимствовали у средневековых строительных товариществ Германии. Масонская ложа, особые знаки отличия у каждой ложи — все это взято у средневековых каменщиков, которые в специальных помещениях — ложах хранили свои инструменты, там же собирались, имели нагрудные и другие знаки отличия. Масонство как нравственное и общественное течение возникло в Англии в начале XVIII в. и в несколько десятилетий распространилось по Европе. В России первые масонские ложи появились в 30-х годах XVIII в.; тогда в них входили крупные царские чиновники. В конце XVIII — начале XIX вв. состав лож стал демократичнее. Среди масонов были дворяне, ставшие позднее декабристами. В 1822 г. масонские ложи были закрыты.

Стр. 76. *Привели сдаточных...* — то есть лошадей вольных ямщиков, которые довозили до определенного пункта и там сдавали пассажира другому.

Стр. 77. *Баздеев был одним из известнейших масонов и мартинистов еще новиковского времени.* — Для рассказа о Баздееве Толстой воспользовался исторической фигурой масона О. А. Поздеева. Ложа мартинистов получила свое название от имени французского мистика Сен-Мартена (Мартинеса Паскалиса), автора книги «О заблуждениях и истине» (1785), распространенной среди масонов. Известный писатель, издатель и общественный деятель Н. И. Новиков (1744—1818) также был масоном.

Стр. 78. *...чтением Фомы Кемпийского...* — Средневековый мистик, августинский монах Фома Кемпийский (1380—1471), автор написанной на латинском языке книги «О подражании Христу» (которую, очевидно, читал Пьер), проповедовал смирение, аскетизм и уединение.

Стр. 91. *...представлял из себя какого-то Марата.* — Жан-Поль Марат (1743—1793) — видный деятель французской революции крайне левого направления, блестящий оратор.

...печальные подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под Иеной и Ауерштетом и о сдаче большей части прусских крепостей... войска наши уж вступили в Пруссию и началась наша вторая война с Наполеоном. — 8 октября 1806 г. армия Наполеона вступила в Саксонию, союзную с Пруссией, а спустя шесть дней, в сражениях под Иеной и Ауэрштедтом, была уничтожена почти вся прусская армия. 27 октября Наполеон въехал в Берлин. Прусские крепости, хорошо вооруженные, с прекрасной артиллерией, с громадными складами провианта (Кюстрин, Магдебург и др.) сдавались без боя — так велика была паника в армии. Войска Наполеона двинулись на восток, к границам России. Разгром прусской армии произошел с такой молниеносной быстротой, что русские войска не успели выступить в помощь Пруссии. Армия Наполеона двинулась в Польшу. В конце ноября 1806 г. передовые части русской армии под командованием генерала Беннигсена вошли в Варшаву. После сражения при Пултуске русские войска, избегая обхода противником, отошли в Восточную Пруссию.

Стр. 92. *Ты этого хотел, Жорж Данден...* — Реплика из комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж».

Стр. 93. *«Вена находит основания предлагаемого договора до такой степени вне возможного... могут их нам доставить».* — Цитата из донесения русского посла в Австрии А. К. Разумовского от 24 мая 1807 г. Речь шла о русско-прусской конвенции, подписанной в Бартенштейне 26 (14) апреля 1807 г., после нескольких неудачных для наполеоновской армии битв, в том числе сражения под Эйлау (см. прим. к стр. 100). Россия и Пруссия обязывались не вступать ни в какие переговоры с Наполеоном, пока Франция не будет отброшена за Рейн. Донесение Разумовского, передававшее мнение на этот счет австрийского двора, приведено в книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание второй войны императора Александра с Наполеоном, в 1806 и 1807 годах». СПб., 1846, с. 261—262 (книга сохранилась в яснополянской библиотеке).

Стр. 100. *...Бенигсен под Прейсиш-Эйлау над Буонапартием якобы полную викторию одержал.* — Битва под Прейсиш-Эйлау произошла 8 февраля (27 января) 1807 г. Французской армией командовал Наполеон, русской — Беннигсен. Сражение, самое кровопролитное из всех сражений начала века, кончилось вничью. Беннигсен потерял больше трети армии, огромные потери были и у французов. Почти весь корпус маршала Ожеро был истреблен русским артиллерийским огнем. Сам Наполеон с пехотными пол-

ками стоял на кладбище Эйлау, в центре схватки, и чуть не был убит русскими ядрами, падавшими вокруг него. Удачная атака всей французской кавалерии на главные силы русских создала некоторое преимущество французам. Ночью, когда закончилось сражение, русские войска отошли, и Наполеон в своих бюллетенях говорил о победе, хотя понимал, что в действительности настоящей победы он в этот кровавый день не одержал. Беннигсен также объявил о своей победе. Генерал Коленкур (ставший впоследствии французским послом в Петербурге) писал после сражения под Эйлау: «В течение четырех месяцев мы не могли добиться никакого результата с русскими, и господь знает, когда мы их настигнем!» (Е. В. Тарле. Сочинения, т. VII. М., 1959, с. 182). Современник событий, С. Жихарев передает московские толки про это сражение: «Теперь мы доказали, что он ⟨Бонапарт⟩ не совсем так непобедим, как утверждали, и что можно бороться с ним не без успеха» («Дневник чиновника», запись 2 февраля 1807 г.).

Стр. 103. *«Я очень желаю, — пишет прусский король Бонапарту... — О, если б я достиг цели!»* — Письмо прусского короля Фридриха-Вильгельма III (подлинник по-французски) приведено в книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание второй войны императора Александра с Наполеоном», с. 38—39.

...обзор осьмидесятилетних генералов, и между Прозоровским и Каменским выбирают последнего. — Генерал-фельдмаршалу А. А. Прозоровскому было в 1806 г. семьдесят четыре года, М. Ф. Каменскому — шестьдесят восемь. Каменский находился в отставке со времен Павла; в конце 1806 г. был назначен главнокомандующим русской армией, но через шесть дней, накануне Пултуского сражения, передал командование, вышел в отставку и уехал в свою орловскую деревню, где в 1809 г. был убит дворовыми за жестокое обращение. Еще до прибытия в армию, из Вильны, Каменский писал Александру I: «Я лишился почти последнего зрения; ни одного города на карте сам отыскать не могу... пожалуйте мне, если можно, наставника, друга верного, сына отечества, чтобы сдать ему команду... истинно чувствую себя неспособным к командованию столь обширным войском». («Описание второй войны императора Александра с Наполеоном», с. 75—76). Командующим был назначен Беннигсен.

«Я ранен, верхом ездить не могу... что и выполнить сегодня». — Подлинное распоряжение, врученное Каменским Беннигсену в ночь с 13 на 14 декабря в Пултуске («Описание второй войны императора Александра с Наполеоном», с. 99).

Стр. 103—104. *«От всех моих поездок... в России тысячи».* — Донесение Каменского Александру I от 18 декабря из Остроленки, куда он приехал, оставив армию (там же, с. 100—101).

Стр. 104. *Это пултуская битва, которая считается великою победой, но которая совсем не такова...* — 26 (14) декабря 1806 г. произошла битва между русскими и французскими войсками при польском городе Пултуске. Кровопролитное сражение окончилось без явного перевеса в ту или иную сторону. Маршал Ланн донес Наполеону, что русские с тяжелыми потерями отброшены от Пултуска, а Беннигсен донес Александру, что он разбил самого Наполеона (которого не было ни в Пултуске, ни даже в районе Пултуска). В битвах с русскими войсками Наполеон вынужден был отказаться от стратегии решительного удара и перешел к затяжной тактике; это отсрочило окончание войны еще на полгода.

Стр. 138. *...Фридландское сражение.* — Наступление русских войск, начавшееся успешными действиями отрядов Багратиона и Платова, завершилось 14 (2) июня 1807 г. битвой под Фридландом, в которой из-за ошибок главнокомандующего Беннигсена, использованных Наполеоном, русская армия потерпела жестокое поражение.

Стр. 144. *13-го июня французский и русский императоры съехались в Тильзите.* — 25 (13) июня 1807 г. Наполеон и Александр I съехались в Тильзите для переговоров о мире. Прусский король не был удостоен приглашения и все время, около двух часов, пока Наполеон и Александр находились в павильоне, простоял на русском берегу Немана. Наполеон допустил его к свиданию на следующий день и обошелся с ним крайне презрительно.

Стр. 155. *...миром, заключенным после Фридланда.* — В результате мирного договора, заключенного после Фридланда в Тильзите, установилось разделение сфер: в Западной и Центральной Европе господствовал Наполеон, в Восточной Европе — Александр I. Пруссии были оставлены лишь «Старая Пруссия», Померания, Бранденбург и Силезия. Из отнятых у Пруссии польских земель было создано Великое герцогство Варшавское, Россия получила небольшой Белостокский округ. Между Наполеоном и Александром был заключен тайный (пока) союз, по которому Россия обязалась включиться в континентальную блокаду, то есть не торговать с Англией.

Стр. 157. *В 1808-м году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном...* — Встреча в сентябре — октябре 1808 г. в Эрфурте Александра I и Наполеона превратилась в двухнедельные торжества. В качестве гостей были приглашены союзные дружественные государи из многочисленных германских государств (Австрия не была допущена за свои военные приготовления). Эрфуртская встреча должна была подтвердить силу тильзитских соглашений и публично продемонстрировать

крепость франко-русского союза. Наполеон рассчитывал добиться от русского царя обещаний союза с Францией в случае новой франко-австрийской войны. Александр, продолжая заверять Наполеона в нежнейшей дружбе (как и Наполеон его), не решился дать это обещание, подчинясь тому сильному течению в русском дворянстве, которое видело в союзе с Наполеоном, дважды разгромившим русскую армию (в 1805 и 1807 гг.) и принуждавшим к участию в континентальной блокаде, не только позор, но и разорение. 12 октября (30 сентября) была подписана союзная конвенция между Россией и Францией. Она признавала европейские завоевания Наполеона (Александру I удалось, однако, добиться снижения контрибуции с Пруссии); Россия получила право на завоевание Финляндии, Молдавии и Валахии; Наполеон обещал не помогать Турции в Дунайской войне.

Стр. 158. *...перечислено в вольные хлебопашцы...* — «Вольные хлебопашцы» были введены в России законом 20 февраля 1803 г.: помещикам разрешалось по их желанию отпускать крестьян на волю поодиночке или целыми деревнями с обязательным наделением землей на правах собственности за выкуп. Переводили крестьян на «вольные хлеба», то есть освобождали от личной крепостной зависимости и от барщины, заменяя ее оброком, очень немногие помещики (самый указ был издан после обращения в правительство графа С. П. Румянцева).

Стр. 164. *Это было время апогея славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов.* — М. М. Сперанский (1772—1839) в 1803—1807 гг. был директором департамента министерства внутренних дел, а с 1808 г. стал ближайшим доверенным лицом Александра I по всем вопросам внутренней политики. По поручению царя Сперанский составил в 1809 г. проект государственного преобразования «Введение к Уложению государственных законов». Был создан Государственный совет (см. прим. к стр. 211) и преобразованы министерства. Все это были попытки реформировать государственный строй России на европейско-буржуазный лад.

...два... указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников. — В 1809 г. был издан указ, отменивший дворянскую привилегию получать чины с детских лет и обязавший придворных нести государственную службу, а также указ об экзаменах на чин: для коллежского асессора (чин 8-го класса) нужно было представить свидетельство об окончании университета, а для статского советника, кроме того, состоять десять лет на службе.

Стр. 165. *...комитетом общественного спасения.* — Комитет общественного спасения был создан во Франции в апреле 1793 г.

и являлся руководящим органом революционно-демократической якобинской диктатуры. «Негласным комитетом» называли современники приближенных Александра I в первые годы его царствования, либерально настроенных А. А. Чарторижского, Н. Н. Новосильцова, В. П. Кочубея, П. А. Строганова. Их деятельность, чрезвычайно осторожная и практически бесплодная, не имела ничего общего с действиями Комитета общественного спасения.

Стр. 168. *...у графа Кочубея.* — В. П. Кочубей (1768—1834) в 1802—1807 гг. был министром внутренних дел. Работая затем в различных комиссиях по внутренним делам, твердо стоял на позициях охраны прав дворянства.

Стр. 171. *...почитатель Montesquieu... основание монархии есть честь...* — Французский философ Ш. Монтескье (1689—1755) был сторонником конституционной «просвещенной» монархии, гарантирующей гражданскую свободу. В 1847 г., будучи студентом Казанского университета, Толстой написал сравнительный разбор «Наказа Комиссии о сочинении проекта нового уложения» Екатерины II и главного произведения Монтескье — «Дух законов». «Монтескье признавал только одну честь основанием (principe) всего монархического правления, она же, — замечал Толстой о Екатерине II, — прибавляет к ней еще добродетель; в самом деле, добродетель может быть принята за основание монархического правления. Но история доказывает нам, что этого еще никогда не было» (т. 46, с. 22).

Стр. 172. *...подобный Почетному легиону...* — Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном 19 мая 1802 г. в бытность его Первым консулом как высшая награда за военные и гражданские заслуги. Сохраняется во Франции по наши дни.

Стр. 175. *...Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства.* — Барон Г. А. Розенкампф (1762—1832) был при Сперанском членом комиссии по составлению законов.

...Наполеоновского кодекса и кодекса Юстиниана. — Характерно, что законодательные проекты Сперанского опирались, с одной стороны, на свод законов византийского императора VI в. Юстиниана, созданный с целью укрепить разлагавшиеся рабовладельческие отношения, и на кодекс Наполеона (подписан в 1804 г.), юридически оформивший победу, одержанную буржуазией над феодальным строем.

Стр. 179. *...замыслы иллюминатства...* — Тайное общество иллюминатов возникло в 1776 г. в Баварии, по своей структуре и идейной направленности оно было близко к организации масонов, но имело еще тайную цель — замену монархии республикой. В 1784—1785 гг. общество было разгромлено баварским правительством.

Стр. 180. *Вот что писал Пьер в дневнике своем...* — Как установил А. Грузинский, наставления и советы Иосифа Алексеевича Пьеру кое в чем сходны с изречениями Иоанна Масона, автора книги «О познании самого себя», переведенной известным масоном И. П. Тургеневым. Самый совет вести дневник с целью исповедания имеется в книге Масона. Тургенев, очень высоко ценивший эту книгу, сам вел записи, подобные тем, какие ведет Пьер (Л. Н. Толстой. Война и мир, т. II. М. — Л., ГИЗ, 1928, с. 313).

Стр. 183. *...и Caulaincourt'a.* — Генерал наполеоновской армии, герцог А.-А. Коленкур был в 1807—1811 гг. французским послом в России. Противник войны Франции с Россией. В 1811 г., когда стала очевидной война с Россией, Наполеон отозвал Коленкура, заменив его Лористоном.

...prince de Ligne — Ш.-Ж. де Линь (1735—1814), известный политический деятель, дипломат и писатель. При Екатерине II бывал в России. Бельгиец по происхождению, служил во Франции, затем в Австрии; был другом австрийского императора. Известен как остроумный вольнодумец XVIII в.

Стр. 191. *В Финляндской войне...* — Русско-шведская война, спровоцированная Наполеоном, началась в феврале 1808 г. и кончилась в 1809 г. отторжением от Швеции Финляндии и присоединением ее к России. План Наполеона удался, однако не вполне: Швеция была наказана за союз с Англией, но Россия после Фридрихсгамского договора, завершившего войну, приобрела в Швеции нового союзника.

Стр. 199. *...из херубиниевской оперы...* — Итальянский композитор Л. Керубини (1760—1842) создал более двадцати опер.

Стр. 204. *Не уступит Марье Антоновне...* — М. А. Нарышкина (1779—1854) была долгое время фавориткой Александра I.

Стр. 211. *...подробности заседания Государственного совета нынешнего утра, открытого государем...* — По предложению Сперанского в России был учрежден Государственный совет как высшее законосовещательное учреждение Российской империи. Члены Совета назначались царем; секретарем стал Сперанский. Первое заседание Совета открылось 1 января 1810 г.

Стр. 212. *Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин.* — Родственник Сперанского А. А. Жерве служил в министерстве иностранных дел и финансов; о М. Л. Магницком см. стр. 170; А. А. Столыпин был сенатором. Вся эта сцена основана на воспоминаниях дочери Сперанского, Е. М. Фроловой-Багреевой, напечатанных в книге: М. А. Корф. Жизнь графа Сперанского, т. I. СПб., 1861, с. 277—281. Книга Корфа, сохранившаяся в яснополянской библиотеке, была основным источником при работе над главами о Сперанском. Однако ни у Корфа, ни в приведенных им мемуарах нет,

конечно, того иронического освещения фигуры государственного преобразователя, какое дано Толстым.

Стр. 214. *...разговора об испанских делах Наполеона.* — Осуществляя план континентальной блокады, то есть полной изоляции Англии от европейского континента, Наполеон начал в 1807 г. завоевание Пиренейского полуострова. Заставив Фердинанда VII отречься от престола, Наполеон приказал в мае 1808 г. своему брату Жозефу, королю неаполитанскому, переехать в Мадрид и называться королем испанским. Однако в ответ на захватнические действия французской армии в Испании началась крестьянская партизанская борьба, гверилья, не прекращавшаяся до 1813 г., когда она закончилась поражением французов. Оборона Сарагосы (декабрь 1808 — февраль 1809 г.) поразила весь мир мужеством и героизмом испанцев. Весной 1809 г. англичане заняли Лиссабон. Армии Сульта и Нея вынуждены были отступить.

Стр. 236. *...убитого в Турции.* — Весной 1809 г. возобновились военные действия и на Дунае, и на кавказском театре войны.

Стр. 275. *...Диммлер — музыкант...* — Диммлер — реальное лицо. В начале XIX в. он давал в Москве уроки игры на фортепиано. Упоминается много раз у С. П. Жихарева в «Записках современника».

Стр. 280. *...хор из «Водоноса»...* — Лирическая комедия Л. Керубини «Два дня» (или «Водовоз»), впервые поставленная в Париже в 1800 г. До постановки на русском языке (1813 г.) опера была известна в Петербурге и в Москве в исполнении иностранных трупп.

Стр. 282. *...Nocturne мосье Фильда.* — Ирландский пианист и композитор Д. Фильд (1782—1837) создал жанр ноктюрна как пьесы для фортепьяно. Первые его ноктюрны были изданы в 1814 г.; но с 1804 по 1831 г. Фильд жил в Петербурге, давая уроки и концерты, так что русской публике его ноктюрны стали известны до того, как они были напечатаны.

Стр. 302. *...император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги.* — В конце 1809 г. Наполеон расторгнул свой брак с Жозефиной Богарне, папа Пий VII поспешил подтвердить развод. Русский двор, неофициально запрошенный через французского посла о великой кн. Анне Павловне (сестре царя), некоторое время колебался, но потом, по настоянию вдовствующей императрицы, отказался отдать за Наполеона Анну Павловну, ссылаясь на ее молодость. Австрийский император Франц I, потерпевший жестокое поражение в последней войне с Наполеоном, путем брака своей дочери Марии-Луизы надеялся поправить безнадежно пошатнувшееся положение империи. Брак Наполеона с Марией-Луизой состоялся в апреле 1810 г.

Стр. 302. *...интригуют Астрея против Ищущих Манны и хлопочут о настоящем шотландском ковре и об акте...* — Астрея и Ищущие Манну — петербургские масонские ложи. Как видно из сохранившихся документов (в частности, из записок генерала А. Е. Кушелева, руководителя Астреи, информировавшего правительство о деятельности масонских лож), интриги приобретали порой прямо доносительский характер (см. статью: В. В. Пугачев. К историческому фону «Войны и мира». Масоны в России первой четверти XIX века. — Сб. «Л. Н. Толстой. Статьи и материалы». Горький, 1966, с. 162—171). Обязательной принадлежностью ложи был ковер с символическими изображениями, и каждая ложа стремилась получить этот ковер из наиболее древней масонской организации (первые ложи возникли в Англии и Шотландии), так же как и «акты» — список обрядов и постановлений ордена.

Стр. 309. *...князь Лопухин...* — Вероятно, И. В. Лопухин (1756—1816), сенатор, масон и мистик. В 1812 г. вышел в отставку.

Стр. 310. *...о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской, враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам... Предложили другие владения вместо Ольденбургского герцогства.* — Находившиеся в союзе с Наполеоном или в вассальной зависимости от Франции маленькие немецкие города и государства североевропейского побережья не могли, а порою не хотели соблюдать все строгости континентальной блокады. Ссылаясь на это, Наполеон в 1810 г. уничтожил самостоятельность ганзейских городов Гамбурга, Бремена, Любека и тогда же изгнал герцога Ольденбургского, присоединив Ольденбург к своим владениям. Взамен герцогу был предложен Эрфурт. Это было прямым нарушением Тильзитского мира, где независимость Ольденбургского герцогства оговаривалась особым пунктом. Недовольство русского двора усиливалось еще родственными связями с Ольденбургским домом: герцог был женат на сестре вдовствующей императрицы Марии Федоровны — принцессе Вюртембергской Фредерике, а его сын Георг — на сестре Александра I Екатерине Павловне. Русский император разослал своим послам в европейских странах ноту протеста по поводу ольденбургского конфликта.

...Бонапарт... хочет низвергнуть главу католической религии... — Наполеон еще 17 мая 1809 г. издал декрет, объявивший, что глава католической церкви лишается светской власти, а Рим и все владения папы присоединяются к французской империи. В июне 1809 г. французские войска заняли Рим; Пий VII был взят под стражу и увезен в Савону, на юг Франции. В ответ римский папа опубликовал буллу, отлучавшую Наполеона от церкви.

Стр. 317. *Борис нарисовал ей в альбоме два дерева и написал...* — Рисунки Бориса с французскими подписями взяты из альбома родственной Толстым семьи Юшковых; альбом относится к 1817 г., хранится в Ясной Поляне (установлено А. Грузинским. — Л. Н. Толстой. Война и мир, т. II. М. — Л., ГИЗ, 1928, с. 318).

...*«Бедную Лизу»* — повесть Н. М. Карамзина.

Стр. 320. *...у Марьи Дмитриевны Ахросимовой... Сыновья ее все были на службе.* — Прототипом Ахросимовой явилась Анастасия Дмитриевна Офросимова, рожд. Лобкова (1753—1826). Ее характеристику Толстой читал в «Дневнике студента» С. Жихарева: «Настасья Дмитриевна Офросимова, барыня, в объяснениях своих, как известно, не очень нежная, но с толком. У ней в гвардии четыре сына, в которых она души не слышит, а между тем гоголь гоголем разъезжает себе по знакомым да уговаривает их не дурачиться. «Ну, что вы, плаксы, разрюмились? Будто уж так Бунапарт и проглотит наших целиком! На все есть воля божия, и чему быть, тому не миновать. Убьют так убьют, успеете и тогда наплакаться». Дама презамечательная своим здравомыслием, откровенностью и безусловною преданностью правительству» (запись 25 ноября 1805 г.). Как известно, Офросимова послужила отчасти прототипом и для образа старухи Хлестовой в «Горе от ума». Толстой приглушил или даже вовсе опустил те черты ее характера, которые столь заострены и блистательно развиты Грибоедовым.

Стр. 322. *...m-me Обер-Шальме* — модная московская портниха. С. П. Жихарев писал в «Дневнике студента»: «Много денег оставлено в магазине мадам Обер-Шальме... Недаром старики эту Обер-Шальме переименовали в Обер-Шельму» (запись 6 января 1805 г.).

Стр. 330. *Бесподобно... Семенова играет...* — Н. С. Семенова (1787—1876) — русская оперная певица, начавшая выступать на сцене в 1807 г.

Стр. 345. *M-lle George... стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну.* — Французская драматическая актриса М. Жорж (1787—1867) в 1808—1812 гг. выступала в Петербурге и Москве. На этот раз она декламировала, видимо, монолог Федры из одноименной трагедии Расина. Об исполнении актрисой этой роли напечатал в 1809 г. в журнале «Вестник Европы» восторженную статью В. А. Жуковский. Позднее Пушкин отзывался о Жорж как о «бездушной французской актрисе» (статья «Мои замечания о русском театре», 1820).

Стр. 362. *Стешке кланяйся.* — Цыганская певица Стеша в начале XIX в. пользовалась в Москве большой известностью. По преданию, знаменитая итальянская актриса Каталани подарила ей свою шаль как лучшей певице.

Стр. 375. *...о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.* — В области внешней политики Сперанский выступал за союз с Францией. Это послужило поводом для его отстранения от государственной службы в марте 1812 г., когда неизбежной стала новая война с Францией. В книге М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского», которой пользовался Толстой, приводится донос на Сперанского, отправленный 17 марта 1812 г. Александру I графом Ф. В. Ростопчиным. Он обвинял Сперанского в передаче Наполеону военных планов России. Письмо ходило по рукам; в некоторых копиях, кроме подписи Ростопчина, было прибавлено: «и Москвитяне». «Письмо сие есть последнее, и если останется недействительным, — писал Ростопчин, — тогда сыны отечества необходимостью себе поставят двинуться в столицу и настоятельно требовать как открытия сего злодейства, так и перемены правления» (М. А. Корф. Жизнь графа Сперанского, т. II. СПб., 1861, с. 10). Еще раньше, в 1811 г., Ростопчин жаловался на Сперанского царю через великую княгиню Екатерину Павловну. Но причиной отставки были не одни эти доносы. Александр I все больше отходил от либеральных стремлений первых лет своего царствования, и Сперанский был ему уже ненужен. Внутренней политикой Сперанского было недовольно все реакционное дворянство и придворная знать. Сперанский был сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЙНА И МИР

ТОМ ВТОРОЙ

Толстой Л.

Т53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 5. Война и мир. Т. 2. Примеч. Л. Д. Опульской. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1974.

400 с.

События второго тома романа-эпопеи «Война и мир» охватывают период 1806—1812 гг. — период четвертой антинаполеоновской коалиции, кровопролитных сражений под Прейсиш-Эйлау, Пултуском и Фридландом, непрочного Тильзитского мира, постепенного подтягивания войск Наполеона к русским границам.

Во втором томе важные события происходят и в жизни главных действующих лиц романа. Мы узнаем о дуэли Пьера Безухова с Долоховым, о смерти маленькой княгини Болконской, о масонских исканиях Пьера, о первой встрече Андрея Болконского с Наташей, о поездке Николая Ростова по делу Денисова в Тильзит, где он становится свидетелем свидания двух императоров, о неудавшемся побеге Наташи с Анатолем Курагиным и др.

$\frac{0731-294}{028(01)-74.}$ Подп. изд.

Р1

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 5

Редактор
Ч. Залилова

Художественный редактор
С. Данилов

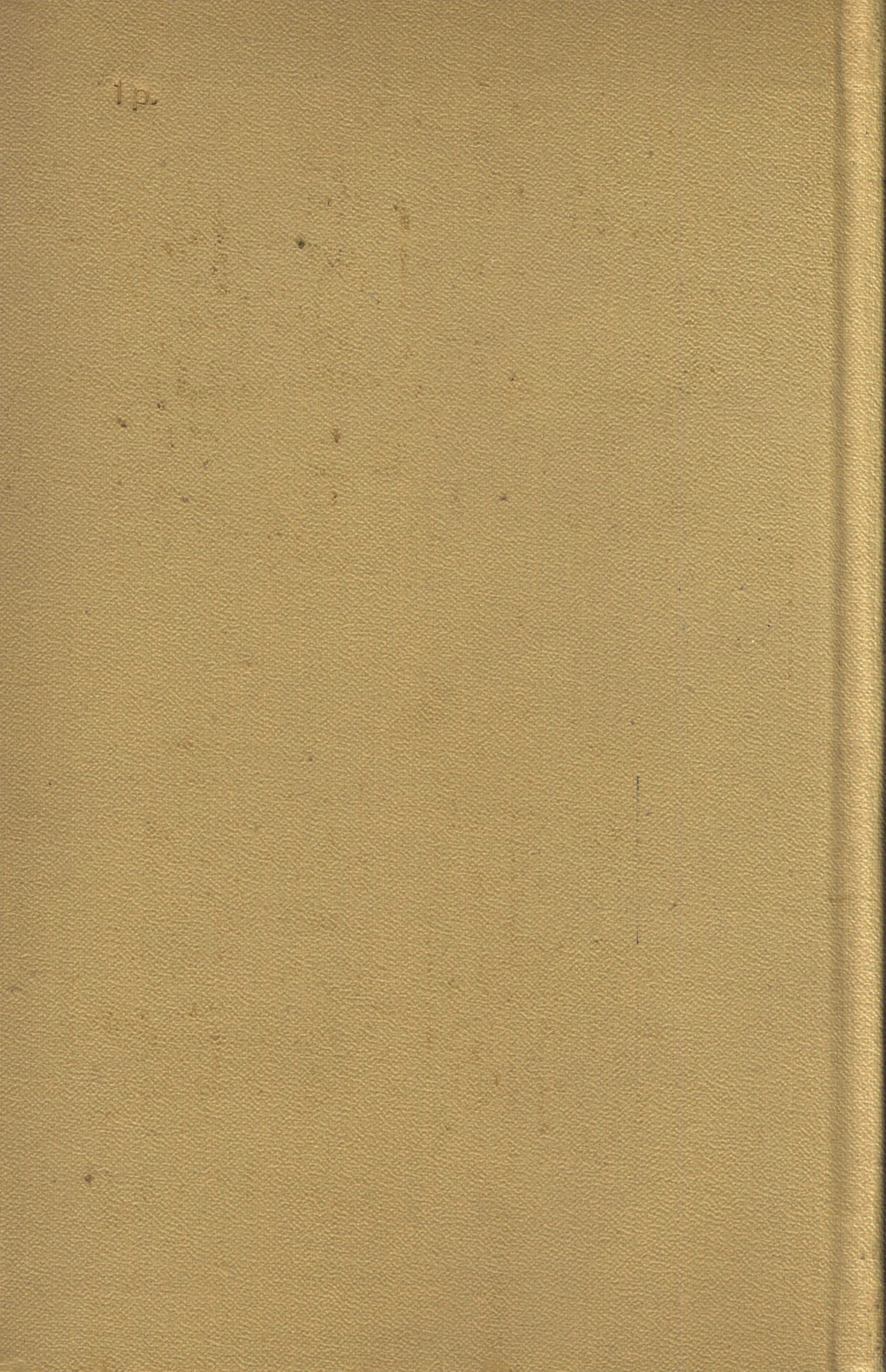
Технический редактор
О. Ярославцева

Корректор
А. Юрьева

Сдано в набор 5/IV 1973 г.
Подписано в печать 25/X 1973 г.
Бумага типогр. № 1. Формат $84 \times 108^1/_{32}$ —
12,5 печ. л. 21 усл. печ. л.
22,06 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 экз. Зак. 882.
Цена 1 руб.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Ленинград, Гатчинская, 26


1p.


Л.Н.ТОЛСТОЙ
5